

БЫТЬ

МУССА
БАТЧАЕВ

ЧЕЛОВЕКОМ



МУССА БАТЧАЕВ
**БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ**

**ПОВЕСТИ,
РАССКАЗЫ, НОВЕЛЛЫ**



Москва • 1987

ВЕРШИНА И СКЛЮНЫ

Рано и трагически погибший Мусса Батчаев несомненно был настоящим писателем... Что это значит и почему ныне можно смело высказывать подобное утверждение, не боясь ошибки и греха преувеличения?

У прозы Батчаева был свой мир, своя маленькая вселенная с границами родной Карачаево-Черкесии и центром, сердцем — аулом Кумыш. В сущности Батчаев писал одну и ту же вещь — некую сагу о своем крае и его людях. Он шел в этой саге от рассказа к рассказу, от повести к повести, и вели его поводыри очень надежные и испытанные, лучшие для писателя поводыри, — Любовь и Знание.

Это они делают сердце пишущего зорким — ведь самого главного, как известно, глазами не увидишь! — раздвигают и как бы укрупняют рамки текущего, позволяя за пестрой, изменчивой чередой повседневного упрямо прозревать лик Постоянного, неизменного и корневого для своего народа... Любовь тут неотрывна от Знания, Знание — от Любви, и обе эти великие, могучие силы поддерживали и питали талант Батчаева, формировали его писательский облик, его творческое лицо.

В том, что успел написать Мусса Батчаев, — а эта книга — наиболее полное собрание созданного им, — чуть ли не в первую голову подкупает авторская интонация... О ней часто говорят как о чем-то словно бы второстепенном, числа ее по разряду «тонкостей мастерства», меж тем как интонация — отражение авторского взгляда на мир, его осмысления и оценки... Интонация — это позиция пишущего, это он сам в конце концов.

Внутренний голос прозы Муссы Батчаева всегда был очень естествен и доверителен... В нем не чувствовалось дистанции, разрыва меж читателем и автором. Автор все время был словно рядом с тобой, ты чувствовал на своем плече тепло его ладони, потому что Батчаев верил в читателя и любил его так же полно и открыто, как и своих земляков. У этой веры и любви никогда не было осторожных оговорок, оглядок через плечо — были простота и надежность сильного чувства, сильного человека.

Все это Муссе Батчаеву удалось сполна передать бумаге, и потому я, например, вижу и хорошо чувствую его, хоть, к сожалению, знаком с ним не был, не довелось... Я вижу открытого, сильного, веселого человека, с которым легко, просто и — надежно.

По надежности все мы тоскуем все более; тоскуем, искрулись в псевдосложности наших взаимоотношений, забывших правду и силу открытого жеста, открытого взгляда,— проза Батчаева возвращала нам их... Она словно снимала с нас груз лет, гнетущую осторожность нажитого зрелостью опыта, и мы снова начинали смотреть на мир молодыми и смелыми глазами, видящими все, как оно есть, и ничего не опасаясь... Это прекрасно — смотреть так, и только за одно это можно быть навсегда благодарным писателю!

Во взгляде Муссы Батчаева на мир и человека была некая внутренняя широта, просторность и то оптимистическое и сильное великодушие, которое не тычется пунктуальным лбом в сегодняшние неурядицы и огрехи, а любит и умеет смотреть вдаль, вперед, зная, что люди в основе, массе своей — хороши, а не дурны, и время обязательно докажет это.

Подобный взгляд и вывод чаще приходят — либо не приходят — к нам с годами и значительно реже даруются от рождения... Но с Муссой Батчаевым было, думаю, именно так.

Погибший, едва вступив в годы, которые именуется порой зрелости, он обладал каким-то, видимо, врожденным чувством такта и спокойной, надежной мудростью человека, твердо знающего, что в жизни почем.

Думаю, что из всех добродетелей и достоинств рода человеческого Батчаев превыше всего ставил чувство долга. Не в экзотическом и этнографическом его понимании и толковании — законы рода, «мужская честь» и прочее, — а в том широком и столь важном для всех нас значении, когда человек только потому и человек, что исполняет на земле ему положенное.

Мотив этот чрезвычайно силен в творчестве Муссы Батчаева, и само время рождения этого писателя — 1939 год — определяет тут очень многое.

Батчаев был весьма чуток к тому, что именуем мы судьбой поколения... Он был неизменно и твердо верен стану своих сверстников, жизни и времени, что выпали им на долю, и, видимо, считал важнейшей своей задачей рассказать нам, как же жили эти ребята, как росла и мужала их душа, что она для себя респала.

Все они, родившиеся в 1939 году, выросли в трудные военные и послевоенные годы, в пору, когда во всем была нехватка, и жить бодро, в полный размах, жить, уважая себя, можно было

только при одном условии... Нужно было много, очень много и трудно работать, не видя в том ни драматизма, ни особенной личной доблести, а просто зная, что иначе сейчас нельзя. Без права на выбор росли они, трудились — в этом видели свой долг, и уклонение от него считалось равносильным малодушию, бесчестием.

«У моего поколения не было детства,— писал Мусса Батчаев.— Война не дала нам как следует вырасти. Мы на целую голову ниже тех, кто родился после Победы. Мы раньше седеем. Беда войны не кончается вместе с войной. Всякая война рано или поздно кончается, но беда ее остается на долгие годы.

...Многие герои мои очень молоды. Они ничего не успели еще совершить в жизни, но чутки к добру и злу. Встречаясь с трудностями, они начинают серьезно задумываться о жизни. Конечно, есть на свете слабые, никудышные люди... Но я пишу о тех, кто выдерживает испытания своей нелегкой судьбы.

Вот Хочалай из рассказа «Хочалай и Хур-Хур» и Алибек («Алибек, сын Дыгаласа»). Оба — совсем еще дети, им бы жить по законам своего возраста, когда на первом месте игры да развлечения, а время и жизнь требуют от этих мальцов сознания взрослых людей, отягощенных заботами и обязанностями, которых за них не выполнит никто... Но детская душа — все равно детская; она упрямо не хочет отдавать своей непосредственности, ранимости, доброты, и это вот соединение внутреннего мира ребенка с жесткостью и однозначной требовательностью внешней жизни как раз и «держит» эти рассказы, создает их особую, волнующую и абсолютно правдивую интонацию.

Рассказ при этом никуда не «ведет», не кособочит, потому что автор и детскости своих героев не выпячивает, страдая и причитая над ней, ущемленной, и не ужасается суровым ликом их жизни, которая, как ни крути, «дыгалас» — тяжелая, несладкая... И Хочалай и Алибек выполняют свой долг, как и все окружающие их люди. Выполняют, и все тут.

«Хочалай и Хур-Хур», «Алибек, сын Дыгаласа», «Серебряный дед» написаны просто, стилистика их подчеркнута скромна; автор словно намеренно уводит в тень свое чувство, оставляя нас один на один с мальчишками из этих рассказов и их жизнью.

Иное дело — миниатюры Муссы Батчаева... Тут на первом месте — романтическая экспрессия, прямой и горячий контакт автора со своими героями, с тем мигом, что настиг их и вот сейчас, на наших глазах, фиксируется писателем.

Смотрите, как делает это Мусса Батчаев...

«Солдат вернулся с войны...

Долго стоял как вкопанный — в утреннем воздухе слыли развалины родной деревни. Черные стены... Черные немые трубы.

Немые и одинокие, как громоотводы. Там, где был его дом, сейчас не было ничего, лишь обугленный тополь с молчаливым укором тянул к небу голые сучья...

— Все сожгли,— сказал солдат и большим пальцем раздавил слезу.

Солнце ударило в сапоги, взобралось на грудь, тронуло пшеничные кудри.

— Но я победил,— добавил солдат, нагнулся и поднял покрытый гарью кирпич, первый кирпич будущего дома.

(«Дом победителя»)

Здесь невозможно не заметить выразительную емкость деталей, штриха, и потому миниатюра, равно как и многие другие вещи Батчаева, написанные в этом жанре, напоминает хорошую гравюру или чеканку... Если же искать аналогий поближе, в ряду собственно литературном, то ярко выраженный романтизм, неожиданность и выразительность образного ряда, точность внешнего жеста, адекватного жесту внутреннему, заставляют вспомнить Бабеля, новеллы Александра Довженко.

Да, Мусса Батчаев был достаточно разнообразен, но — и это важно! — разные грани его творчества — словно разные плоскости, склоны все одной и той же вершины, устремленной к одной и общей для них точке... Этой точкой было для Батчаева постижение Человека.

Прекрасно понимаю, что подобная аттестация достаточно рискованна и может показаться элементарным трюизмом — чем же, мол, как не человеком, и должна заниматься литература?!

Да, конечно, все так, но тем не менее ни для кого не секрет, что довольно часто человек, авторский интерес к нему лишь обозначаются функционально, делаются скорее неким знаком, нежели реальностью текста... Соблюдается тактический декорум, литературные правила игры, не более того.

Мусса Батчаев так никогда не поступал. Его проза была естественна и абсолютно правдива, и разные «склоны» ее свободно и открыто демонстрировали нам то, что и было всегда ее основой, — глубокий и постоянный авторский интерес к человеку, его внутреннему «ядру».

Среди разнообразия «склонов» прозы Батчаева особняком стоит — для меня во всяком случае — повесть об ауле Кумыш. Она преисполнена внутреннего тепла, света, согрета авторской улыбкой и потому — очень обаятельна.

Внешне это — хроника аула Кумыш, в котором автор знает всех и все.

Строится эта повесть очень просто — она кругом, чередой обходит дома и семьи кумышанцев, подробно рисуя нам их характеры, нравы и лица.

Нечто подобное сделал некогда Владимир Солоухин, когда писал свои «Владимирские проселки». Там мы тоже, вслед за автором, переходили из избы в избу, переходили и знакомились с хозяевами. Ритуал этот, как и положено в сельской местности, был очень серьезен, церемонен и почтителен.

У Батчаева, при общей схожести избранной с автором «Владимирских проселков» методологии, подобная серьезность отсутствует напрочь... Есть нечто совсем иное.

Вот как начинается, например, эта повесть...

«В том, что аул Кумыш оказался именно там, где он есть, а не в каком-то другом месте, повинен козел старого Мырзы. Что касается самого Мырзы, то он был убежден, что место для аула подыскал не козел, а аллах».

И нарочитое косноязычие — «...оказался именно там, где он есть...», и намеренная тяжесть официоза — «...что касается самого Мырзы...», и замечательное, безошибочно вызывающее улыбку снижение, ставящее вместе, рядом козла старого Мырзы и самого аллаха, — все это неминуемо отзывается в мало-мальски чуткой читательской душе предощущением праздника, когда, судя по всем приметам, нам обещается текст легкий, дышащий озорством, вольным, естественным юмором!

В повести об ауле Кумыш есть что-то от полузабытых нами и потому вдвойне сладостных детских ощущений: та же абсолютная внутренняя свобода, прозрачность воздуха и красок, когда все видится как-то особенно четко и ясно, и — постоянная бодрость и радость!.. От чего? Да от жизни, от того, что она есть, и ты — в ней!

Мы легки на эту радость в детские годы, потому что просты еще в отношении к миру, просты, доверчивы и естественны. Мы не думаем о дурном, не ждем его, не опасаемся, будто его и вовсе нет в природе...

В этом, наверное, как раз все дело, и повесть Муссы Батчаева «Аул Кумыш» так светла и хороша именно по этой причине. Она обезоруживающе оптимистична и написана так, будто весь мир — это и есть аул Кумыш, существует и живет по тем же, кумышанским законам.

Подобное тождество, вера в него дорогого стоят... Их нельзя сымитировать или искусственно привить себе. Они даются Любовью и Знанием, когда понятие Родины не просто анкетно присутствует в писательской судьбе, но определяет и формирует ее.

«И глядя с высоты я думаю, что этот прекрасный зеленый шар, не будь на нем моего аула и моих аульчан, был бы просто похож на холодный каменный мячик, летящий в холодном пространстве, неведомо куда, неведомо зачем.

Но есть на земле мой аул, мой Кумыш, есть мои кумышанцы. И думаю сейчас: земля вечна и вечны люди на ней — мои земляки».

Известно: подлинная внутренняя близость исключает патетику и котурны; она демократична... Смех царит на страницах этой повести — чего стоит только одна «комическая пара» Даут и Хаджи-Даут, бойкая, палец в рот не клади, Шамда, язычка и нрава которой боится даже наезжающее в Кумыш начальство!..

Да что там начальство — Шамда, можно сказать, стала чуть ли не ходячим апокрифом, вошла уже в фольклорное сознание народа! Не верите?.. Напрасно!

Поссорились однажды два горца. Рвались схватиться, да Кубань им мешала. Начали проклинать друг друга.

Один изощрялся до вечера, ни разу не повторившись... Но в конце концов иссяк.

«Я длинных проклятий не знаю,— сообщил второй горец, когда наступил его черед.— Пожелание мое короткое. Пусть сделает тебя аллах хотя бы на месяц мужем Шамды из аула Кумыш! Скажи «аминь», если не боишься!

— Чтоб язык твой отсох! — крикнул первый, но сказать «аминь» побоялся».

И на такой вот женщине решил жениться Хаджи-Даут, решил, находясь хоть и в преклонном возрасте, но в здравом, как говорится, уме и твердой памяти! Правда, он долго колебался и хотел для начала посоветоваться с другом своим Даутом... Про то — целая сценка, и — прелестная.

«Такой серьезный разговор,— решил он,— нельзя начинать без пристрелки. Сначала надо пристреляться, а тогда и в цель попадешь».

Старик подошел к зеркалу, слегка поклонился ему и произнес:

— Салам алейкум, дорогой друг. Как твое самочувствие? Покойным ли был твой сон?

Из зеркала на Хаджи-Даута смотрел серьезный и даже чуть опечаленный Хаджи-Даут. Проситель закрыл глаза и представил, как навстречу ему поднимется и протянет руку Даут.

— Алейкум ассалам, мой дорогой толстый друг! — скажет он.— Сон мой был покойным и приятным. Надеюсь, и твой был таким же. Присаживайся и расскажи, какое дело привело тебя ко мне.

— Дело небольшое, простое дело,— ответит Хаджи-Даут и усядется.

Хаджи-Даут замолчал, напряженно думая, куда следует дальше направить разговор. Из стекла смотрел на него растерянный, с наморщенным лбом Хаджи-Даут. Старику не понравилось такое выражение собственной физиономии, и он с досадой отвернулся от зеркала.

— Что же ты замолчал, сын Кара-Мырзы?— слышался ему насмешливый голос соседа.— Видно, дело у тебя не столь простое, как ты сказал. Не сиди так плотно сомкнув уста, будто боишься, что в рот влетит муха. Редкая муха рискнет влететь в рот с новыми стальными зубами. Таким замечательным вставным зубам шашлык нипочем, а уж о мухе и говорить нечего...

Смешно?.. Да, конечно. Но помимо юмора, смеха здесь несомненно присутствует искренняя теплота авторского чувства, его любовь и близость к своим героям. Оттого внутренний строй повести об ауле Кумыш подлинно, неподдельно лиричен, почти нежен... Так говорят о дорогом и любимом, о том, что светло и прочно помнит сердце.

Впрочем, сердце помнит не только хорошее. То, что врезается в него глубокой и болевой зарубкой, оно тоже способно хранить долгие, долгие годы.

Про то — повесть «Элия». Повесть драматичная и — очень мощная, мастерски написанная. Вся она словно повернута острием внутрь, потому что круг внешних ее событий беден, почти скуден.

Отец героя повести, карачаевского мальчишки, растит породистую, очень резвую кобылицу: Элия по-карачаевски значит молчания. Но председатель колхоза велит избавиться от нее — в те поры ковей почему-то запрещали держать. Для отца, любящего лошадей больше жизни, этот приказ — острый нож, но он все же выполняет его...

Вот, собственно, и все, и весь смысл, вся боль повести — внутри фавулы, «за кадром» ее.

Прежде всего — мальчишка очень любит своего отца... Для него сокрыты в нем смысл и гармония всей жизни, порядок и неизблемость мира, ибо он мерит их по отцу, по его неслышимости, твердости и надежности.

«Я думал, он, как кусочек горы — скала крепкая, неизменная, которую ни дождь, ни солнце — ничто не может поколебать, преобразить, сплющить, только разбить ее можно, расколоть, разрушить, если найдется такая большая сила...

Сам отец был естественным на земле, как сильное, зеленое дерево, и я, его сын, был естествен, как ветка на этом дереве. Мир был прост... Я любил отца, мне было хорошо...»

Видите, какая глубокая, жизненно важная связь: «я любил

отца — мир был прост...» И вот по ней, по связи этой, идет раскол и трещина; связь рвется, и, стало быть, рушатся мир и жизнь. Они ведь не то чтобы неполны для героя без любимого им отца; они без него — *непредставимы*. И все это падает на детскую, ранимую душу, воспринимающую все очень непосредственно и горячо, поскольку она еще не огрубела в житейских бурях, не нарастила панциря и не обзавелась защитным цинизмом.

Таков внутренний расклад этой душевной драмы, и Мусса Батчаев вводит нас в нее рукой жесткой, решительной, не пытающейся что-либо сгладить... Напротив... Само начало повести «Элия» таково, что хоть сколько-нибудь искушенному читателю ясно — речь далее пойдет о трудном.

«В нашем доме поют...

На нашем дворе, на белом снегу — красный круг...

Я сижу спиной к дому в нашем сарае. На стене против меня в одной связке восемь подков.

Самое ненужное, самое лишнее сейчас на свете — эти восемь подков, думаю я. И еще думаю об отце, который поет с гостями...»

Это начало — из конца повести, когда отец, подчиняясь обстоятельствам, уже зарезал Элию. Потому на белом снежном дворе — красный круг.

Он страшен, этот круг, и мальчик видит его второй раз. Первый — когда мать Элии зарезал волк.

«И смерть и столько крови я видел впервые. Кровь словно выжгла снег — на нем горел алый круг. Мне подумалось, ручьем уйдя в снег, течет кровь, течет невидимая, красная, теплая, течет по ложине вниз...»

Невидимый алый теплый поток... Запомним этот страшный и сильный образ — он нам еще встретится. Он будет в конце повести, а пока она, естественно развиваясь, достигает светлого и праздничного момента.

Элию объезжают, отец вручает сыну повод.

«...Стоя возле Элии на плоском камне, с которого легко можно было вспрыгнуть на нее, я подумал, что и отцу моему в мальчишестве не раз послужил этот камень, и от этой мысли почему-то я впервые особенно остро почувствовал свое родство с отцом, как никогда, остро почувствовал желание быть похожим на него во всем, а сейчас это значило — надо победить, обязательно победить, как побеждал отец...»

Эта мысль-толчок, мысль-импульс, разом промахивающая большую временную дистанцию и связывающая меж собой прошлое с настоящим, выражена здесь, думаю, прекрасно, очень естественно... Она — не умозрительна, а почти физически осязательна, потому что каждый из нас испытывал на своем веку нечто подобное,

Страстная любовь к отцу, стремление походить на него получили еще одно подтверждение, но все кончилось, рухнуло в один миг, когда там, на заснеженном зимнем дворе...

«...Никто не поймет, как мне плохо и почему плохо. И отец не поймет. Он тоже предал. Предал Элию. И я, его сын, боюсь тоже кого-нибудь когда-нибудь предать, хотя сейчас не чувствую себя родной ему веткой. И отца не чувствую ни зеленым сильным деревом, ни куском могучей горы. Он был, как скала, но он раскололся, разбился на куски. Я кажусь себе одним из этих кусков. И боюсь, что меня когда-нибудь разобьют на еще более мелкие куски, будут разбивать потом все мельче, пока не стану пылью, песком.

Отец сказал: когда вырасту, все пойму, все прощу.

Думаю — нужно ли понимать все, если потом прощаешь все?

Сейчас я не пойму, почему не мог остаться снег на нашем дворе белым? И мне плохо, мне кажется — и за этим алым кругом течет, уйдя под снег, кровь Элии. Течет, дымясь, горячая красная кровь по всему двору, по всем улицам, под всеми белыми сугробами, которые без усталости наматывает январский ветер. Непонятно только, почему не растает подогретый снизу холодный снег?..»

По-моему, это очень сильно написано... Просто, страшно и — мудро. «Нужно ли понимать все, если потом прощаешь все?»

Мальчишеские годы, красный круг на снегу, такие вот мысли... Потрясение.

Повесть переламывается на этом эпизоде, приобретает драматическую остроту и законченность. Она, наверное, и впрямь могла бы кончаться так, производя немалое художественное впечатление, но Мусса Батчаев уходит от этого эффектного финала.

Он длит повесть далее — «Я вырос» — и смотрит на алый круг, пробитый горячей кровью Элии, глазами взрослого человека.

«Я вырос, и теперь никого не могу винить за тот невеселый день... Вы жили не в моем, а в своем взрослом мире. И если бы мне тогда было не двенадцать лет, может быть, и я шел бы с вами.

Да, отец, ты оказался прав. Я вырос. Все понял. Все простил.

Но только почему и теперь, через столько лет, не может оставаться для меня светлым и тихим тот мой час, тот мой миг, когда оживает вдруг память, и я вижу, как, не чуя под собой земли, мчится по заснеженным улицам тонконогая белая лошадь?

И почему она направляет свой стремительный бег не ко мне, а уносится прочь от меня, все дальше и дальше, пока не исчезнет, и я ей могу сказать только «прощай», как говорят детству или первой любви?!»

...Человеческая душа прожила, прошла свой круг, в котором были и безоглядная любовь, и вера, и яростное свержение вчера

нежно любимого, и зрелое понимание неизбежности утрат и разочарований, и тихая, неуходящая печаль по всему этому...

Не про всех ли нас «Элия», и только ли про лошадь да про мальчика писана она? Так ли?..

Печальный свет, словно от тихого, в себе умирающего заката, исходит от этой повести, и он достигает, уверен, каждого человеческого сердца, если только не разучилось оно откликаться на чужое живое чувство...

Не в этом ли задача и смысл литературы, слова и голоса ее, обращенного к человеку, который может быть и низок, и прекрасен, и недалек, и мудр, а дело писателя — видеть все, как оно есть, но желать лучшего, упрямо поднимаясь к Вершине...

ИГОРЬ ШТОКМАН

Кайсыну Кулиеву —
поэту, побуждающему быть человеком

В АТАКЕ

Решили победить! Пошли в атаку.

Из окопов хлынула тысяча смертей.

Никто не остановился, и тогда враг побежал.

Отступавший последним повернулся к атакующим и выстрелил.

За громом выстрела всегда следует свинец. Гром уходит в небо, а свинец остается на земле. Или в чьем-нибудь сердце.

Эта пуля ударила в грудь бежавшего первым.

Раненый упал.

Над ним склонился испуганный друг.

— Что с тобой? Вставай!.. Что я скажу твоей матери?!

Умиравший торопился и не дал договорить ему. Прижал руку к останавливающемуся сердцу, потом высоко поднял ее, взгляделся в окровавленную ладонь и прошептал:

— Скажи — умер наступаая...

ДОМ ПОБЕДИТЕЛЯ

Солдат вернулся с войны...

Долго стоял как вкопанный — в утреннем воздухе слыли развалины родной деревни. Черные стены... Черные, немые трубы. Немые и одинокие, как громоотводы. Там, где был его дом, сейчас не было ничего, лишь обугленный тополь с молчаливым укором тянул к небу голые сучья...

— Все сожгли,— сказал солдат и большим пальцем раздавил слезу.

Солнце ударило в сапоги, взобралось на грудь, тронуло пшеничные кудри.

— Но я победил,— добавил солдат, нагнулся и поднял покрытый гарью кирпич, первый кирпич будущего дома.

ЛАСТОЧКА

Утренний луч скользнул по карнизу дома. Ласточка вылетела из гнезда за завтраком. Писком провожали ее четыре разинутых рта.

Когда заботливая мать вернулась с оранжевой стрекозой в клюве, ни золотого карниза, ни гнезда с коричневыми малютками не было. Была только изуродованная земля да багровое пламя пожара.

Слезой искрились ласточки глаза, острой болью свело нагруженные крылья, и ласточка камнем устремилась в огонь.

Падая, подняла к небу полные изумленного отчаяния глаза и увидела в вышине большую железную птицу, но не заметила, что в ней сидит человек... Человек, у которого где-то на этой земле, под этим же солнцем греются, быть может, четверо малышей.

ПАМЯТЬ

Мальчик всматривался в знойную даль. Он был совсем маленьким, а степь велика и пески безграничны.

Там, где сейчас висело солнце, из песков вставал одинокий курган. Из-за кургана стрелой вылетала прямая желтая дорога. Мальчик смотрел туда, где она терялась. Смотрел не так, как смотрят дети,— взрослый, тревожный прищур морщил его лобик. По этой дороге, взбивая сапогами золотую пыль, должен был вернуться с фронта его отец. Так говорила мама, и так возвращались отцы других мальчишек.

И он ждал, а отца все не было.

Под жгучим солнцем горел солончак, горячий ветер играл песком, по степи мячом скакало перекати-поле. Все это было каждый день, и каждый день не было отца.

Вечером небо пылало закатом, приходила душная ночь, и тогда мальчик садился перед матерью.

— А его нет,— говорил он тихо.

— Придет завтра,— тихо отвечала мать.

— Он может прийти и ночью?

— Нет, ночью все должны спать... И ты тоже.

— А рано утром?

— Утром — да!

— Тогда разбуди меня утром очень рано. Хорошо?

- Хорошо.
- А если он завтра не придет?
- Тогда — послезавтра.
- Если не придет и послезавтра?
- Тогда подождем еще...
- А если и не тогда?..
- Тогда папа заснул и забыл проснуться.
- Я так и думал... Какой же соня мой папа... А почему, мама, ты плачешь?.. Плакать нельзя — ты сама зоворила.

СТАВШИЙ ПЕСНЕЙ

Есть в горах две скалы, вросшие в землю друг против друга по сторонам узкой дороги.

Они похожи на громадные ворота, и их сначала так и называли — Большие Ворота.

Они и теперь стоят там, как стояли тысячу лет назад. Как и тогда, проползают между ними тяжелые арбы, идут пешеходы, проезжают на лошадах и мулах молодые джигиты и седебородые старики.

Там все по-прежнему — так же глухо шумит река, так же молчаливо стынют суровые горы, и так же тихо плывут сверху облака.

Но тем двум скалам имя теперь не Большие Ворота, а Ворота Славы.

Только путники, теперь проходящие или проезжающие меж ними, обрывают свой смех или песню и вспоминают человека, ставшего песней...

В грозный день у этих скал стеной стала горстка смельчаков. Вал за валом бросались на нее и разбивались вражьи силы, как волна разбивается о гранитные берега. Весь день и всю ночь неистовствовал свинец, а утром все было кончено.

Перед воротами лежали враги. Белый снег саваном опускался на них.

Между воротами под тем же снегом лежали защитники своей земли. Но один из них стоял и направлял автомат туда, откуда шли враги...

Бушевала вьюга, зверем ревела в ущелье, заметала снегом все, что было под небом...

Холодный мрак окутывал землю...

А солдат, широко расставив ноги и подперев плечом скалу, держал наготове свой автомат.

Уходя на битву, он поклялся друзьям-товарищам, что будет защищать мать-Отчизну до самой смерти...

Выл ветер, кружили снежинки, трещали от холода могучие скалы.

Стоял скованный морозом солдат, продолжая беречь свою землю и после смерти...

Проходят под Воротами Славы горцы и, как клятву, тихо произносят громкое имя...

СНОВА В БОЙ...

Это были не призраки, не мертвецы, решившие побродить по лесу.

Шли живые люди, живые, но измученные до смерти.

Спотыкаясь и падая и снова поднимаясь, просачивались они в утреннем сумраке сквозь густой и дремучий лес.

Давно им не приходилось спать — двое суток шел бой. Сегодня на заре вырвались они наконец из окружения и повалились, как мертвые, на траву. Но железный человек, что звался командиром, приказал снова стать в строй...

— Мы вышли из кольца смерти, — сказал он. — Но там остались наши товарищи. Приказывать я не могу. Думайте и решайте сами. На пять минут я становлюсь рядовым...

Это были не призраки, не мертвецы, решившие побродить по земле...

Это, спотыкаясь и падая и снова поднимаясь, спешили на помощь товарищам бойцы.

ПАМЯТНИК

Чудной старик!.. Как ребенок. Хлопает голубыми глазами и без передышки лопочет что-то наивное, несвязное.

...Крысы очень любят цыплят — у бабки Феклы утащили весь выводок, сапоги в сарае отсырели — теперь их надо смазать дегтем и повесить сушиться, ну а борщ хлебать всего лучше из того котелка, который подарил человек, служивший на фронте с его сыном...

...А почему вас трое?

Известен ли вам Феофанов?

Это он и есть Феофанов. И сын его тоже Феофанов. Их в деревне знают все. А, так вы из города?

Ну, пешком туда далече, подождите — на машине лучше.

Мы начинали понимать, что голова старика не в порядке. Робко уходили от него. Навсегда запомнились: аккуратный зеленый дворик, навалившийся на плетень помешанный старик и его торопливые, догоняющие нас слова:

— А меня жалеть не позволяю вам. Много нынче жалельщиков. У меня сын есть. Там он... Стоит и стоит. Сами увидите...

Старик говорил что-то еще, но мы не слышали, видно было только, как открывается его рот. Так беззвучно открывает рот рыба, выброшенная на песок.

Когда мы выходили из деревни, стало ясно, что последние слова старика были осмыслены. И от этого стало больней. Прямо у дороги стоял памятник воину из этой деревни.

В ГОСТИНИЦЕ

Давно разбудил меня чей-то неистовый бред, и я все не мог заснуть — ворочался в горячей постели и завидовал всем, кто спит сейчас рядом...

Теперь я догадался, кто бредил. Это был, конечно, тот, кто поднялся с постели, подошел к окну и всхлипнул.

Духота, бессонница, головная боль — все вдруг уменьшилось до ничтожных размеров... Я подошел к человеку и попросил, чтоб он разделил свою беду на двоих.

Все было просто и горько — он не мог спать. Еще в детстве во время войны ему пришлось идти по заминированной улице. Он прошел, но лучше бы взлетел тогда на воздух... Потому что эта улица не кончается. Каждую ночь он идет по ней, напрягшись и звеня, как натянутая струна...

Очень труден каждый шаг: кто-то наступает на ноги, толкает острым локтем в бок... Просыпается он всегда от звука лопнувшей струны. Звук сильный и внезапный, как взрыв.

Врачи бессильны перед этим...

*Я сидел в темноте, слышал измученный голос и до нелепости упорно старался представить себе **взгляд**, **лоб**, **рот** — все лицо этого человека.*

Утром, когда мы прощались, я нескромно взглянул в его глаза, но не нашел в них ночной боли и догадался: она была, когда нельзя ее видеть... Сейчас она спряталась, чтобы никого не тревожить, и передо мной обыкновенное лицо.

В это утро навстречу мне шагало много людей с такими лицами. В их глазах тоже не было боли...

Но мне казалось, что каждому из них пришлось когда-то пройти по минному полю, и я шел очень осторожно, чтобы не задеть нечаянно кого-нибудь локтем, не наступить в косолапом шаге на чью-нибудь ногу.

СЕРЕБРЯНЫЙ ДЕД





ОТ АВТОРА

В 1939 году в начале осени у бабушки моей была радость: хорошо уродилась кукуруза. С нашего участка сняли большой урожай. А в конце осени родился я — первый из внуков бабушки. Это стало второй ее радостью. В честь счастливого события был объявлен ею праздник. Пригнали с гор бычка, наварили из молодого зерна крепкой бузы, собрались уважаемые аульчане...

Самый древний из них, почтенный Мисир, по просьбе бабушки первым сказал тост у моей колыбели. Жизнь Мисира была праведная, борода белая, а слова мудрые — никто в ауле не сомневался, что добрые его пожелания непременно сбудутся.

Мир и покой пожелал Мисир каждому дому и легкой, счастливой судьбы всем поворожденным.

Легкой судьбы ни у меня, ни у моих сверстников не получилось. Не знала бабушка, не знал Мисир, что к тому времени уже родился, окреп и буйствовал в Европе фашизм.

Мы были малы для войны. Воевать ушли наши отцы. Сколько их ушло от нас — не знаю. Знаю — больше двухсот в аул не вернулось. Для моего аула Кумыш это было много. Слишком много.

Мы были малы, но мы выросли. Мы видели безногих и безруких, мы все яснее понимали, что потерь было еще больше, гораздо больше, чем двести жизней. Израненные, изувеченные войной бывшие солдаты встречались нам всюду — во всех аулах, во всех городах. Они жили рядом, не давая нам все эти годы забыть о войне. А когда они умирали, я всегда думал: они умерли раньше срока, потому что их силы отняла война.

Не дают мне забыть о войне и сверстники. Их лица, мне кажется, отмечены особой печатью. У моего поколения не было детства. Война не дала нам как следует вырасти. Мы на целую голову ниже тех, кто родился после Победы. Мы раньше седеем. Беда войны не кончается вместе с войной. Всякая война рано или поздно кончается, но беда ее остается на долгие годы.

Тридцать лет отделяет нас от последней войны. За это время не одно новое поколение выросло. Но о войне мы не забываем. И в наших книгах...

В этих рассказах я хочу поведать о тех, кого так или иначе коснулась война. Многие герои мои очень молоды. Они ничего не успели еще совершить в жизни, но чутки к добру и злу. Встречаясь с трудностями, они начинают серьезно задумываться о жизни. Конечно, есть на свете слабые, никудышные люди... Но я пишу о тех, кто выдерживает испытания своей нелегкой судьбы.

ХОЧАЛАЙ И ХУР-ХУР

*Сорвиголове Ахмату —
младшему из сыновей моей матери*

У ослика тонкие ноги и грузный живот. Живот снизу белый, бока серые, спина совсем серая. Зовут его Упрямец, хотя, быть может, он самый послушный на свете осел.

Упрямец ничего не видит, потому что родился слепым. Не видит, какая впереди дорога, какое наверху небо. Ноша его нелегка. Восемь хурджунов с недельным запасом хлеба для восьмерых, в двух флягах вода и Хочалай в больших сапогах — все на нем.

— Ле-чух, мой Упрямец, ле-чух! — погоняет его Хочалай, и звонче стучат по каменистой дороге четыре копытца.

— Нельзя обижать осла, — сказал отец, когда купили Упрянца. — Уважай его.

Хочалай уважает. Пусть не осудит его встречный путник, подумав: «Такой большой мальчик, а едет на чужих ногах». Умей Упрямец разговаривать, он бы сказал:

— Эй, путник, не думай о Хочалае плохо. Он только минуту назад взобрался мне на спину. Ног у него в два раза меньше, и усталость пришла к нему раньше. Это во-первых. Во-вторых, дорога наша длинна — будет Хочалаю еще время потрудиться. У Красных утесов я отдохну, а Хочалай прольет семь потов. Пусть бережет силы...

— Спасибо тебе, — треплет серую холку друга Хочалай, — ты все хорошо понимаешь. Ни у кого во всем Карачае больше нет такого умного осла. Ждут тебя у Красных утесов и трава зеленая, и отдых в тени, а я потружусь...

Дорогу, по которой они едут, называют в ауле Тропой шайтана, потому что она трудная. Вернее, опасная, но путник должен забыть об этом слове. По ней, говорят, может пройти только настоящий мужчина. Или только шайтан, если хорошо подкован и достаточно смел. Для осторожных и робких есть другая дорога. Она не скачет со скалы на скалу, над нею не висят готовые сорваться на голову камни, и ни справа от нее, ни слева нет бездонной пропасти. И еще — она не такая узкая. Две арбы могут ехать по ней совсем рядом и приехать туда же, куда везет хлеб Хоча-

лай,— на Боязир, к косарям. Только приеду не скоро, шесть или семь дней будут толочь грязь той дороги колеса.

Каждую неделю проходили по Тропе шайтана Хочалай и Упрямец, только с ними был тогда отец, а теперь их двое. Им будет трудно, особенно у Красных утесов, где тропу сжали две гранитные глыбы, а третья упала на них сверху. Ни лошадь, ни бык не пролезут в этом месте дороги: лошадь высокая, бык широкий. Осел лучше их. Он такой же сильный, но маленький. Если его развьючить, он влезет в эти чертовы ворота, только шерсть серых боков останется на шершавых боках скалы. Платой за проход называет ту шерсть отец.

Были бы у осла крылья, лучше самолета был бы он, думает о своем Упрямец Хочалай. Оставались бы тогда целы его бока и ему, Хочалаю, не пришлось бы стаскивать с него хурджуны и тащить на себе через камни...

Хочалай поудобнее устраивается в седле и чувствует себя совсем хорошо. Ни неприятной качки, ни стука копыт, ни скрежета фляги, ежесекундно бьющейся о каменную стену справа. Все тихо и спокойно. Лишь слабый ветер дует навстречу, ласкает лицо, еле слышно поет в скалах... Но это не ветер, думает Хочалай, и облака расступаются перед ним. Сверкают на солнце и гудят алюминиевые фляги по бокам Упрянца, но это уже не фляги, это серебряные крылья. От удовольствия он поет и просыпается от собственного голоса...

Есть дурная привычка у Упрянца — и шагу не ступит, когда на нем спят.

— Чтоб на тебе мертвецов возили,— ругает его Хочалай.— Грех, по-твоему, человеку глаза сомкнуть? Мог бы в таком случае разбудить меня, а не стоять посреди дороги как пень. Ведь и тебе краснеть придется, если хлеб к утру не привезем. Ах ты! Ну ладно, давай вперед, не буду спать, буду о чем-нибудь думать.

И Хочалай думает. Сначала о разных вещах на свете, потом о самом интересном — о кссарях, которым он везет хлеб и воду.

* * *

— Э-эй! Батыры! — рокочет перед каждой зарей самый старый косарь Домалай.— Пора Хур-Хуру за горы, не держите его, пусть уходит. И нам давно время схватить ноги в руки.

Голос Домалай рождается не в груди, как положено,

а ниже, в самых глубинах чрева. потому и успеваает на длинном пути вверх набрать силу грома.

Но что такое Хур-Хур? Об этом спросил Хочалай еще в первый день сенокоса, и ему, улыбаясь, ответил Хайдар:

— Хур-Хур — это маленький, жилистый, крючковатый мужичок, который вцепится в тебя вечером и не отстанет до утра, что бы ты с ним ни делал.

— Неправда, — возразил Хопай. — Хур-Хур — это грузный дядя, навалится вечером, придавит к постели и держит до утра.

Еще узнал Хочалай, что Хур-Хур вездесущ, не спрячешься от него, найдет хоть под буркой, хоть под шубой. И особенно легко находит лентяя — любит его. А боится Хур-Хур только холодной воды и голоса Домалая: как только услышит Домалая — сразу убегает от человека. Одним словом, оказалось: Хур-Хур — это сон. Пришел он — закрывай глаза, а когда уходит, в постели делать больше нечего, надо вскакивать и одеваться. Прощаться с Хур-Хуром дольше положенного срока — для косаря позор. Дружи, косарь, ночью с Хур-Хуром как хочешь, а на заре гони его в шею, берись за косу, пока не ушла роса в небо.

— На всех брюках две штанины, — поделился в начале лета своими наблюдениями Домалай, — все рубашки с двумя рукавами, и каждому, с позволения аллаха, можно одеться не позже других.

Домалай — тамада джыйына¹, он пустое не скажет. И все-таки ведь не могут все одеться разом. В море рыба не одинаковая, а люди тем более.

Проворнее всех Хайдар, он первым срывает с гвоздя последнее, что нужно надеть, — белую, как снег, войлочную шляпу, такую широкополую, что косарь под нею и в самое жаркое солнце по пояс в тени. Второй после Хайдара — такой же худой и ловкий Хамит, а после него по разному порядку идут остальные.

И только его, Хочалая, отец берет за шляпу обычно последним.

Домалай пустое не скажет, он тамада джыйына, но забыл он, видно, что не у всех две руки. У отца одна — правая, и левый рукав мать ему просто не шьет. Отец даже шутит, что рука, оставленная на войне, их дому приносит иной раз больше пользы, чем сохраненная, — экономит материю.

Если считать не совсем быстро и не совсем медленно, можно дойти до десяти, пока отец возьмется за шляпу по-

¹ Джыйын — бригада, коллектив.

сле всех. Зимой или поздней осенью, когда дел становится меньше, считать до десяти — это, может, не много, а летом, в пору сенокоса, за это время можно, например, десять раз взмахнуть косой. А сто взмахов — это добрая кляпа. Прибавь к ней девять таких — встанет высокий стог. Поставишь совхозу девять стогов — десятый вези домой, корми, пожалуйста, всю зиму корову, в меру прожорливой до весны вполне хватит.

Однажды Хайдар предложил Хочалаю:

— Выпей гоппан¹ айрану — скажу секрет, как отцу быстрее одеваться.

Хайдар ни на кого из остальных не похож. Хочалай его не любит. Хайдар один замечает, кто за кем успевает одеться, хотя у всех глаза не хуже видят.

Опустошить гоппан — дело возможное, особенно если патоцак, но Хайдар улыбается непонятно. И Хочалай на всякий случай молчит.

— Какой ты карачаевец, раз айран не любишь? — будто бы удивляется Хайдар. — Тогда отдай мне сестру.

«Так и побегит она за тебя», — только успевает подумать Хочалай, а Хайдар снова улыбается. Есть у него нехорошая привычка — угадывать несказанные слова.

— Может, она не согласится, — говорит он, — но ты можешь ее выкрасть. Чем плохой зять буду, только нос немного великоват...

«И кривой», — хочет добавить Хочалай, но молчит. Он решает молчать долго. И Хайдар, поняв это, не выдерживает, сообщает секрет. Приблизив лицо, он шепчет Хочалаю на ухо:

— Если хочешь, чтобы отец одевался быстро, скажи ему, пусть ложится не раздеваясь.

Хочалай знает, отец в молодости ни в чем ни от кого не отставал. А держать косу умел лучше многих. И боролся здорово — его спина ни разу не касалась земли. Десять шагов мог пронести он трехлетнего бычка, взвалив на плечи... Теперь у отца нет руки. Он не косит, а доставляет косарям хлеб, варит им мясо. Он половина здорового косаря, и причитается ему осенью половинная доля, хотя не позволит ему Домалай взять меньше остальных. Осенью на пологом склоне за их шалашом косари сложат все заработанное сено в стога, а стог отца будет такой же высоты, как и другие. Отец станет сердито спорить, а Домалай скажет:

— Не шуми. Получишь вровень со всеми. В доме тво-

¹ Гоппан — большая деревянная чаша.

са, слава создателю, от детей тесно, а корова твоя любит сено не хуже наших. Работал ты хорошо, а сын твой Хочалай, прямо скажем, совсем молодец...

Куда отцу деваться, он возьмет. А потом, когда они будут вдвоем, отец, довольный, признается:

— Вырос ты, Хочалай, и рука моя словно выросла. Смотри, сколько сена у нас получилось и какое оно хорошее, со сметаной сам бы ел.

Много приятного слышал о себе Хочалай за лето на Боязире, а похвала отца дороже всего. Особенно приятно слышать, что он вырос и отец теперь не чувствует себя одноруким. Но что говорить или делать, когда тебя хвалят? Молчать и краснеть или сказать, что не ради хороших слов ты стараешься, а просто, как все, утром, вечером, днем и всегда делаешь свое дело. Хочалай может мокнуть под проливным дождем, гореть под жарким солнцем, может не спать две ночи и идти с Упрямым по Тропе шайтана, но пусть только не говорят ему «молодец», «молодец». Пусть лучше думают все косари, и Хайдар вместе с ними, что он делает не меньше того, что могла бы сделать потерянная рука отца.

Утром косари в шалаше на завтрак время не теряют. Когда поредет тьма, Домалай их будит, и они уходят, зыбкие и неясные в еще неродившемся свете. Завтрак им везет Хочалай. Сначала он долго ищет ослика, потом собирает в два кожаных мешка чашки, ложки и хлеб, наливает в два бурдюка айран и, ловко приторочив все это к седлу, торопит Упрямого в дорогу. Чашки, ложки должны быть чистыми до яркого блеска, а хлеб должен быть двух сортов — хлеб магазинный и хлеб карачаевский. Хлеб магазинный любят Хайдар, Азрет, Хопай и Хамит.

Домалай с остальными любит карачаевский, тот, что печется дома. Айран в бурдюках тоже разный. В одном — свежий, умеренно кислый и густой. Называется джуурт, его едят с хлебом. В другом бурдюке — сусаб — очень кислый, сердито шипящий и разбавленный водой айран. Он прекрасно утоляет жажду.

Хочалай не раз слышал: лучше айрана ничего на свете нет. Карачаевец не менее трех раз в день говорит ему душевное спасибо... Хочалай и дома уважал айран, а на Боязире по-настоящему с ним сдружился. Как подоить корову, вскипятить молоко и остудить, сколько положить закваски, чтобы не слишком кислым получился айран, чем его накрыть и укутать, чтобы он не стал териким от холода или чрезмерного тепла, — этому Хочалай научился тоже

на Боязире. И неплохо научился. В айране он теперь толк знает. Лишь однажды, еще вначале, он попал впросак — привез косарям слишком жидкий сусаб. Непонятно было — то ли айран разбавлен водой, то ли воду айраном подбелили. Домалай тогда сжал обеими руками гоппан, долго всматривался в его содержимое и сокрушенно воскликнул:

— Бедная река Кубань, как рано ты поседела.

Хопай же приблизил лицо к гоппану, всмотрелся пристально и заявил:

— Как чиста эта вода — точно в зеркале себя вижу.

Не промолчал, конечно, и Хайдар. Лишь только гоппан перешел к нему, он сразу спросил:

— Я здесь буду купаться?!

Хайдар в гоппане не выкупался. Хайдар его выпил, обтер усы и сделал вывод:

— Не будем обижаться на Хочалая. Хочалай не виноват. Виноват Хур-Хур.

Не спит теперь Хочалай, как спал тогда, разбавляя айран.

А спать хочется.

Накормив утром косарей, Хочалай возвращается назад в шалаш. Пешком ли он идет, едет ли на Упрямец, за ним по пятам неотступно плетется Хур-Хур. Хорошо было бы: Упрямец не капризничал — семенил бы себе копытцами, а Хочалай вздремнул бы. Не получается так. Стоит ему закрыть глаза, Упрямец тут же останавливается — сразу чувствует: навалился на седока Хур-Хур. Спи семь дней — семь дней он будет стоять.

Не только в дороге пытается Хур-Хур свалить Хочалая, он рад это сделать в любое время. Хочалай собирает кизяк или колет дрова, моет казан или чистит картошку — Хур-Хур неизменно где-то рядом. Особенно близко он любит подкрадываться, когда Хочалай, сев у костра, слушает, как гудит закипающий котел, и думает только об одном: не убежало бы молоко.

Хайдар давно уже не прочь доказать, что Хур-Хур Хочалая любит особенно сильно. Пусть доказывал бы это кто-нибудь другой, а не Хайдар! Лучше вспомнил бы, как зовут его деда; деда Хайдара зовут Мухамматом, но в ауле еще четыре Мухаммата, не считая двоих, умерших в прошлом году, и, чтобы не путать с ними, его зовут «Мухамматом, который палец в айране заквасил». Дед Хайдара, когда еще не был дедом с седой бородой, а был мальчиком чуть старше или чуть моложе Хочалая, опустил палец в молоко, выясняя — достаточно ли оно остыло для квашения, и, не

успев вытащить, так и заснул и спал всю ночь, пока молоко не стало айраном. Теперь дед Хайдара не мальчик — дед с седой бородой, а его и теперь иногда называют Мухаммадом, который палец в айране заквасил. А Хайдар забывает, что он внук этого деда, и говорит разные нехорошие слова о других.

В субботу утром Домалай оставил Хайдара в шалаше помогать Хочалаю — надо было зарезать и освежевать двух баранов. Сначала Хайдар работал молча, и неплохо работал, если честно сказать. Но когда уже мясо варилось и они присели отдохнуть, Хайдар стал называть себя несчастным человеком, потому что Домалай заставил его заниматься не мужским делом. И мясо варить, и посуду мыть, и хлеб возить — дело женщин, а настоящий мужчина должен косить.

Много дней терпел Хочалай, но терпение его кончилось, и он сказал Хайдару все, что думал.

Пусть не может косить его отец, пусть не может вздеть на вилы полкопны и метнуть на вершину высокого стога, не может пусть даже шляпу натянуть наравне с другими, но он все-таки мужчина, потому что не заквасил палец в айране, а делать многое может и с одной рукой. Вот пригонят волов — начнут стягивать копны для стогования, и тогда пусть Хайдар попробует силы, соревнуясь с отцом. А он, Хочалай, сейчас оседлает Упрямца и поедет вместо отца в аул за хлебом.

Хайдар не отпускал Хочалаю, отобрал седло, запер в сарае, но Хочалай в том же сарае запер самого Хайдара и сказал ему «до свидания». Вот он и везет теперь по Тропе шайтана хлеб, а его отец на горячем склоне Боязира вместе со всеми стягивает копны — по десять штук в одно место, где будет поставлен стог. Упряжка волов отца не знает усталости. Она стремительно взбирается на крутую гору, останавливается, послушная его команде; отец ловко захлестывает конну арканом, подпихивает, и она, то догоняя волов, то отставая, как живая, скачет вниз. И как бы крут ни был спуск, сколько бы камней ни лежало на пути, она не свалится, она будет покорна крепкой руке отца, которая глубоко вонзила в нее вилы и надежно держит.

Не хотел Хайдар отпускать в аул Хочалаю, говорил:

— От отца твоего здесь толку не будет, а от тебя там толку не будет. Свалит тебя ночью Хур-Хур с ишака, заснешь где-нибудь в придорожной траве, и сидеть нам без хлеба.

— Не засну,— сказал Хочалай,— увидишь. Отдай седло.

— Может, и не заснешь. Но меня Домалай ругать будет, скажет — зачем парнишку одного отпустил? Зашелестит трава, зашумит листьями дерево в темноте — испугается он, зайкой станет...

— Не испугаюсь. Отдай.

— Может, и не испугаешься и не заснешь. Но как у Красных утесов пройдешь? Застрянет меж ними твой длинпоухий, а мы из-под ладоней на дорогу смотреть будем — где же наш Хочалай?

Хочалай не заплакал, как, видно, хотел того Хайдар. Хочалай сказал:

— Хватит нам лежать на боку. Давай сушить мясо.

Мясо двух овец, аккуратно разделанное, висело в сарае. В тени оно быстро портится. Хайдар и Хочалай обсыпали его солью, выносили и вешали на солнце. Отправившись за последним куском, Хочалай вытащил и спрятал в бурьяне седло, а потом снова зашел в сарай и крикнул Хайдару, что не может снять с гвоздя мясо.

— Как будто там висит не худая овечья ляжка, а ляжка тучного быка,— бурчал Хайдар недовольно, входя в сарай.

Не успел он сделать и двух шагов, как Хочалай, хлопнув снаружи дверь, ловко накинул замок и, торжествуя, стал седлать Упрямца.

Удивительно ласковые слова придумывал Хайдар, высунув в оконце сарая нос,— просил выпустить.

— Придут на обед — косарей проси,— отвечал Хочалай.— Честно скажи им, почему ты в сарае. Вернись к сроку, ничего со мной не случится...

Не испугался Хочалай ни травы, ни дерева, с осла не упал, как пророчил Хайдар, и все было бы прекрасно, если бы его не одолевал Хур-Хур. Вчерашнюю ночь Хочалай не поддавался, ни разу глаз не сомкнул, пока не добрался до аула. Утром он выехал обратно. Скоро полдень, и Хур-Хур все сильнее давит его к седлу, а впереди у них еще полдня и целая ночь. До вечера крепиться можно, но после вечера будет ночь, ночью же у Хур-Хура сил прибавляется, кто победит — знает только аллах.

* * *

К Красным утесам Хочалай подъезжает, когда ни скалы, ни деревья, даже самые большие, не дают тени. Это время — точная середина дня, солнце светит прямо на макушку, и тень прячется под погами. Хочалай набирает из фляги полную кружку воды, медленно, глотками выпивает

половину, другую половину так же медленно выливает себе на голову и за воротник рубахи. Студеные струйки ползут вниз по всему телу, и Хочалай с радостью чувствует, как от него все дальше уходит Хур-Хур.

— Бисимилля! — произносит громко Хочалай волшебное слово, которым карачаевец начинает всякое маленькое или большое дело, чтобы дело это стало легким и было удачным.

Хочалай стаскивает с Упрямца хурджуны. Они не тяжелые. По два сразу может нести Хочалай, и нужно только четыре раза пройти через Красные утесы, чтобы перетащить их. С флягами дело серьезней. Отец их мог легко тащить на себе, сначала одну, потом другую. Хочалай так не может, поэтому он взял в ауле два бурдюка. Каждую флягу придется делить и тащить по частям. Там, на Боязире, думают, конечно, что явится он без воды, а если с водой, то ее будет мало. Но воды будет ровно столько, сколько может поместиться во фляге, ни капли меньше. Сначала Хочалай не знал, зачем нужно по такой длинной и трудной дороге везти из аула воду, когда на Боязире под каждым кустиком чистый и прохладный родник. Объяснил отец: Домалай в чужих краях поклялся, что если снова окажется на родине, то никакая сила не унесет его от нее так далеко, чтобы он не мог утолить жажду водой из Кубани. Остальные косари клятвы никакой не давали, а пьют и разбавляют айран тоже только этой водой.

Первый бурдюк легок и приятен, весело булькает и переливается в его утробе вода. «Слишком мало несу, — с досадой думает Хочалай. — В следующий раз придется больше». И в самом деле, второй бурдюк оказывается тяжелее. Он взбух, стал круглым, не лежит спокойно на плечах, норовит съехать вниз. К тому же он успел отсыреть, и Хочалай затылком чувствует уже не легкую прохладу, а липкую и холодную кожу. Такая кожа бывает, наверное, у лягушек, предполагает Хочалай.

Но больше всего заставляет потеть Хочалай фляга. В ней совсем мало воды, но фляга сама тяжелая, невыносимо давит на кости, кости болят, ноет шея, немеют руки. Приходится часто сбрасывать флягу с себя и тащить по камням волоком, то длинными, то короткими рывками. Грохот и скрежет металла эхом скажут в каменном коридоре, семикратно повторяются, растут и, прежде чем куда-то исчезнуть, долго звучат то в правом, то в левом ухе. Все ниже нахлобучивает Хочалай свою войлочную шляпу, но гул в ушах не утихает. Он живет и после того, как Хочалай за-



кончил дело. Упрямец навьючен, пощипывает травку, можно снова в дорогу, но Хочалай не может поднять себя с нагретого солнцем камня.

«Упрямец устал,— думает он,— пусть пощиплет травы, а я немного посижу, времени еще много. Только не надо закрывать глаза». Потому что как только Хочалай закрывает глаза, тут же встает перед ним Хур-Хур, опускает на его плечи тяжелые ладони и тихонько клонит к земле.

— Полежи немного,— слышит он вкрадчивый голос Хур-Хура.— Камень под тобою такой теплый и гладкий...

— Не уговаривай,— отказывается Хочалай.— Уйди, дай встать, я тороплюсь.

— Прогонишь сейчас — приду ночью,— грозит Хур-Хур.— Не спорь, поспи чуть-чуть, и снова тронешься в путь.

— Хитер ты,— качает головой Хочалай,— говоришь: чуть-чуть, а не постесняешься продержат меня на этом камне весь день. Не верю тебе, с тобой тоже надо быть похитрее.

Хочалай хитрит. Крепко обвязывает он свою левую ногу концом повода Упрянца и вытягивается на камне. Он знает, что будет спать, но не проспит. Как только Упрямец общиплет траву, тут же потянется дальше и разбудит его...

Засыпая, Хочалай видит у своей головы темные влажные губы Упрянца, слышит мерный хруст травы...

Будит его дождь. Тяжелые крупные капли падают на лицо, ползут по щекам, бьются о камень... И светит солнце. Неяркое и теплое, висит оно над извилистым нечетким горизонтом. Дождь ровный, мерно стучат капли, и по земле ползет мягкий шорох... Слепым дождем называют дождь при солнце. Почему слепой этот самый светлый, самый чистый, умывающий лик солнца дождь? Говорят, когда он идет, маралы в лесу рожают детей. Это дождь изобилия, он радуется всех. Хочалаю радостно. Он поднимает лицо, оборачивается, и щеки его начинают дрожать, губы вздрагивают и растягиваются в улыбку. За его плечами стоит радуга так близко, что, кажется, можно попасть камнем, если не бояться разбить ее на кусочки. А под радугой на крутом синеватом склоне, прижавшись друг к другу, стройные и высокие, серебрятся четыре стога, а вокруг них маленькие, как их дети, и круглые, как шапки кумыков, рассыпались копны. Почему они серебряные, удивляется Хочалай. Это все, наверное, дождь. От самого неба до земли протянулись его прямые нити, и на этих серебряных нитях, кажется, висит земля, вся тоже серебряная, с горами

и лесом, с высокими стогами, с пим самим и с Упрямцем. Радостно Хочалаю, не сходит улыбка с его лица. Сам он отдохнул, плечи его забыли тяжесть непокорных фляг, не болит натертая старым сапогом нога, позади остаются Красные утесы, и впереди у них ровная, прямая дорога.

* * *

Над Боязиром догорает заря. Выпрямив в струну натруженный хребет и высоко забрасывая голову, карабкается по давно обкошенному желтому склону навстречу заре Упрямец. На макушке склона он останавливается, ловит раздутыми ноздрями запахи утра, прислушивается к звукам и незрячим взглядом обводит лежащее внизу ущелье, где ждет его ключевая вода и никем не тронутая зеленая-зеленая трава. Упрямец стоит неподвижно, потом вытягивает шею, поднимает к пламенному небу морду, кричит. По ущельям, балкам, по кряжистым хребтам, по всему еще не проснувшемуся Боязиру, забирая все выше и выше, бежит густой, могучий, раскатистый рев.

О чем кричит Упрямец?

О том, что ждет его внизу еда и питье, что он развучен и бока его дышат свободно? Или Упрямец хотел бы видеть свою жизнь вечно такою, как сейчас, и в реве его жалоба на бремя тяжелых грузов? Или, может, он просто по-своему, по-ослиному, благодарит судьбу за то, что это бремя не вечно?

Упрямец идет по вершине склона навстречу готовому взойти солнцу, все ускоряет шаг и наконец бежит, сначала рысцой, потом галопом, будто стараясь убедить себя в том, что легки и крепки его тонкие ноги...

В шалаше на пахучем сене лежит Хочалай. Раскинулся на спине.

Начинает всходить солнце. Роса поднимается в небо. С туманного холма спускаются, спешат к завтраку косари. Уже слышны их бодрые, громкие голоса. Хочалай хочет их дожидаться, увидеть на их лицах одобрение, и он несколько раз поднимает руку, чтобы отодрать друг от друга неуверенно слипающиеся веки. Косари уже близко, они идут к нему, но впереди их и проворнее их неслышными, невидимыми шагами идет к нему Хур-Хур — счастливый богатырский сон.

И Хочалай не слышит и не видит, как Хайдар, присев на корточки, тихо улыбается и тихо шепчет ему на ухо, что Хочалай настоящий мужчина.

СЕРЕБРЯНЫЙ ДЕД

Мы жили на берегу Кубани, у самой кручи. Неподалеку от нас река раздваивалась. Правая половина текла прямо и быстро, левая сворачивала в сторону и тихо вползала в пасть старенькой мельницы, которая и днем и ночью глотала и не могла проглотить эту бесконечную голубую струю. Мельница была обыкновенной мельницей, какие нередко попадают на всех горных реках, но мне она казалась таинственной и сказочной.

Сам мельник тоже казался мне волшебником, пришедшим из сказки. Весь убеленный прожитыми годами и густой мельничной пылью, он был точно отлит из серебра. Потому, видно, и звали его «Серебряным дедом».

Серебряный дед ходил низко согнувшись, словно вечно искал под ногами потерянную молодость.

— Дедушка, почему ты такой кривой? — спрашивали его мы, дети.

— Это я однажды проглотил коромысло, — отвечал он, и широкая улыбка шевелила его усы и бороду.

Особенно старым и кривым он казался рядом с сыновьями. Было их трое — все взрослые, плечистые, угольноволосые...

Жил Серебряный дед с ними в небольшом домике, приульившемся к солнечной стороне мельницы. Летом домик исчезал в густом винограднике, безудержно наползающем на него с трех сторон, а осенью, когда виноград редел, он опять вырастал из земли и двумя своими окнами всматривался в аул, растянувшийся наверху, по надбережью. Между этими окнами, прямо на лбу домика, желтели, словно облитые золотом, большие оленьи рога. Когда-то один из сыновей Серебряного деда подстрелил в лесах Приэльбрусья старого оленя-самца. Мясо его дед раздал аульчанам, а рогами украсил свой бревенчатый домик, чтоб никогда не покидали его счастье и изобилие... Недаром Серебряный дед прожил столько лет: прибывая ржавым гвоздем рога, он твердо знал, что прибывает к своему жилищу

счастье. И в самом деле, не было у него с тех пор ни одного мрачного дня — все его уважали, достаток в хозяйстве был, сыновья радовали силой и удалью. Одно беспокоило — не было в доме заботливой женской руки с той самой дождливой осени, когда ангел смерти Азраиль забрал с собой его старуху.

— Хорошо бы женить сыновей,— стал поговаривать он.— Вот созреет урожай...

А урожай уже зрел: наливался ячмень, кукуруза выбрасывала розовые султаны, и в золоте тяжелеющих подсолнухов купались шмели. В горах, особенно на солнечных склонах, торопливо набирала соки трава, скоро, скоро должны были осыпаться лепестки ромашек. Каждое лето в эту пору Серебряный дед останавливал мельницу и уходил с сыновьями в горы на сенокос. Он и теперь приготовил четыре косы. Но косить не пришлось...

Грянула вдруг беда, потушила огонь в очаге старого мельника, развеяла радость и счастье по всему берегу, а я, восьмилетний мальчик, считал себя единственным виновником этой беды.

Как только сходил последний снег и на берегу высypали подснежники, мы, мальчишки, спускались к Кубани. Запруда у мельницы сдерживала быстроту воды, и мы целыми днями плескались в реке. Каждый полдень, когда ласковое солнце нависало над аулом, Серебряный дед, совершив обеденный намаз, приходил к нам.

Нравилось ему, когда двое из нас в тесном кругу бодельщиков устраивали борьбу. Победитель надолго становился его любимцем. В это лето им был я, и старик даже подарил мне свою плетку. Я и сейчас помню зависть мальчишек в тот день и слова Серебряного деда:

— Что?! Завидуете, шайтаны! Клянусь — хорошо делаете. Добрая зависть — это конь, на котором можно далеко уехать.

Я был счастлив тогда, но один из мальчишек, смуглый цыганистый креныш, отнял у меня мою славу, три раза подряд прижав мои лопатки к горячему песку. Серебряный дед и не посмотрел на меня, а сопернику моему обещал в подарок все, что он ни попросит. Тот был сильно смущен и только после ухода Серебряного деда вдруг заявил, что постарается получить в подарок от мельника оленьи рога. Его слова заставили нас обернуться к мельнице. В багрянце заката отливали золотом старые рога. Все почему-то на

миг притихли, и в этой короткой тишине я внезапно почувствовал себе, что они счастливицу не достанутся.

Когда наступила ночь и в ауле стало тихо, я осторожно спустился к мельнице. В доме Серебряного деда все спали. Я подкрался и протянул руку к рогам. Они оказались высоко. Разыскав какой-то бочонок и забравшись на него, я взялся за могучие ветви обеими руками и изо всех сил рванул их к себе. Старая кость, высушенная ветрами и солнцем, хрустнула, как стекло, и рога оказались в моих руках.

Только сейчас я задал себе вопрос: что делать дальше? Отнести рога домой? Нельзя. Спрятать где-нибудь? Могут найти. Не долго думая, я заторопился к реке и, размахнувшись, швырнул их в темную воду. Глухой всплеск, похожий на вздох, оттолкнул меня от реки. Я, не оглядываясь, бросился прочь, к аулу. Только на самой круче, у калитки своего дома, я остановился и перевел дух. С того берега выплывала луна, шумела Кубань, аульские собаки облаивали засыпающую долину.

«Зачем я потопил рога счастья?» — мелькнула у меня мысль, но только на мгновение. В то время я не думал о счастье, о нем начинают думать, когда оно покидает человека. Я же, как и все дети, был счастлив. Не знал я в ту ночь, что на следующий день детство мое кончится.

Утром в аул пришла весть — началась война. Никто нам не объяснил, что это такое, но мы, дети, поняли — случилось что-то очень страшное.

Через несколько дней аул провожал своих парней на фронт. На площади перед аулсоветом толпился народ. В середине толпы были будущие бойцы, а в их кругу стоял Серебряный дед.

— Джигиты, — говорил он громко и бодро, — когда приходит враг, мужчина берет оружие и встречает его — так было во все времена. Кто приходит с огнем — тот сам горит. Так было всегда. Побьете врагов и вы, только бейте их крепче и — назад... Сами знаете, скоро косить надо, а без вас какая косьба?! Берегите нашу землю, как честь свою, а честь — как жизнь свою. Пусть никогда не увидит враг хвосты ваших лошадей. Доброго пути вам, и да не возвратит вас аллах без победы.

Серебряный дед обвел джигитов помолодевшим взглядом. Их было много. Впереди всех стояли три его сына. Многих обнял Серебряный дед, прощаясь, только до сыно-

вей своих не дотронулся. Суров закон предков, по свят — не подобает мужчине на людях давать волю своим чувствам.

Не раз собирался еще народ у аулсовета — уходили на фронт все новые и новые люди. Много их ушло.

По утрам сходились на берегу старики, слушали новости, толковали свои сны. Тянулись один за другим тоскливые осенние дни, и в ауле росла неумная тревога.

Серебряный дед был первым, кого посетила беда. Разбирая письма с фронта, заведующий почтой, вечно хмурый горбун Ибрагим, заметил синенькую бумажку на его имя. Женщины, целыми днями торчавшие на почте, зашушукались, потом полилось тихое всхлипывание.

Горбун заерзал на месте.

— Не плачьте, перестаньте, — повторил он несколько раз и вдруг вскочил.

— Уходите отсюда все, — взвизгнул он фальцетом и заплакал, не стесняясь.

Старуха с широким лицом, в морщинах которого стояли слезинки, то ли себе, то ли горбуну в утешение сказала:

— Да попадет его душа в рай, и да возвратит аллах старику двух других живыми.

— Вы ничего еще не знаете, — простонал горбун, — смотрите... Это тоже мельнику. Я никому не говорил...

Длинная рука его нырнула за пазуху и вынырнула с двумя похоронками — такими же маленькими бумажками, как и первая.

Гибель сыновей от старика скрывали тщательно, а он каждый день приходил на почту за письмами. Ибрагим старался встречать его спокойно и даже шутил:

— Не пишут тебе, думают, и не надо — раз отец читать не умеет. Придется тебе на старости лет учиться грамоте.

— Зачем это, встретимся — сами все расскажут, — отвечал тихо Серебряный дед и сидел у Ибрагима до самого вечернего намаза.

Последнее время он подолгу не сходил с молитвенного коврика.

Потом Серебряный дед начал получать письма.

К концу осени он заболел и перестал приходиться к Ибрагиму. Когда ему становилось немного лучше, он подходил к окну, чтобы посмотреть на уходящую осень. Виноградник под окном редел и сползал с крыши. Желтые листья его были совсем еще свежи, но сохли и умирали быстро — видно, близки были опускавшиеся с гор холода.

По ночам мельницу обдувал порывистый ветер, выл в

трубе, крутил золото листьев над рекой. Не приходили уже на хмурый берег мальчишки, и там, у запруды, где они купались все лето, теперь ленивые гуси вылавливали червей.

А я к мельнику спускался каждый день. Встречал он меня обычно лежа. Вынув из-под подушки кипу писем, я спрашивал, какое читать. Любое, отвечал он, и я по слогам читал все письма подряд и всегда радовался и удивлялся тому, что он, такой умный и прощительный, никак не догадается, что эти письма, мусоля огрызок химического карандаша, сочиняет горбатый Ибрагим...

Старику становилось все хуже. Он таял и сох на глазах, и все понимали — недолго протянет мельник.

— Может, лучше сказать ему о сыновьях, — предлагали одни.

— Нет, — говорили другие, — трудно человеку, потерявшему надежду, уходить на тот свет, ведь и на этом свете жилось ему худо...

И вот в один из дней стал готовиться большой старик к смерти. К мельнице потянулся весь аул.

— Хочу последний намаз совершить под открытым небом, — сказал умирающий, и его вынесли во двор.

Светило солнце, от земли шел пар, а к реке, как овцы на водоной, спускались белые облака...

Вдруг Серебряный дед оборвал молитву, встрепенулся: по скалистой тропинке, смешно разбрасывая ноги, бежал Ибрагим.

Развернув на бегу бумажный треугольник, он сел рядом с мельником:

— Слушай, старый... письмо — скоро приедут.

Голос его задрожал, он закашлялся. Этот несчастный с детства человек хотел осветить последние минуты жизни другого.

— Подожди, не читай, — остановил его Серебряный дед. — Скоро я их встречу сам.

Собрав последние силы, он забросил руки за плечи горбуна и, прильнув к нему всем телом, прерывисто заговорил:

— Душа моя, спасибо. Я все знаю, Ты плакал... я стоял у двери... тогда, на почте. Я все знаю, — повторил он еще раз.

До этого я стоял притихший, пораженный приближением человеческой смерти, эти слова больно хлестнули меня.

— Это я, — закричало во мне что-то, — я бросил рога в воду... — Из глаз моих лились слезы.

Толпа вздрогнула от моего крика, а Серебряный дед повернул голову в мою сторону и прошептал:

— Прощай, сынок... ты очень сильный. Ты добежишь скорее всех... Прибеги ко мне, как только война закончится. Крикни у моего камня — кончилась... Обязательно прибеги, чтоб я спал спокойно.

Это были его последние слова. Прошло много лет, как я прибежал к его могильному камню и крикнул, что война кончилась... Ее нет... Спи спокойно, дорогой мой человек — Серебряный дед.

Кто ни глянет на него, сразу думает: вот занятный парнишка, наверное, русских родителей сын. Ошибка выходит. Потому что он чистокровный карачаевец.

Бабушка зовет его то «Душа моя», то «Свет глаз моих», то «Око мое», потому что очень любит. Мать зовет его «Кормилец наш», потому что он единственный в семье здоровый мужчина.

А для всех остальных, если не считать старого Абдуллу, он просто Алибек.

Старый Абдулла, дальний родственник их и ближайший сосед, совсем чудное имя придумал ему — Салам Шайтан. Салам Шайтан — значит Соломенный Шайтан. Конечно, каждому интересно знать — почему шайтан? Да еще соломенный?!

— Тебя, мальчик, кто-нибудь видел спокойно сидящим или стоящим на одном месте? — любил повторять Абдулла. — То там ты, то здесь, то опять там. Носишься туда-сюда, а потом сюда-туда. Так кто же ты такой, если не шайтан?! Оллахий, шайтан, сокруши меня аллах... И не простой такой шайтан, какие они обычно бывают, — рогатенькие, волосатенькие, черненькие-черненькие... Соломенный ты... Посмотри-ка, какая у тебя голова? Не говори умная — не об уме речь. И кто только такой цвет волос придумал? Горят золотым огнем, как свежая солома на солнце... Точно скирда твоя голова, только, понятно, поменьше и покруглее...

Не обижается Алибек.

Если Абдуллу послушать, у него все в селе шайтаны... Внук хромого сторожа Заур окрещен им Шайтан-скелетом. Потому что Заур тощий. Есть у Заура двоюродный брат, полная ему противоположность, — он Шайтан-бочка. Харун, сын кузнеца, за смуглость щек и угольную черноту волос получил имя: Шайтан из трубы. Труба, конечно, имеется в виду дымоходная. Не обижается на Абдуллу Алибек. Привык. Только вот когда Абдулла имя его отца

забывает, Алибек сердится. Отца Алибека зовут Умар, всем это прекрасно известно. Значит, хочешь если по-карачаевски сказать, выходит: Алибек Умар улу, а Абдулла пи с того ни с сего придумал Алибеку совсем неподходящее отчество Дыгалас улу. Кому это понравится?! Слово такое невеселое. Дыга-лас! — обидно звучит. Выговаривать неохота, слушать тоже. Конечно, все знают, что такое дыгалас. И объяснить это можно просто. Встретит карачаевец карачаевца:

— Салам алейкум, алан!

— Алейкум ассалам!

— Как жизнь твоя?

— Не спрашивай— отвечать не хочется. Дыгалас моя жизнь... А твоя, алан?

— Тоже дыгалас!

Все ясно. Обоим туговато приходится. Или нездоровится, или сено кончилось, нечем козу накормить, или мука на исходе... Одним словом, дыгалас можно понимать как несладкую жизнь, а тогда, выходит, Дыгалас улу такой смысл имеет — сын Несладкой жизни. Почему он, Алибек, сын Несладкой жизни? Трудно понять Абдуллу. Об этом не раз думал раньше Алибек, думает и сегодня, с той минуты, как они выехали из села...

Выехали они рано. Бабушка еще не приступала к первому, утреннему намазу, который должен совершаться в самом начале рассвета, когда белую нитку от черной отличить никто бы не взялся, а их сани уже были готовы в путь...

Сейчас они едва ли на десятую часть укоротили свою дорогу. Абдулла же успел назвать его и Соломенным Шайтаном, и сыном Дыгаласа... Плотно сомкнул губы Алибек, заметно надул щеки и едет помалкивает. «Еще раз назовет этим скверным словом, молчать больше не буду», — думает каждый раз Алибек и каждый раз не решается высказать недовольство вслух. Не потому, что смелости не хватает, — потому, что любит Абдуллу, уважает.

Незаметно, потихоньку отодвигается он от Абдуллы, так же незаметно поворачивается к нему спиной и, плотнее запахнув свою шубенку, смотрит, как за ними нескончаемо бегут два четких дружных следа на утреннем мягком снегу...

Сани скользят легко и бесшумно. Старый, жилистый конь, звучно екая селезенкой, мчит их бодрой рысью по спящей зимней дороге, по бескрайней спящей степи.

Кругом снег и снег... Сейчас под этим светлеющим не-

бом он не белый. Он желтоватый, как густое молоко, спокойный... Пока не выглянет солнце, на него приятно смотреть, а когда солнце поднимется, снег под его горячим лучом точно загорается: вспыхнут, побегут по снегу миллионы маленьких ослепительных искр, и глазам смотреть больно.

— Спишь? — не оглядываясь, подает голос Абдулла.— Или просто от скуки притих?

Не отвечает Алибек. Молчит, смотрит в тихую степь и о чем-то думает. Легко и хорошо так, когда не знаешь сам и не хочешь знать, о чем именно думаешь, а мысль твоя сама по себе летит, перескакивает с одного на другое. Может, она в это время стремится что-то понять, во что-то проникнуть, что-то постичь, но тебе самому это неизвестно. Может, в эту минуту ей интересно, почему снег такой желтоватый? Или почему он холодный? Или почему так бескрайна, безначальна эта ровная-ровная степь? Где-то есть ей конец, но где? Куда приедешь, если старый Абдулла вот так, без усталости, привычно будет помахивать длинным кнутом, а старый жилистый копь, понукаемый им, тоже без усталости, не сворачивая ни влево, ни вправо, с этой прямой, как стрела, дороги, будет мчать их сани все время вперед и вперед? В конце концов дорога упрется, наверное, в горы, высокие-высокие, крутые-крутые, где ни пройти, ни проехать — только пролететь можно... Почему, интересно, в горах не растет камыш, как говорил Абдулла? У нас растет... Густо растет, все село возит его из Волчьей балки домой, и всем хватает. И печки топят им всю зиму, и крыши домов им покрывают, и заборы из него вокруг домов ставят, и разные циновки из него делают, и на всякую другую нужду рубят, режут, косят, а его от этого не убывает. И как люди в горах живут, если не растет там камыш?.. Чем крыши кроют, чем печи топят? Спросить бы Абдулла, но Абдулла думает, что он спит, пусть так и думает... Хотя вряд ли его обхитришь, он и затылком видит...

— Ну что, мальчик, притих, холодно тебе? — не оборачиваясь, спрашивает он, словно подтверждая правоту Алибека.— Крепись, Соломенный Шайтан,— скоро солнце придет — стужу прогонит... Тепло будет сегодня, смотри, какое пламя зреет там, на краю...

Тонкая золотая линия легла на восходе, четко отметив границы земли и неба, и снега на том краю степи были уже схвачены алым мерцанием... Оттуда навстречу их старому вороному коню медленно выползло молодое, ясное утро.

— Будет снег,— сообщает, глядя на эту золотую полосу, Абдулла,— большой снег! Буран может подняться...

Если Абдулла сказал, значит, будет: рано утром он точно знает, какой придет вечер, а вечером — какое наступит утро, Алибек в этом не сомневался.

— Но ты не бойся, Дыгалас улу,— продолжает Абдулла.— До вечера ничего не случится, а вечером ты уже будешь дома. И я к своим овцам успею. Хорошо говорили старики: «Кто раньше с постели поднимется, у того раньше кобылица ожеребится». Не поленились мы с тобой пораньше подняться, пораньше и дело успеем сделать. И нечего нам бояться буранов, когда дело сделано будет, правда ведь?

Правда! Бурана бояться нечего, если он начнется вечером. К полудню они накосят камыша, свяжут снопы, уложат на саях, и Алибек повезет его домой. Абдулла пойдет дальше, на старые фермы, где зимуют колхозные овцы, за которых Абдулла, по собственному признанию, «отвечает своей седой головой и зимой и летом». К вечеру и Алибек привезет домой камыш, и Абдулла успеет накормить, напоить своих овец. Все это так и будет. Но до каких пор Алибек будет не сыном Умара, а сыном Дыгаласа?

Если бы на месте Абдуллы сидел сейчас другой человек и если бы этот человек назвал Алибека сыном Дыгаласа, Алибек сказал бы тому человеку, что он сам такой. Абдулле так не скажешь. Нехорошо получится.

И Алибек молчит. То песню мурлычет Абдулла, то что-то скажет, то спросит что-нибудь, будто про себя...

Давно уже встало солнце, но степь еще не проснулась. Все молчит, все спит. И дорога, и безлистые деревца-одиночки, и редкие низкорослые кустики, и холмики, и еле заметные впадинки — все замерло, все застыло в этом белом холодном царстве. Ни звука, ни движения, только полозья шуршат по снегу, только конь старый посапывает, екает нутром, стучит копытами, да старый Абдулла с большими перерывами вдруг начинает еле слышно мурлыкать всегда одну и ту же нескончаемую непонятную песню, из которой Алибек улавливает лишь одно: «Орай-да-рий-да-ра-ра-ра! Эрий-ра-ра-ра-о-рай-да!»

Недружная стая ворон, пронзительно каркая, поднимается и неохотно отлетает всего на несколько шагов от саян, когда они подъезжают к железной дороге. Ленивые черные птицы, кажется, единственное, что живет и дышит сейчас в степи.

Влево от переезда в трехстах шагах — пруд. Когда-то

был большой, теперь обмелел. По берегам его стоят заснеженные тополя и вербы, и над замерзшей водой белеют рядом три дома. Один, тот, что посредине,— побольше, два по сторонам — поменьше. Это место называют в селе Водоемом. На Водоеме раньше, когда по железной дороге бежали поезда, былолюдно. Потом постепенно люди стали уходить, и остался там только старик — путевой обходчик с дочерью. Алибек знает, старика все зовут Моргунов и все его в селе дружно боятся... Хотя железная дорога, как говорили, уже не нужна ни людям, ни поездам, Моргунов продолжал за ней следить, стеречь ее. Повесив на плечо ружье, он, как и прежде, ежедневно прошагивает по ней много километров. Все равно дорогу потихоньку, помалу разоряли: то одна шпала вдруг исчезала, то две, но если бы не было Моргунова, от железной дороги давно осталась бы одна только насыпь. Раньше, бывало, Алибек видел на Водоеме то самого Моргунова, то дочь его, то какого-нибудь гостя или путника, завернувшего к старику на отдых. Из-под ворот большого дома с хриплым, неусердным лаем вылезал лохматый бесхвостый пес и на всех лаял однообразно и скучно, словно сам понимал, каким бесполезным, ненужным делом занимается.

Сейчас Водоем тоже весь замер. Ни ветка тополиная не качнется, ни верба сухим стволом не заскрипит...

Лишь через некоторое время, когда они отъезжают от Водоема на порядочное расстояние, мертвый покой Водоема оживляет горластый петух. Огненно-рыжий, будто клочок самого пожара, он взлетал на перекладину ворот и, чему-то радуясь, быстро хлопал крыльями, старательно выводя восторженное: «Ку-ка-ре-ку!!!»

Абдулла даже вздрагивает — так резок этот крик. Оглянувшись назад и не отрывая взгляда от петуха, Абдулла удивляется:

— Посмотри на него. Как запел. Неплохо горло просверлено. Тебе, мальчик, радуется. Рыжий, значит, рыжего увидел!..

Может, и улыбнулся бы сейчас Алибек, может, тоже как-нибудь пошутил, но сдерживается, плотнее сжимает готовые к улыбке губы и надувает щеки. Он не желает больше скрывать, что давно уже недоволен Абдуллою. А тот как ни в чем не бывало отвернулся и снова мурлычет свое: «Орай-да-рий-ра-о-рий-ра...» И так до самой Волчьей балки... Слушает эту песню и конь, которого распрягает Алибек, и солнце, поднявшееся уже высоко, и стальная коса, которую ловко правит Абдулла, и высокий густой камыш,

которому суждено испытать сейчас остроту этой косы, и вся Волчья балка, по горло сытая тишиной и покоем уже с самых первых дней прихода зимы.

Весной, летом и осенью Волчья балка самое веселое, самое шумное место в этой громадной бескрайней степи... Здесь кишмя кишит все живое, начиная от серого хищника — волка и кончая крохотной букашкой, едва различимой в траве. Лягушка и журавль, лисица и змея, шакал и дикая утка, бобер и комар, кулик и всякая другая болотная дичь — пестрый народ здесь живет, удивительно разный и повадками, и шкурой, и перьями, и чем хочешь. Разные песни, разные голоса, разные праздники в Волчьей балке летом и осенью. Все по-своему ссорятся, по-своему мирятся, по-своему свадьбы устраивают... Да, здесь много звуков, цветов и красок летом и осенью. А зимой, когда все цвета перекрывает один белый цвет, когда внезапно умолкает визг, писк, гам, гвалт и вместо всех звуков приходит тишина, — Волчья балка самое скучное место. Желтая осока постепенно никнет и засыпает под снегом, вода замерзает, камыш сиротливо стынет во льду, отражаясь в нем, как в зеркале...

Мерзлый стебель камыша становится зимой хрупким, как стекло звенит, падая под ударами косы...

— Такой камыш можно и палкой косить, — шутит Абдулла, все ускоряя взмахи косы... Каждый взмах его — готовый сноп. Алибек еле успевает связывать их заранее свитыми из осоки веревками... Пальцы обеих рук заочене-ли, холод камыша, кажется, весь перешел в них, зато тело горит. Алибек чувствует, липнет к спине мокрая рубашка. Вспотел Абдулла: из-под самых краев косматой шапки, точно из-под крыши котелка, где варят картофель, легкими клубами выходит пар...

Солнце еще не успело добраться до середины неба, когда, уложив на саях больше ста снопов и увязав их жестким арканом, Абдулла и Алибек садятся обедать.

Обед незатейливый, небогатый, но после хорошей работы кажется необычно вкусным... На белом снегу — белый аккуратный платочек, на платочке две желтые кукурузные лепешки, головка чеснока и соль...

— Бисимилля! — произносит громко Абдулла и отправляет в рот сразу одну треть своей доли.

— Бисимилля, — повторяет вслед Алибек и отправляет в рот тоже немаленький кусок лепешки.

Улыбается Абдулла и, проглотив наконец то, что так долго жевал, говорит:

- Заметил ли ты, Соломенный Шайтан, что сегодня тебе не до разговоров? Это первое твое слово за целый день.
- Угу! — продолжает жевать Алибек.
- Что «угу»?
- Заметил.
- Наблюдательным растешь человеком. Хвалю...
- Угу! — проглатывает очередной кусок Алибек.
- Что «угу»?
- Таким расту...

Абдулла перестает жевать, смотрит, удивляясь, в глаза Алибеку.

— Что случилось, мальчик? Почему ты такой мрачный, а? Ишак, что ли, у тебя подход?

— Нцэ! — цокает языком Алибек и отрицательно качает головой.

— Что «нцэ»?

— Не подход...

— Да что же ты, а? Не желаешь со мной говорить? — говорит Абдулла и кладет назад на платочек последний кусок своей лепешки. — Что случилось?

— Ничего. Моего отца зовут Умар. Я сын Умара.

— Ну и хорошо. Будь им... В чем же дело?..

— Не нравится мне то слово...

— Какое слово?

— Дыгалас.

— А-а! Э-э! — тянет Абдулла.

Оба жуют молча. Оба молча заканчивают обед, встают и идут к саниам... И только когда Алибек взобрался уже на сани и взял в руки вожжи, Абдулла протягивает ему кнут, открывает рот.

— Хорошей тебе дороги, мальчик, — говорит Абдулла. — Езжай спокойно, не очень гони коня. Быстро устанет. Перед мостом дай ему немного отдохнуть, подъем хотя и маленький, коню нелегко будет — скользко: подковы стерлись, не держат... А на меня не сердись, — добавляет Абдулла, немного помолчав. — Ладно? Хорошее имя у твоего отца, и сам он золотой. И ты, мальчик, знаю, достоин называться его именем. А про то слово мой язык забудет... Это я просто так, потому что несладкая у тебя в самом деле жизнь, у друзей твоих тоже... И ты, и Шайтан-бочка, и Шайтан-скелет, и Шайтан из трубы — все вы сыновья несладкой жизни. Что ж поделаешь — время такое, война! Всем вам отец — Дыгалас. Горько это, тяжело, но ничего оскорбительного здесь нет. Если подумать, в этом даже хороший смысл имеется: сыновья Дыгаласа никогда слабень-

кими, плохонькими мужчицами не вырастут... Дыгалас их и рано вставать и поздно ложиться научит... Так думаю я, человек с белой, длинной бородой...

Еще что-то хочет сказать Абдулла, но не говорит, поднимает и быстро опускает правую руку, как будто отмахивается от какой-то своей новой мысли... Потом еще раз машет рукой, это уже для Алибека, и, круто повернувшись, уходит...

Смотрит ему в спину Алибек и молчит...

Смотрит, как по скучной степи усталым шагом все дальше и дальше уходит старый человек. Старый, усталый человек, который всем всегда помогает и которому никто не догадается, вот как он, Алибек, сказать спасибо.

Смотрит Алибек, как все дальше и дальше уходит в белую степь человек с белой бородой, и хочется ему громко, очень громко крикнуть вслед:

— Абдулла! Я не сержусь на тебя, Абдулла! Слышишь?! Я люблю тебя, Абдулла!..

Но кричать о том, о чем не смог сказать, еще труднее.

* * *

На этом месте можно было бы кончить рассказ о том, как рыжий мальчик Алибек ездил за камышом. Раньше каждый раз все интересное случалось до этого, а дальше бывало просто — он добирался к вечеру домой, сгружая камыш, отводил коня к хозяину и ложился, заработав полное право на сон и покой.

На этот раз ему не повезло.

Ничего, к счастью, страшного не случилось. Просто солнце принялось греть необычно ярко. Снег из-за тепла начал таять. Дорога стала от этого хуже. Появились на ней проталины, которые никак не нравились коню, впряженному в сани...

К концу дня путь должен был стать легче, потому что солнце скрылось. Но мороз пришел слишком крепкий и вместо добра принес зло. Талый снег замерз и покрыл дорогу тонким льдом. Для коня — это другая беда. Железо подков скользит по льду, и конь копытами своим не хозяин, разъезжаются они в разные стороны.

Дорога — хоть плачь.

Вечер застаёт Алибека не в селе, а в самой середине пути — у моста. Речушка мелкая, вода в ней давно замерзла, но оба берега ее крутые, и проехать можно только через

мост. Перед мостом дорога горбится — идет на подъем — и обессилевший конь не может перетащить сани через этот горб. Каждый раз срывается он на последней точке подъема — не держат его подковы, и он вместе с санями съезжает назад. Конь усердствует, дымитя пар на его боках. Он не вольтит, он старается, ему самому скорее хочется в село. Алибек видит это, и все же решает, не со зла, а чтобы прибавить духу, подействовать на коня кнутом. Он долго и внушительно крутит кнут над головой, а потом два раза хлещет им по тугому потному крупу. Круп — самое небольшое место коня. Алибек это знает. Когда коня хотят обидеть, сделать ему больно, его бьют по хребту, по бокам. Бьют некоторые по голове.

Не понял конь Алибека. Даже очень легкие удары причиняли, наверное, сильную боль, если незаслуженны. Не понял конь — повернул голову назад и смотрит с укором.

«Эх ты!» — как будто говорят влажные глаза его. Эти два непроизнесенных слова бьют Алибека больнее кнута. Конь долго не отворачивается, смотрит влажным взглядом до тех пор, пока Алибек не опускает смущенных глаз. И только после этого, собрав все остатки сил, пытается конь еще раз одолеть подъем, и снова не может. Подковы снова предают его.

Алибек понимает: единственный выход теперь — сгрузить камыш и по частям перевезти его за мост.

Если бы с самого начала не поленился Алибек и принялся за дело, сейчас они уже были бы за мостом. Много времени и сил потеряли без пользы. Сознание этого заставляет Алибека торопиться. Он сбрасывает с саней камыш, перевозит за мост, может, всего лишь одну пятую часть, потом сразу гонит коня назад за новыми снопами...

Вечер давно ушел, и пад степью уже царит долгая морозная ночь. Алибек это замечает только тогда, когда заканчивает дело. Подъем позади, камыш снова уложен, снова перехвачен крест-накрест жестким арканом, можно бы трогаться в путь: ничто теперь — ни спуск, ни подъем — не помешает... Скорее бы снова в путь, но для этого теперь недостает одного-единственного — коня!..

Последние снопы укладывал Алибек, конь был, стоял позади саней, перебирал губами листья камыша — они тоже утоляют голод, когда ничего другого нет, только надо искать и находить листья посвежее, помоложе, сочнее...

«Где-то около бродит, — успокаивает себя Алибек, — должен вернуться... Не может ведь бросить меня одного здесь, на полпути...»

И ждет. Ждет долго. Потом, решив, что конь, наверное, пошел напиться, Алибек отправляется вниз по течению оледеневшей речушки. В узкой лощине бьет маленький ключ — не замерзает и в самый сильный мороз... Нет и здесь ни коня, ни следов копыт: снег вокруг родника твердый, ровный, нетронутый.

«Обиделся,— решает Алибек,— не смог простить и ушел в село один».

Алибек вздыхает. Эх ты!.. Что же мне теперь делать... Надо догонять тебя, притопнешь без меня домой — переполох устроишь... Бабушка, пожалуй, плакать начнет, почувдится ей самое разное... «Погубили мальчонку,— начнет всхлипывать она,— погас свет моих глаз. Беда случилась, люди! Конь один домой пришел...» Весь народ среди ночи может поднять бабушка, все село может отправить на его поиски. Мать плакать не будет, мать никогда не плачет, мать кусает нижнюю губу и терпит. Чем сильнее надо плакать, тем сильнее прикусит губу и терпит... Когда отец вернулся с войны, слез и тогда не было у матери — была только кровь на губе. Слезы, говорит она, у нее давно кончились, высохли все. Такая была судьба ей написана. И обе сестренки слез не покажут, сядут рядышком, прижавшись друг к другу, и сухие большие глазенки их, такие же синие, как у него самого, будут с любопытством и ожиданием смотреть то на бабушку, то на мать, то на отца... Бабушка и мать тоже будут с ожиданием смотреть на отца, а отец ничего им не скажет. Утешать не станет. Алибек ясно представил и молча сидящего своего отца. Подбородок его лежит на двух кулаках, лоб озабоченно, тревожно нахмурен, а глаза закрыты. Если у отца тревога, он всегда закрывает глаза, и кажется, тогда все хорошо видит. Сейчас неподвижно сидящий отец сквозь плотно сомкнутые веки видит, наверное, только одно — его, Алибека, дорогу... зимнюю, долгую, нелегкую дорогу, которую не сумел до сих пор, до этого позднего ночного часа, одолеть его единственный сын, единственный в их семье, после него самого, мужчина...

Шаг за шагом, версту за верстой мысленно проходит сейчас эту дорогу отец, идет по узкому санному следу, чтобы увидеть, где этот след оборвался, какая беда приключилась, почему застрял в пути его сын... Хорошо спрятал от женщины свое беспокойство отец, но лицо его, такое белое и напряженное, так близко видит его Алибек, что хочется крикнуть, сильно крикнуть, так крикнуть, чтобы слова его сейчас взвились над степью, над снегами и сквозь ночь,

сквозь темноту, долетели до их низенького домика, до родных людей.

— Я здесь, я цел, никакой беды нет, просто конь ушел... Стоит он сейчас, наверное, во дворе Мамет-хана и раскаивается, что ушел... Я не буду стыдить его, я сам виноват, я просто выведу его со двора, ничего Мамет-хану не скажу, если не спросит сам, а если спросит, все объясню, и не станет он меня осуждать, не будет думать, что у Умара бестолковый сын...

Перед Алибеком из ночи всплывает доброе лицо Мамет-хана, красиво заросшее белой, как у Абдуллы, бородой...

Давно уже шел большой снег.

— Как я сразу его не заметил,— удивляется Алибек.— Абдулла обещал — он идет. Хорошо, еще бурана нет...

Не замедляя шага, он вытягивает обе руки ладонями вверх и чувствует, как на них тихо ложатся невидимые в темноте белые пушилки. Темно и тихо. Так тихо, что кажется, можно услышать падение снега.

Почувствовав тишину, Алибек внезапно останавливается. Неладное что-то творится вокруг. Почему до сих пор нет села? Почему ничего впереди не видно и не слышно? Если бы сейчас блеснул в каком-нибудь далеком окне свет, если бы тявкнула лениво собака... Но ни огня, ни звука. Сколько ни приглядывайся, ни прислушивайся — темень и безмолвие и черный снег...

Алибек почти бежит, но снова останавливается, совсем сбитый с толку: под ногами вместо привычного хруста глубокого снега резкий скрип гравия... Откуда в ровной-ровной, гладкой-гладкой степи этот скрипящий и уползающий из-под ног гравий?.. Это может быть только насыпь железной дороги. Алибек, не веря себе, наклоняется, роется в рыхлом снегу, руками ощупывая все вокруг. Так и есть — под ногами железная дорога — мелко дробленный камень, крупный песок, шпалы и рельсы... От железной дороги до дома всего час-полтора хорошей ходьбы. Алибек не понимает, как он мог около двух часов тому назад уйти от нее и снова вернуться к ней.

Может, все это снится, думает он, но снова ощупывает под снегом рельсы и шпалы. Руки ооченели, он их прикладывает ко лбу и стоит, не шелохнувшись, один в бескрайней безначальной степи, на никому уже не нужной, никуда не ведущей железной дороге, под беззвучно летящим снегом...

Он замечает, как в голову против его воли начинают

лезть мысли о злых духах, о шайтанах, уводящих путников с дороги, чтобы их погубить...

Вспоминается ему рассказ бабушки. Дед ее вот такой же темной ночью спускался с горного коша домой, заблудился, мороз крепкий был, — стал замерзать, и вдруг, увидев в стороне огонек, повернул коня к нему. В хорошо протопленном просторном доме, невесть откуда взявшемся здесь, в глуши, сидели его близкие друзья, знакомые, люди из его аула. Они сидели полукругом у очага, а над ярким огнем в большом котле, вкусно дымясь, варилось мясо. Дед бабушки был так голоден и так озяб, что, ни о чем не задумываясь, сердечно приветствовал сидящих и сам, усевшись в их кругу, стал греться и ждать, когда будет готово мясо. Текла мирная дружеская беседа у огня, ни о чем подозрительном, нечистом дед и не помышлял, и лишь когда ему протянули горячую баранью лопатку и дед, макнув добрый вкусный кусок мяса в чесночный соус на айране, поставленный перед ним на серебряном блюде, хотел было отправить его в рот и, как всякий правоверный, приступающий к еде, произнес перед этим одно лишь слово «бисмилля!», как упала повязка с его глаз и он понял, что его потупала нечистая сила.

Дом, показавшийся ему просторным и жилым, был просто большой каменной пещерой, баранья лопатка в его руках оказалась мерзлым комком ослиного помета, а милые друзья его были просто черти. Черные, волосатые, козлоногие черти. Дед успел заметить — все они глядели на него горящими глазами и противные их желтые зубы были оскалены. Они беззвучно хохотали, радовались, что чуть не одурачили доброго мусульманина, но как только было произнесено святое слово «бисмилля!», их рожи помрачнели, глаза потускнели, поднялся вихрь, закружил снег, скалы загрохотали, и черти, скуля, воя и ругаясь нехорошими словами, взвились вместе с вихрем и исчезли в крошечной темноте... Конь деда стоял не под навесом у коновязи, а под открытым беззвездным небом, над бездонной пропастью — сделай шаг, и все пропало, и повод его был привязан не к толстому дубовому колу, а к былинке, качающейся на ветру у самого края пропасти...

Алибек ясно испытывает искушение: произнести сейчас это волшебное слово «бисмилля!» и посмотреть — не исчезнет ли вдруг из-под ног его железная дорога... С трудом удерживает себя Алибек. Он понимает, что просто сбился с пути. Ему казалось, что он идет по прямой дороге, а он просто сошел с нее, взял чуть влево или вправо и, сде-

лав круг, вернулся назад. Теперь надо отыскать дорогу, она начнется с переезда, и идти все время вперед, не теряя ее, и тогда придешь только домой, и никуда больше...

Сказать легко было. Дорога найдена, Алибек снова шагает по ней, но трудно ее не терять: она вся хорошо покрыта снегом и никак ее не отличить от остальной заснеженной степи. Как ни старался Алибек идти прямо, все равно уходит от нее в сторону. Иногда кажется, она сама уходит от него в сторону, не сама уходит, а маленькие, невидимые черти уволокивают ее из-под ног. Иногда к Алибеку приходит желание резко оглянуться назад, но стыд перед самим собой удерживает его. Он хорошо понимает, никаких чертей за его спиной нет. Он это хорошо понимает, но желание оглянуться не исчезает. А иногда оно сменяется другим желанием — не оборачиваясь, внезапно лягнуть, как конь, в темноту сзади. Сделай он это, и тогда, кажется, оледеневшая подошва его большого кирзового сапога непременно ударит в лоб и порядком ошеломит одного из чертей, никак не ожидавших такой шутки. Хорошо было бы, ну а если чертей нет?!

Спокойно старается шагать Алибек как ни в чем не бывало. И даже песенку Абдуллы принимается мурлыкать: «Орай-да-рий-да-ра-рий-ра-ра!»

Пройдя десяток метров, он ощущивает руками дорогу — на ней один слой выпавшего сегодня снега, а если сошел с нее, будет два слоя — сегодняшнего рыхлого и под ним старого, давно выпавшего и заметно твердого. Долго идет Алибек, крепко держит дорогу и все же, сам не зная как, опять ее теряет. Он вновь старается нащупать ее руками, и влево тянется, и вправо, долго идет, но на этот раз, видимо, слишком далеко от нее ушел — не находит. И он замирает на месте...

Валит снег. Темно и тихо. Стоять вот так, одному, посреди безмолвной степи, скверно. Идти, не зная в какую сторону, — тоже скверно: может, дальше уходишь от того места, куда нужно идти?

Алибек стоит долго. Опять ему хочется посмотреть, что творится за спиной. Может, сейчас, встав полукругом, глядят ему в спину горящими глазами и, оскалив рты, беззвучно ржут маленькие и большие черти, те самые черти, которые чуть не накормили когда-то бабушкиного деда ослиным пометом?

Идет Алибек, не поворачивается. Стоят — пусть стоят, ему от их присутствия не тесно, места в степи разве не хватит?! Ему совсем все равно, стоят ли они или не стоят,

интересно одно — скалят ли они сейчас зубы, смеются ли над ним или просто стоят и молчат?! И что они станут делать, если он сейчас повернется к ним лицом?

Надо все же посмотреть, решает Алибек и, сняв почему-то свою косматую шапку, старательно стряхивает с нее снег, комкает ее и, сам не зная почему, перекладывает с правой руки в левую, потом с левой опять в правую и только после этого в мгновение ока поворачивается назад: конечно, их нет, он знал. Сколько ни смотри — их нет. Он даже делает несколько шагов вперед, чтобы лучше убедиться, что их нет, и в это время далеко от себя в темноте смутно видит какое-то пятно. Это, конечно, не черт, но что это? Пятно движется и растет, идет в его сторону, и Алибек уже явственно слышит даже скрип снега.

Всякий зверь может бродить в степи. И волк, и медведь. Но волки обычно рыцуют стаями, не в одиночку. А медведю что сейчас зимой здесь нужно — он зимует, не вылезая из берлоги... «Может, это конь возвращается, — вспыхивает радость в Алибеке, — совесть в нем, может, заговорила...» Нет, к сожалению, это не конь, шаги не те...

Алибек ложится на живот и, прижав ухом к мягкому снегу, слушает; сейчас уже можно не сомневаться: идет не конь, похоже, идет человек... Все яснее, все четче вырисовывается человечья фигура из темноты, и чем она ближе, тем спокойней становится Алибеку. Человек почти рядом. Алибек поднимается навстречу ему, но человек не замечает Алибека и проходит стороной... Проходит совсем близко, в двух-трех шагах, и снова его начинает поглощать темнота, из которой он только что возник...

Человек уходит все дальше, еще минута, и он исчезнет...

— Эй! — резко окликает уходящего Алибек.

Человек останавливается и стоит как вкопанный. Долго стоит, потом идет дальше.

— Эй! — еще раз кричит Алибек.

Человек снова останавливается. Стоит не шелохнувшись. Когда он опять трогается с места, шаги его становятся гораздо длиннее и быстрее. Попросту говоря, человек, кажется, бежит.

Алибек понимает: надо сейчас придумать что-нибудь кроме этого глупого «эй!».

— Эй! — кричит он. — Коня ищу. Не видел?! Коня, говорю...

Человек останавливается и ждет, пока к нему подходит Алибек с вполне подходящим для этого случая обычным у карачаевцев приветствием:

— Да будет тебе удача в твоём пути, алая...

«Пребывай в здравьи»,— должен бы ответить человек, но он молчит, ни звука не издаёт, кажется, даже не дышит.

— Да сопутствует тебе удача, путник,— после длительного молчания повторяет Алибек и слышит в ответ совсем неожиданное:

— Дай прийти в себя, разбойник. О какой удаче пишишь, чуть душу не вынул... Пусть волк твоим конем утробу себе набьёт, никакого коня не видел... Когда ты крикнул, сердце у меня так застучало, что показалось, табун коней скачет... Откуда ты взялся здесь, а? Из земли вылез? С неба вместе с этим снегом свалился?..

Голос у человека сердитый и грозный. Когда человек умолкает, тишина вокруг становится все тише, а потом её, эту мертвую тишину, взрывает внезапный хохот незнакомца, долгий и звучный, в какую-то секунду идущий на убыль, но тотчас же набирающий ту же силу...

Алибек, сам того не замечая, тоже начинает смеяться, сначала чуть-чуть, затем погромче и наконец совсем громко.

Стоят два человека — большой и маленький — в полуночной степи и, вторя друг другу, хохочут как сумасшедшие.

— А ну-ка замолчи! — вдруг обрывает смех незнакомец.— Повторяй за мной слово в слово то, что я скажу. Бисимилля-рахман-аль-рахим!

— Би-си-милля-рах-ман-аль-рах-им!!! — тянет четко и раздельно Алибек.

Снова раздаётся в степи веселый-веселый смех.

— В самом деле, оказывается, ты не дьявол, не джинн, не шайтан — слова Корана в страх и ужас тебя не ввергают, сын человеческий. Надо знакомиться. Ты кто?

— Соломенный Шайтан. Не шучу. Абдулла зовет так, наш сосед. Отец мой Умар, сын Адея. Знаешь, наверное?..

— Как вчера помню, плясал на свадьбе, когда он на твоей матери женился. Недавно, кажется, это было, в ушах еще голос гармоники, игравшей на той свадьбе, не перестал звучать, а ты успел родиться и вырасти. Быстро время летит, мальчик, слишком быстро, до слез быстро. И хорошо пожить ни разу еще не пришлось, а время наше уходит... Но не будем плакаться, мы мужчины. А меня ты не узнаешь? Нечему удивляться — в такую ночь и родители узнать не просто... Я Махмут Одноглазый, может, слышал, если так не слышал, меня еще кличут иногда Махмут Двупалый, иногда Махмут Рябой. На, жми руку, видишь — трех пальцев нет, теперь лицо трогай, вот здесь

когда-то глаз был, а вот этих ямочек когда-то совсем не было — оспа подарила. Хорошо, что темно сейчас, днем увидел бы — вполне за шайтана сойти могу... Соседки мной детей своих пугают... Хотя те, правда, не очень-то пугаются, больше удивляются, когда являюсь перед ними в своем образе... Ну, а ты, мальчик, в самом деле меня испугал, откуда все-таки ты здесь?

Нравится Алибеку этот человек, громадный ростом, на-верное, сильный, с громовым голосом. И такой веселый, говорливый...

Алибек охотно рассказывает ему, откуда взялся, как заблудился, куда ему надо сейчас идти и зачем...

— До села отсюда далеко, сам не дойдешь,— говорит Махмут.— Я с тобой пошел бы, но утро близко, а утром сделать то, что собираюсь сейчас сделать, никак нельзя... Понимаешь? Не понимаешь... Обижаться хочешь? Не надо. Так и быть, растолкую, только не выдай. Соседка есть, еще старее твоего старого соседа. Замерзает она — дров нет. Надо на железную дорогу сейчас. Сейчас снежок падает, должен пока падать, железная дорога близко — пойдем со мной и вместе назад. Понял? Хитрый старик есть — Моргунов, не поленился из-за одной трухлявой шпалы в селенье притащиться, скандал устроить шумный... По следу может прийти, а если снежок валит, какой след... Согласен со мной? Что будем делать?

— Согласен,— говорит Алибек.— С тобой. Сначала на железную дорогу, потом домой.

— Еще лучше было бы так сделать. Стучишься к Моргнунову, ночуешь на Водоеме, а я дело сделаю, потом прямо к Мамет-хану и к утру тут как тут. Явлюсь с конем, и сани твои потянем...

Не соглашается Алибек, надо, говорит, обязательно домой. Но не суждено ему попасть домой в эту ночь. Перед самой железной дорогой, метрах в двадцати до переезда, он по пояс проваливается в воду. В родничок, скрытый тонким льдом, попадает.

Он пытается спорить, но Махмут строг:

— Марш на Водоем. Это приказ офицера. Я старший лейтенант, танкист, а ты пехоты рядовой. Твоя задача — высушиться, особенное внимание портянкам: для пешехода сначала ноги, остальное потом... И выспаться. Конь утром будет...

На Водоеме прежняя глухая тишина, и стук в оконные ставни получается неожиданно громким. В доме вспыхивает

свет, и женский голос, без любопытства совсем, а просто для порядка задает вопрос:

— Кто там?

Алибек отвечает, что он Алибек. Голос женщины мягкий, добрый.

— Сейчас, сейчас,— спешит она.

— Кто там? — это уже спрашивает мужской голос. Скрипучий, тяжелый, угрюмый голос. Это Моргунов, догадывается Алибек.

— Не знаю кто, малец какой-то,— отвечает женщина.

«Это, наверное, дочь Моргунова, Варя»,— думает Алибек.

— Так открой, сами глянем — кто,— велит скрипучим голосом Моргунов, хотя Варя и так уже звенит щеколдой...

Входит в теплую комнату Алибек и молча стоит, щурясь под светом яркой керосиновой лампы.

— Батя, глянь-ко,— всплескивает руками Варя, не отрывая глаз от него.— Батя, глянь-ко...

— Гляжу,— сообщает Моргунов спокойно, но и в его скрипучем голосе чувствуется удивление.

— Малютка! Снежный человек! Дед Морозик! — приговаривает Варя, принимаясь его раздевать.— На шапке снег, на шубе снег, на бровках снег... Боже мой, батя, он мокрый, вода в сапогах, и штаны — хоть выжимай...

Алибек не успевает опомниться, как Варя, ни на секунду не умолкая, снимает и стаскивает с него почти все. И только когда очередь доходит до штанов, Алибек начинает наконец сопротивляться...

— Мокрый весь, мокрый же,— убеждает Варя, пытаясь их стянуть.— Выбрал час выкупаться... Убери же руки, дай добро сделать...

Не убирает рук Алибек, крепко сцепились его пальцы на штанах, но Варя не отступает. На помощь Алибеку приходит все время молчавший Моргунов.

— Не смущай парня,— скрипит он.— Туши лампу.

— Кормить его надо. Горе мое! — опять всплескивает руками Варя.— Окоченел человек, губы синие, холодный, голодный. Скорей под одеяло, покормлю в постели... Петушком накормлю, жирным, горячим... Тольконими штаны скорей, дружок... Я отвернусь...

Алибек в теплой постели, перед ним в глубокой миске чудное угощение — жареное мясо.

Рассказывает он Моргунову, что с ним приключилось, где его сани сейчас стоят, где от него конь ушел, как он в степи заблудился, а сам думает: «Давно я такое кушанье

не пробовал, само во рту тает. Зарезали все-таки петуха, красивый был какой. Случись здесь быть Абдулле, он бы сказал сейчас: рыжий рыжего ест...»

— А чей же ты такой рыжий? — спрашивает его Моргунов.

— Умара я сын, сына Адея...

— Где же он сейчас, отец твой, сын Адея?

— Дома! Ждет меня сейчас, наверное, не спит...

— Дать бы по шее ему хорошенько, — вдруг сердится Моргунов. — Мальца в степь послал, сам дома ждет...

Алибек перестает жевать.

— Нцэ! — качает он головой, как-то страшно глядя на Моргунова.

— Что «нцэ?» — спрашивает Моргунов.

— Нельзя давать моему отцу по шее... — тихо говорит Алибек. — В степь он не может. Все время дома, как с фронта вернулся. Ног нет у него...

— Как нет?! — изумляется Моргунов.

— Вот так! — вытягивает под одеялом ноги Алибек и проводит по ним рукой чуть выше колен, и вдруг начинает плакать. Он не ревет, как маленький ребенок, не голосит, как старая женщина, он просто плачет — прикусил, как мать, нижнюю губу, и из глаз его капают слезы... Он не хочет слез, но они сами льются, их вытягивает изнутри что-то непонятное, сильное, неподвластное ему. Может быть, это белая холодная громадная степь, которую он не смог победить в эту ночь. может, это обида на коня, предавшего его, может, это страх и тяжесть дороги, спрятавшейся от него под снегами, а может, это угрюмое бледное лицо отца, который сидит сейчас в их низеньком домике, закрыв глаза, плотно сомкнув губы, положив подбородок на руки, сжатые в кулаки...

Варя тушит лампу, целует его в щеки, в глаза, в губы, прижимает крепко к теплу своей груди, гладит белую голову, все говорит «не надо, милый, не надо плакать», а сама плачет.

Алибек долго слышит скрипучий и с каждой секундой добреющий голос Моргунова, который говорит, что война заставила людей многое потерять — отец его ноги потерял, чей-то отец руки потерял, многие жизнь потеряли, Варя, дочь его, жениха потеряла, но скоро война кончится, нет войны, которая не кончается, победа будет, и люди снова хорошо жить начнут. Спи, говорит Моргунов, спи, пусть сны хорошие тебе приснятся, пусть и сны твои и явь хорошие будут...

Под этот голос засыпает Алибек, спит крепко и хорошо. Под этот же голос он и просыпается...

— Глянь в окно, малец! — говорит Моргунов. — Пошел санки посмотреть твои, коня твоего там увидел. Привязан был, кто-то привел, должно быть, — следы видел. Впряг я коня и привел сюда... Поезжай, счастливо, отцу своему привет передай и передай еще, что я, старый Моргунов, тебя, рыжего, очень нахваливал и настоящим мужчиной назвал...

Смотрит Алибек в окно, стоят его сани с камышом, стоит конь, готовый в путь. Из-за самого края степи начинает всходить необычно светлое солнце, и во всей степи, сверкая солнцем, лежат небывалой белизны снега.

Алибек чувствует, как руки и ноги его наливаются силой, в душе поднимается волна благодарности этому утру, а в голосе уверенно бьется мысль, что под этим солнцем, на этой земле — все должно быть в конце концов хорошо.

Бабушке моей завидовали когда-то только потому, что она родила восьмерых детей и ни один из них не умер от голода. Иногда бабушка рассказывает о прежнем житье-бытье, не кричит, не плачет, но не скрывает: мудрость змеи и выносливость лошади нужны были ей, чтобы как-то окрылить-оперить свой немалый выводок. В морях северного полушария, слышал я, водится диковинная рыба, которая мечет икру, а сама умирает, чтобы кормить собой своих мальков. Об этом чуде вспоминаю я, глядя порой на бабушку.

Некогда очень дородная, она теперь похожа на копченое ребро. Платье, в котором ввели ее в дом моего деда и которое до сих пор хранится в сундуке, было, говорят, для нее тогда тесноватым, а сейчас его можно надеть на трех таких бабушек сразу.

Воспитала детей бабушка, по словам многих, на славу. Дочь красавица и семеро здоровых и сильных сыновей — как в сказке.

Окажись у бабушки сыновей поменьше, дочерей побольше, ее, конечно, не назвали бы самой счастливой матерью в ауле. «Да будет у врага моего дюжина дочерей», — просили раньше горцы в молитвах, и это было самое страшное пожелание человеку, сделавшему тебе зло. Ведь женщина не станет за сохой, не вскочит, когда нужно, на лихого коня, не выглянет за дверь на ночной стук, не сверкнет клинком над головой насильника, посягнувшего на ее честь. Только тесто может она месить.

Другое дело — мужчина. Пусть навалится любая беда, он подопрет плечом и удержит готовый упасть под ее тяжестью потолок.

Главной опорой в доме у бабушки был мой дед, он и рухнул первым. Далеко от дома простился он с жизнью, умер в седле с бандитской пулей в боку. А после, на радость недругам нашей семьи, ушли за ним сыновья бабушки. Могилы их безвестны и далеки от нас — ни один не

лежит в Черном ущелье, на нашем аульском кладбище. Старший навсегда остался в снежных заносах Клухорского перевала, сорвавшись со скалы во время охоты. Остальные встретили смерть в Отечественную войну. Теперь, когда мы собираемся на семейные советы, бабушка особенно остро ощущает пустоту в доме.

Всех сыновей она женила, но только две невестки успели подарить ей внуков. Одна из них — моя мать, другая — мать моего двоюродного брата Мазана.

Вся любовь, все тепло, что не успела отдать бабушка детям, достались Мазану и мне. Но и то, что должны были совершить ее сыновья для прославления нашего рода, бабушка ждет теперь от нас, своих внуков. Ни днем, ни ночью ни разу не сделали мы без ее ведома ни одного шага. И ни один шаг наш не остался без ее осуждения или одобрения. Со всеми прямая и строгая, бабушка с нами добра, но так же строга. Средних оценок у нее нет... «Это очень хорошо» или «это очень плохо», скажет она о любом незначительном поступке, и эти слова звучат у нее, как приговор высшего суда. Только в особых случаях для вынесения этого приговора бабушка собирает семейные советы. На них, правда, никто не советуется, но так их принято называть. Бабушка чинно занимает место у тера¹, перед ней, между двумя невестками, садится увядшая в девушках ее красавица дочь, которая так и не дождалась светлого года для свадьбы в сплошной очереди траурных лет, плечи которой не обнажались под черными шальями для единственной белой. По обе стороны от бабушки застываем мы с Мазаном, и она в мертвой тишине коротко высказывается по тому случаю, из-за которого собрала нас...

Самым впечатляющим был последний наш совет в прошлое воскресенье. Бабушка, как обычно расположившаяся у тера, долго и торжественно молчала. О чем она заговорит через секунду, никто из нас не знал, но что бы она ни сказала, это должно было стать для нас непреложным законом, истиной, святым повелением, потому что она у тера и говорит от имени всех мужчин нашего рода, которые сидели до нее на этом освященном веками месте. Мы глядели в бабушкино лицо, пытаясь что-то прочесть в нем, но оно было бесстрастно, как вековая скала. Так бывало до тех пор, пока бабушка не выльет все, что у нее на душе, будь то похвала кому-нибудь или строгое внушение. Ни мы с Мазаном, ни наши матери, ни наша рано состарившаяся

¹ Тер — почетное место в доме, дальний от двери угол.

тетя — никто не был уверен в том, что не о нем пойдет сейчас речь.

Я облегченно расслабился, когда бабушка повернулась к Мазану.

— Сын моего сына! — сказала она протяжно. — Слышала я, точно так, как ты слышишь сейчас своими ушами, что шайтан обратил твой взгляд и душу на русскую девушку. Глазами можно на всех смотреть, но сердцем смотреть на женщину мужчине нельзя, если он не собирается ввести ее в дом. А если ты собираешься сделать ее нашей снохой, то подумай, смогу ли я качать на коленях твоего сына, рожденного женщиной другой веры?!

Маком вспыхнул Мазан, но промолчал. Бабушка же, не торопясь, расстегнула все крючки на платье от подбородка к поясу, обнажила давно иссохшую грудь, затем, также не торопясь, застегнула, сняла с белой, как снег, головы шаль:

— Молоком из этой груди, вошедшей в тебя с кровью моего сына, прошу: не позорь вот эти седины... Аллах да вразумит заблудших... Пойми меня хорошо.

«Что же здесь понимать, — подумал я с горечью, — сказала, будто гвоздь забила. А ведь другие семьи в ауле не так, как мы, живут, иначе рассуждают...»

* * *

Полюбить большую жизнь, не выезжая из маленького аула, иной раз кажется невозможным. Слишком уж тихо здесь и однообразно. Аул наш лежит в ясной, как ладошка, долине, где все давным-давно изведано. Вокруг аула лес и горы, горы и лес. Я удивляюсь, когда нашими краями восторгаются приезжие туристы или больные, что добирались сюда за тридцать земель, чтобы подышать чудесным, как они утверждают, воздухом. На мой взгляд, вокруг нас ничего интересного нет.

Может, надо очутиться где-нибудь далеко-далеко, чтобы понять и оценить красоту своей земли?

Директор нашей вечерней школы, бывалый партизан, рассказывал, как плакал молодой туркмен в лесах Белоруссии: негде, мол, по-человечески отдохнуть, полежать — нет песка. Может, этот туркмен так дорого ценил прелесть своих песков потому, что долго носила его судьба по чужбине? Что касается меня, то я бы не прочь оказаться вдруг в Белоруссии или, скажем, в Туркмении.

После восьмилетки я намерился было поступить в техникум в каком-нибудь городе... Школьный сторож Мунир, лучший друг покойного отца, второй после бабушки человек, искренне желавший увидеть меня счастливым, одобрил мое решение.

— Оллахий¹, езжай... Окунись в большой мир,— сказал он.— Мясо, что сварилось в маленьком котле, может оказаться сырым. Слава создателю, ты мужчина, а у мужчин дорог много... Не подобает ему, как старой женщине, засиживаться у очага. На нас не смотри: теперь в нашей жизни вечер, а вечером в дорогу не выйдешь. С утра надо — езжай, не оглядывайся...

Но бабушка не согласилась на мой отъезд, заявив, что, мол, и в маленьком ауле можно стать большим человеком: ведь и в капле дождя и в бездонном море небо отражается одинаково. «Что аул, что город — все равно, лишь бы человеком стать», — сказала бабушка, хотя ни разу в жизни не видела города. Да и, кроме того, по мнению бабушки, люди должны умирать там, где родились, а так как смерть может явиться в любой час, то лучше всего быть дома. Если и есть необходимость удалиться от него, то лишь настолько, чтоб хоть дым из трубы был виден. Уж ей-то, бабушке, жизнь надавала достаточно горьких уроков, чтоб убедиться в этом крепко-накрепко.

— Люди в городах живут бегом,— вспомнила при этом чьи-то слова бабушка.

У нас в ауле жизнь ползет, точно арба в ленивой коровьей упряжке... Летом — жаркое солнце, зимой — бураны и метели. То пыль на дороге, то слякоть, но дорога эта неизменно скучна, и воды неизменны в своем мерном, ленивом шаге. И под гору идет арба и в гору, петляет на крутых и некрутых поворотах, но ни разу не ускорит хода, не нарушит заведенного ритма, не выбьется с наезженной веками колеи. И чем дальше едешь, тем назойливей ощущение, что колеса вертятся, вертятся, а арба стоит на месте.

В последний год из моих восемнадцати я вдруг почувствовал себя человеком, любящим жизнь. Весь этот год в ауле жила непохожая на других девушка — Ирма...

Увидел я ее утром, когда она шла за водой. Тропа, по которой можно спуститься к реке, бежит мимо нашего дома, и поэтому в любую минуту между восходом и заходом солнца из наших окон можно увидеть женщин с ведрами.

¹ О л л а х и й — восклицание.

Непонятно, как не иссякла еще Кубань,— тащат из нее и тащат они воду сплошной вереницей. Я уже знаю всех женщин в ауле.

Потому, наверное, когда она, выпрямив под дугой коромысла плечи, прошла впервые мимо моих окон, я, глядя ей в спину, сразу отметил, что она не наша — приезжая. Но, что всего интересней, не видя ее лица, решил, что она непременно красива и глаза у нее синие.

В лучшей своей рубашке ждал я ее, когда она с полными ведрами поднималась от реки...

Я ей сказал «доброе утро» и, сам себе удивляюсь, спросил, не видела ли она на берегу ослика с белым пятном на лбу? В ответ можно было только улыбнуться, и она улыбнулась и, не меняя шага, прошла мимо меня, покорная тяжелому ритму покачивающихся на плече ведер.

Зная, что не на что злиться, и все-таки почему-то злясь, я снова смотрел ей в спину, пока она, так и не оглянувшись, не скрылась за глыбами скал наверху.

— Внимание — последние известия,— говорил вечером Мазан,— у нас новая медсестра. Зовут Ирмой. Волосы золотые, глаза синие. Живет с братом или дядей у старой Фатимы. Брат — урод. Огромные очки, огромная голова с огромной копной волос. А сестра — изюм.

С тетрадь-трубочкой в руке шла она в первый день занятий в вечерней школе по коридору, шла, обходя встречных, вглядываясь в номера классов, и наконец, жмуря под светом синие глаза, остановилась в двух шагах от меня, перед дверью десятого «Б».

«С нами будет учиться!» — подумал я, радуясь.

— Какая девочка! — говорил Мазан, подмигивая мне. — Великолепная девочка, оллахий!

Может быть, потому, что говорил он об очевидном для каждого, может быть, потому, что она ответила ему хорошей улыбкой, я выразил довольно громко, с видом знатока, другое мнение — мол, девочка как и все.

Вряд ли понравятся ей мои слова, вряд ли будет теперь она улыбаться, решил я с необъяснимым злорадством.

Но она посмотрела на меня и улыбнулась, точь-в-точь как в первую встречу, когда я спросил про нашего ослика.

В классе она села рядом со мной, за последней партой, хотя впереди были еще свободные. Мазан, сидя на соседней с толстым Норием, в нашу сторону смотрел очень часто, и я хорошо знал, кого из нас двоих хотят обворожить эти жгучие взгляды. Вечером, после занятий, мой брат

удивил меня окончательно: не подозревая о том, что я его слушаю, он густым басом декламировал стихи неизвестного мне поэта, которым, впрочем, мог оказаться и сам:

Хорошо расскажет дуб измятый,
Как в ночи ударила гроза...
Я люблю, но губы мои сжаты —
О любви кричат мои глаза.

А на следующий день Мазан оттащил меня в угол школьного коридора.

— Ты мне брат?!— спросил он.

— Брат!

— Можешь пойти на жертву?!

— Конечно. Хочешь сесть на мою парту?

— Как догадался? Волшебник, что ли?

— О любви кричат твои глаза!— продекламировал я и, зайдя в класс, занял место рядом с толстым Норием, а Мазан сел к пей.

* * *

Встретил я ее летом... Лето ушло, ушла и осень. Вслед им отлетела седая зима, отзвенели морозы. В аул уже хлынула ранняя весна, а я все чего-то жду, все чего-то хочу... А ничего не меняется, ничего не случается. Мазан ее лучший друг, ее рыцарь, а я только брат Мазана.

Долгими, похожими друг на друга своей скукой вечерами я думаю что-то сделать, что-то ей сказать, что-то ему объяснить, чтобы изменить такое положение. Но наступает утро, и я почему-то стесняюсь этих своих мыслей.

Убеждение смутное, но заставляет замыкаться в своей оболочке, играть роль равнодушного... Эта роль тем хороша, что ее никто, кроме меня, не играет... У всех наших ребят «о любви кричат глаза».

А Мазан провожает ее даже в те вечера, когда она могла бы добраться домой со своим большеголовым дядей, два раза в неделю дающим у нас географию. Мазан в эти дни, словно ослик, тащит и ее книги, и его книги, и свои...

Раньше он делился со мной мельчайшими подробностями своих походов... Теперь помалкивает. Или из-за большой любви к ней, или из-за жалости ко мне...

Однажды приходит к бабушке мать Нория, ее сверстница, совершенно круглая, подвижная старушонка.

— Мир, сестра, дому твоему.

— И входящему мир. Садись здесь, душа моя.

Разговор идет о здоровье, о семенах, о бренности жизни земной, о близости к небу — королевству истинной жизни. Бабушка настроена благодушно.

— А с невестушкой поздравляю!— внезапно меняет тему разговора родительница Нория и ласково продолжает: — Отличная невестка. Под стать солнышку Мазану. И не болела голова, а пошла к ней, полечи, говорю, а сама рассматриваю ее. Хороша, аллах свидетель. В доме у тебя свой дохтур будет...

Натуральным ядом не причинить бабушке столько боли, сколько причиняют эти масляные слова. Захлебываясь в шепоте, она осыпает гостью вопросами: правда ли это? Давно ли? Знают ли в ауле? Просто так это или что-нибудь серьезное?

— Не знаю, не знаю...— сокрушенно вздыхает гостья.— Все в воле аллаха. Вижу, ранила я тебя, прости... Конечно, золотая она, быть может, с пяток до макушки, да кровь в ней не наша. Тебе, любимице аллаха, истинной мусульманке,— она не сноха. Не поверила бы, что умница Мазан может так тебя обидеть, да слышала сама своими ушами...

Старушка рассказала, как ее «непутевый» Норий случайно записал на магнитофон («хитрую гворящую коробку») разговор Мазана с «фельдшеридей» на вечере в школе... Она не все поняла, но перевел Норий...

Позже эту запись прослушал и сторож Мунир. «А ты, Норий, оказывается, подлец»,— изумился старик и закатил ему памятную оплеуху.

Гостья ушла, видимо довольная тем, что смогла уязвить слишком гордую бабушку. А бабушка — образец вежливости, была так ошеломлена... что забыла выйти проводить приятельницу до калитки. Внук запел не дедовские песни... И за что ей такое наказание! Всю жизнь исправно служит она аллаху, а он все шлет и шлет новые беды... Ни разу нога ее не ступила в дом, где в углу под свадебной шалью стояла невестка чужой веры, а теперь и к ней в дом направилась чума... Да, неправильную песню запел сын ее сына. Но хорошо, что вовремя узнала. И на том спасибо всевышнему. Она вытравит из сердца своего внука то, что насадил туда злой дух. Она скажет Мазану, крепко скажет, ветер не унесет ее слов мимо уха его. Да, не унесет!

Бабушка действительно сказала. После нашего семейного совета Мазан больше не провожал Ирму... Как долго он мучился бы, неизвестно, но в конце апреля ему вручили повестку из военкомата.

Полдня я бродил по грязным улицам райцентра, оставив их в парке. Завтра Мазан уезжает, они прощаются здесь, в ауле нельзя... Но уже поздно. Мы все должны успеть на последний автобус.

Я тихо бреду вдоль деревьев к ним... Они стоят у большого дуба и о чем-то говорят и смотрят друг на друга... Я уже совсем близко, но они не видят меня. Вдруг Ирмины руки, как крылья, взлетают вверх и смыкаются на его шее...

Довольно рано узнаем все мы, что у нас есть сердце, но чувствуем его каждый в свое время, только тогда, когда оно вот так непривычно забьется в груди.

По пустынным, затопленным недавним дождем улицам я ухожу от них один и никак не могу заглушить в себе острую обиду. Я лезу в лужи, ноги давно мокрые, холод ползет по всему телу — немного остываю. Чего я налился злобой, как бурдюк шипучим вином?! Не обещали же мне они не целоваться. И ведь не для того целуются, чтобы причинить мне зло... В конце концов, они даже не заметили меня, чтобы постесняться меня или пожалеть...

Эти доводы разумные, их много, и все они на одной чаше весов, но все-таки перетягивает другая, на которой одно-единственное — моя боль.

Может быть, поэтому я не восстаю, не пытаюсь защитить и, кажется, даже рад, когда, вернувшись в аул, вижу возле амбулатории разъяренного мужчину, который кроет новую медсестру и всех ее предков по той причине, что медсестра куда-то делась, без нее «скорую помощь» из района вызвать нельзя, а его жена собралась вот-вот рожать...

Я смотрю, как маленькая круглая женщина бережно несет на руках свой большой живот, как ее укладывают на неуклюжую бречку, застланную сеном...

«Скверно, очень скверно,— думаю я,— человек страдает, а она целуется...»

Вечером Мазан возвращается, я прошу его в последний раз побоксировать со мной... Дома у нас две пары перчаток — занимаемся боксом давно. Прошу так настойчиво, что он соглашается, и я бью его. Раньше бил только в дальнем бою, теперь бью и в ближнем, вся моя злость сейчас в перчатках.

Мазан молча защищается, губа его в крови. Он устает, поднимает руки, но я не останавливаюсь и нокаутирую его.

Милый, единственный брат, жизни не жалко для тебя, все могу простить тебе, но не парк, но не дуб, но не Ирму...

Утром он уезжает. Вырываясь из объятий целой дюжины старух, он стискивает, прижимает меня к себе.

— Зря вчера колотил,— слышу я,— она любит не меня. Любит другого, и его колотить вряд ли тебе захочется...

Он взбирается в кузов гудящего «газика» и сверху трогает мое плечо и улыбается рассеченной губой, а за улыбкой грусть.

Больше месяца он надоедал в военкомате, сам просился на службу, и вот едет, даже не закончив школы,— так ков Мазан. Мягкий, покладистый, получивший нокауты от тех, кого любил,— от бабушки, от Ирмы и от меня...

* * *

Комитет комсомола собирается у нас, как многие считают, в самых особых случаях. Через неделю после отъезда Мазана он тоже собрался по особому случаю.

— Будем обсуждать поведение комсомолки, ученицы десятого класса — Ирмы Винницкой...— сказал секретарь Умаров.— В пятницу прошлой недели ее не оказалось на рабочем месте, в результате чего чуть не произошла трагедия. По ее вине рождение нового гражданина нашей страны случилось не на удобной койке районной больницы, как это у нас положено, а в дороге к той больнице, на несчастной бричке. Заметьте — на бричке, когда ракеты бороздят космос, а на земле тесно от автомашин. Где же, спросим себя, была в это время комсомолка Винницкая, которой, как медицинскому работнику, доверено самое дорогое — жизнь и здоровье наших тружеников? Она весь день этот провела с бывшим учеником нашей школы — Мазаном Османовым. Уже этот факт, сам по себе, безотносительно к долгу, к работе, заслуживает нашего строгого осуждения: с таких вот длительных прогулок по паркам и садам и начинается моральная неустойчивость человека...

Предложили выступить десятикласснице Кате, девушке с пронзительным взглядом, которая сначала сдержанно, потом все резче и наконец совсем резко высказала мысль, что разбираемое дело — некрасивое, а наши дела и мы сами должны быть красивыми, а для этого недостаточно одних только хороших волос, синих глаз — нужна и внут-

решения красота, то есть все в нас должно быть прекрасным, как требовал того классик Антон Павлович Чехов.

После нее все долго молчали. Пришлось встать Умарову: что за равнодушие? Что за молчание? Вот тебе, например, нечего сказать об этом чрезвычайном происшествии?

Густой бас из угла мрачно заявил, что аллах вместе с языком дал право молчать и он — обладатель баса, — с позволения сидящих, воспользуется этим правом.

Сосед баса, щуплый паренек, недавно введенный в состав комитета, приподнялся, когда на нем остановился требовательный взгляд секретаря, и так, в неудобной позе — не сидя и не стоя, — он грубо отрезал:

— И чрезвычайные происшествия и нечрезвычайные скоро забываются, если их оставить в покое. Зачем делать из мухи слона?

Потом встал Норий и начал с того, что зычно спросил, может ли уважать себя девушка, не только днем, но и вечером гуляющая с молодым человеком? Причем с таким шустрым донижуаном, как Мазан Османов? Если подумать хорошенько, не мещанка ли она? Да, мещанка, если подумать. Прав секретарь — отсюда все и начинается, и Катя права — очень много надо, чтобы быть человеку красивым. Короче, любая девушка-комсомолка должна быть безупречно чистой, если подумать. А еще короче, Винницкая в данное время — пятно на нашей организации. И оправдывать ее сейчас — преступление, если подумать...

Внезапно открылась дверь, и на пороге возник взволнованный сторож Мунир. И в ту же минуту Ирма устремилась к двери.

Не выдержала? Конечно. Должен же быть предел. А сначала сидела с независимым видом: говорите, мол, о моем внутреннем убожестве, а я все-таки красивая, кричите, что я мещанка, а я все-таки красивая, хоть тресните, а я все равно красивая — и чиста и безупречна.

Секретарь растерялся.

— Баград Османов, — попросил он почему-то меня. — Верни, пожалуйста, Винницкую.

— Сечь вас надо, судей шайтановых, — услышал я, уходя, голос Мунира, — за дверью стоял, все понял... Она лучше вас всех, разразись гнев аллаха! Чистое местечко на рябом лице всегда пятном кажется. Бессовестные вы и безжалостные! Глупцы, если подумать...

Последние слова Мунир выкрикивает, наверное повернувшись к Норию.

Ирма идет рядом и спокойно, будто только что не плакала, говорит, мол, не сердитесь — они правы, работа есть работа.

Обходя лужи, льнем к забору, наши локти касаются.

— Зачем же ездила?

— Он так просил... Я бы потом очень жалела...

«Целовались тоже из жалости?» — хотелось мне спросить, но шагаю молча.

Она словно слышит это.

— Брат твой такой славный... Только в тот день раз я его поцеловала.

— Потому что пожалела! — уже вслух говорю я, почти кричу.

Она вздрагивает и останавливается.

— Потому что на тебя похож, — отвечает она, тоже почти кричит. И уходит от меня. Почти убегает.

Подступают экзамены. Ирма хочет получить медаль и как-нибудь вытянуть меня хоть на «тройки».

Третий день грызем алгебру... Готовимся вместе.

В сакле старой Фатимы три комнаты — три разных мира. Дядя Ирмы живет в древнем мире: стол, стулья, подоконники загромождены черепками, статуэтками, осколками каких-то кубков, глиняных сосудов и всем, что еще можно найти, если вечно рыться в земле. Он пишет что-то по археологии. Даже на чай не выходит из своей комнаты.

Целый месяц возится он на нашем аульском кладбище. Ночами, чтобы не разгневить стариков. Ходили слухи, что ищет золото, но нашел он только плоский могильный камень с причудливыми узорами-письменами. «Мы родились, чтоб умереть» — написано на нем какими-то древними кочевыми племенами. Так, со слов дяди, уверяет Ирма.

У самой Фатимы, хозяйки, — эпоха средневековья. Ветхий Коран, миска, из которой ели ее прапрадеды, бронзовый кумган, чуть не пять столетий булькающий водой перед каждым намазом, большой, на две стены, ковер.

У Ирмы — цивилизация: радио, шприцы, граммпластины...

Занимаемся здесь. Когда дождь или холод...

В хорошие дни спускаемся к реке.

Я лежу на спине, слушаю Ирму, но уже не понимаю, что толкует она о квадратных уравнениях. Солнце висит над мельницей... Единственное облачко на небе тихо подползает к нему... На берегу гуси щиплют траву.

Солнце уже над нами, голова гудит от уравнений, глазам больно от света...

Я беру у Ирмы алгебру, забрасываю далеко в бурьян, и мы обедаем. Бутерброды тают на солнце и текут...

— Не хочу! Увидят — снова комитет, — отшучивается Ирма, когда предлагаю выкупаться. Но на берегу ни души, и мы идем к воде. Ирма впереди. Плечи ее белые, шея и ноги белые, и вся она — как белая диковинная птица.

Я иду, наступая на ее маленькие следы, и за нами на песке остается один большой след...

Песок жгуч.

На одном боку долго лежать невозможно, мы ворочаемся, как шашлыки на жаровне. В двух бутылках из-под выпитого нами лимонада тащу воду. Льем на руки, обтираемся прохладными ладонями...

У мельницы слышатся голоса: на зеленом лугу чему-то смеются спустившиеся полоскать белье женщины. Вокруг них, разгоняя разомлевших от тепла гусей, бегают дети.

Крутолобый малыш останавливается перед нами и таращит глаза... Одна из женщин идет к нему. Увидев нас, так же, как сын, таращит глаза: люди без привычной одежды на полдневном берегу в ауле — редкость, как солнечное затмение или комета.

— Совсем бы еще разделись, ребенка даже не стесняются, — доходит до нас обиженное шипение.

Солнце слабеет, идет вниз, мы лежим, и в бурьяне лежит алгебра. Женщины уходят, за ними уходит и солнце.

Становится прохладно, хотя песок еще горяч. В вечернем воздухе гудят комары.

Ирма зябко ежится и смотрит на поздний закат.

Я смотрю на нее.

— Скоро двадцатое, — протяжно льется ни с того ни с сего Ирмин голос.

— Что?

— Твой день рождения. Что тебе подарить? Придумай! «Она вся сгорела, — думаю я, — слишком много солнца сразу».

Теперь она не белая птица — розовая. А прожилки на шее еще ярче, еще голубее; как глаза, как вода у того берега.

Река мелодично плещет, фиолетово пламенеет закат... Дальние синие горы, красная мельничная крыша, греющий нас песок, то коричневый, то желтый, — все цвета мира сейчас вдруг растворяются в голубом и розовом. И эти две радужные струи, тихо звеня, сливаются где-то вдали друг с другом, постепенно теряют границы, только начало их здесь, где мы лежим...

Сколько серых недель, сколько дней без цвета и звука в жизни каждого?

Столько, наверное, сколько не было рядом с ним такой бело-розовой птицы... Странно, я мог ее встретить раньше, мог встретить позже и вообще мог не встретить. От кого, от чего это зависит? Кого благодарить за то, что она рядом? И кого винить, если она улетит?

Что мне подарить? Чего могу еще желать?

Счастья — и все! Разве мало?

Я стискиваю ее. И не могу, и не хочу остановить себя.

Вся она — шея, грудь, плечи — в золотом песке, как форель в чешуе, и, целуя ее, слышу хруст песка на зубах...

Ирма цепенеет от неожиданности, потом из дальнего далека говорит. Говорит очень тихо:

— Одумайся, этого ждут годами... а ты... Возьми себя в руки, — добавляет она вдруг громче и становится сразу упругой, жесткой...

Если бы она волновалась, если бы испугалась, если бы заплакала, что ли, от обиды, я не ушел бы.

Слишком сильная женщина — это так же плохо, как слишком слабый мужчина.

* * *

— Молодой человек должен быть всегда гладко выбрит и слегка пьян, — говорит Мунир и таранит своим стаканом мой. — Ну, а нам, старикам, можно и небритым пить, — уверяет он перед следующим стаканом.

Закусываем сыром, тонкими прозрачными ломтиками. У Мунира это выходит красиво. Пьет он как попало, а ест, будто священнодействует. Такое почтение в его взгляде к хлебу и сыру, так бережно подносит он ко рту самую маленькую крошку!

Быть гладко выбритым я не могу: борода у меня еще не растет. А быть пьяным, тем более если у меня день рождения,— пожалуйста... И не слегка, а основательно. Для этого я и пришел в келью Мунира. Он стар, у него почтенная седина, мне и на бутылку смотреть при нем не положено, не то чтобы напиваться, но я прихожу к нему, как к равному, и пью — сам заставил. Сегодня родился я — единственный сын его единственного друга.

Пируем, не торопясь, деловито,— оба окошка в будке Мунира плотно занавешены.

— Так ты не ответил, почему я много пью,— в упор напоминает Мунир.

— Чтоб промокнуть... Сам говорил — мокрым грешникам в аду легче.

— Не шути,— грозит он шершавым пальцем.— Когда пью, я думаю только о том, какие задачи стоят перед людьми, чтобы они стали людьми...

— Если так, ты всегда думаешь только об этом,— хочу я пошутить, но молчу.

Мунир действительно закладывает часто и крепко. Конченным человеком зовут его в ауле и, увидев трезвым, удивляются, наверно, больше, нежели когда он пьян.

А бабушка моя зовет его грешником — хуже этого слова на свете она ничего не знает... Но любит Мунира, как сына, и это для него большая честь: на любовь скупее бабушки, пожалуй, редко кого найдешь. Непонятно, чем Мунир подкупает ее — дружит с зельем, в мечеть не ходит, не соблюдает, как требуется от всякого правоверного, ни уразы¹, ни курмана². И все-таки в бабушкином сердце для Мунира есть особый уголок. Из-за этого я Мунира люблю, кажется, еще больше.

И еще одно вызывает мое к нему уважение: он много читает, чего сам я не могу, как ни заставляю себя. Если книга толстая и плохая, Мунир отрывает каждый прочитанный лист, чтобы, как сам объясняет, потом не искать, откуда продолжать дальше. Но если книга хорошая, он читает ее с благоговением, будто Коран. Надо отдать должное — Мунир отлично знает все книги школьной программы.

Обо всех героях и событиях Мунир судит очень своеобразно.

¹ У р а з а — пост (*мусульм.*).

² К у р м а н — праздник, жертвоприношение по какому-либо поводу.

— Онегин мужчина, что ли? Нет. А почему? Потому что тряпка. Она любит — он не любит, она становится чужой женой — любит... «Хочу обнять у вас колени» — и хоп коленями на пол. А где сила? Где гордость? Нету. Раб... Она хорошо ругает, мол, — «как с вашим сердцем и умом быть рабом?» «мелкого чувства», — говорит. Нет, не мужчина, так и пиши в своем сочинении. Спорить начнет Биболат — пришли ко мне.

Биболат улу — наш директор, Унух Биболатович, — ведет литературу.

Сурово судит Мунир не только о книжных героях. Никого не щадит. А тех, кто мил ему, и вовсе... Где-то между третьим и четвертым тостом он и меня назвал тряпкой.

— Любишь, говоришь, ее? А бабушку обидеть боишься? Нория боишься, что скажет всем? Хорошо яблочко за забором, да можно штаны порвать? Нет, трус никого не любит... Себя только любит, свой покой, свой сладкий сон... Как этот хлеб, нужна, говоришь? Желудок любишь, а не хлеб, потому и кушаешь. Не смотри на яблоки, иди ломай забор, потом починишь. Ее любишь — плюй на всех, потом вытрешь...

То, что Мунир скажет, и в пьяную голову напролом лезет. Голова болит... Зачем плевать? Зачем ломать какой-то забор? Зачем я ему все рассказал?..

В тот вечер я ушел со льдом в сердце, а Ирма осталась на берегу. Она спокойно отряхивала песок, и на бедре ее таяли следы моих пальцев.

Да, я ушел... А ночью опять светило солнце, опять со звоном лились друг в друга голубое и розовое, и Ирма мамила в объятия и говорила, что ждала годами... А из синего воздуха рождалось белое облако, спешило к нам и, обернувшись бабушкой, грустно обнажало иссохшую грудь и серебряную голову. Я убегал, Ирма оставалась на песке, и с нею оставалась алгебра...

Даже сон я рассказал ему... Зачем? Волшебник, что ли, Мунир, чем поможет? Он сам моей бабушки боится.

— Один человек тосковал по женщине, — слышится мне издали голос Мунира. — А она болела туберкулезом. Не наша была, приехала в горы лечиться. «Не подходи ко мне, — говорила она тому человеку. — Не люби меня: болезнь и на тебя перейдет». А тот долго искал людей с такой болезнью и ел с ними из одной миски, чтобы тоже заболеть. Чтобы разломать забор между собой и ею. Но она скоро умерла, а он так и не заболел. Он остался... И на

войне меня не убили,— внезапно кричит Мунир.— Отца твоего убили, всех друзей моих убили. Уголь в печке сгорел, шлак остался... Выжил, чтоб когда-то умереть скверной смертью — от язвы желудка, от старости, от ожирения сердца... Но мы накажем себя. Мы будем пить. Что не смогли сделать ни туберкулез, ни шайтан-пуля, сделает шайтан-вода...

— Желаю счастья! — сказала сегодня Ирма, поздравляя с днем рождения. Удивилась, наверное, когда я отвернулся? Конечно, но что бы я ей сказал?

«Не сердись, это не вершина любви», — читаю на всю страницу в своей тетради.

Это она сегодня же, на консультации, красным карандашом...

Может быть, не вершина, может быть, и не основа, но вотому ли я сержусь? И на нее ли сержусь? После облачного сна лед с сердца ушел. Но теперь в нем пустота.

Желать счастья легко — дать трудно. И взять трудно. Как спала бы она после того дня, если б я не сдержал себя? Легко бы ей было? А мне самому?

Как просто все у Мунира: человек человека навсегда осчастливить не сможет, что-то мешает, а сделать несчастливым на всю жизнь легко, ничто не мешает.

Скоро экзамены — и аттестат зрелости... А экзамены на хорошего человека, хорошего и для него, Мунира, и для бабушки, и для Ирмы, и вообще для всех? Неужели без провала не обойтись, если ежедневно, ежечасно держать себя в предельном напряжении? Тяжело быть человеком!

«Ты не сердись,— пишу тоже красным карандашом в ее тетради,— это было только головокружение...»

Лучше сразу резко, чтобы потом было легко, чтоб забор был еще крепче, если сломать его нет сил. И смотреть на нее не надо, и любить не надо, если нельзя любить без оглядки, если эта любовь иглой колет чье-то близкое тебе сердце.

И день рождения лучше отмечать с мудрым и старым другом, в его тесной будке, с плотно занавешенными окошками.

Довольна ли ты мной, моя бабушка?

* * *

Месяц назад закончили школу. Ирму видел два раза — два раза обменялись холодными кивками. На маленьком

заводишке за аулом в горячих печах жгу кирпич. Начинаю утром, домой — под вечер. Знойные летние дни после печей кажутся прохладным раем...

Когда учились с Мазаном, работали в смену, теперь работаю в две, без выходных. Это, понимаю, самоистязание, по свободное время для меня сейчас зло. Оно для меня саморазрушение, вредное копанье в душе, сумятица. Работа же для меня сейчас — это спасительница, это кнут, который не позволяет волам выбить арбу из колеи. Вместе с тем работа — это ответ на вопрос: как мне жить? Ведь часто у нас судят так: в Черное ущелье путник всегда идет по колее предков. Все сотрется в памяти аульчан, все исчезнет, рано или поздно, как исчезают следы колес на дороге, но зигзаг в сторону от древней тропы не забудется и не простится. Судей ничто не смягчит — ни то, что эта тропа, может быть, для кого-то узка, что на ней уже до крови стер кто-то ногу, и ни то, что по ее сторонам, может быть, слишком много теперь колючек, впивающихся в одежду и тело.

Весь этот месяц мне кажется: я-то крепко-накрепко подчинил себя железному режиму, сам дирижирую своей душой. Она молчит сейчас, но если запоет, то будет петь сильным, стройным голосом, и только те песни, которые любит бабушка.

Мазан прислал мне письмо — хочет знать, когда свадьба и за кого выходит Ирма; Норий, видите ли, пишет ему намеками, ничего не понять...

Мне тоже ничего не понять: у самого Мазана тоже намеки и к тому же еще тон мудреца — хорошая девушка, мол, это счастье, за счастье надо бороться даже с теми, кто нам близок, кто желает нам счастья, но как-то ухитряется помешать ему.

В письме, как Мазан объясняет, «для бодрости духа», стихи, вырезанные из какого-то журнала:

Горец, кинжал не носил я бесценный,
Сабли старинной не брал я в бои,
Но не судите меня за это,
Предки мои,
Предки мои!
Я не пою, я пишу на бумаге,
Мерю пальто городского сукна,
Но...

Стихотворение большое и звучное — хороший, видимо, поэт сочинил. Но что сочинил Норий?

Бедный толстяк, он — как ящик для мусора в школьном коридоре — собирает всякие сплетни, а потом разбрасывает по всей улице. Говорили, он заносит в записные книжки все свои маленькие и большие обиды, чтоб не забыть. Уже много таких книжек, целый десяток, можно подумать: жизнь его — одна сплошная обида... А самому хочется всех обижать. Что ему сделала Ирма? И зачем выдумал не что-нибудь другое, а свадьбу?

Впервые меня пронзает мысль — а может, это правда?! Ирма может кого-то полюбить, должна когда-то за кого-то выйти замуж, давно уже невеста.

На том же месте, где в первый раз, встречаю ее, опять в своей лучшей рубашке... Неужели у и меня сейчас такой же чужой, чуть-чуть настороженный взгляд? Она стоит с полными ведрами и спокойно отгадывает, что можно услышать от меня, так долго молчавшего и переходившего на другую сторону улицы при встрече с ней.

Говорю, что Мазану написали какую-то чепуху, а он поверил и даже хочет знать — на ком остановила она свой выбор...

Сузившимся взглядом смотрит она на меня, потом смотрит прямо, на миг кажется — смотрит, как раньше, и говорит, что девушка не выбирает. Девушке делают предложения. И называет директора нашей школы...

Сто картин вспыхивают в мозгу...

...Возвращаемся с экскурсии, хлещет косой дождь, «газик» наш ползет по грязи, будто плывет. Неожиданно останавливается. Выйдя из кабины, Унух Биболатович сажает на свое место Ирму. С нами много девушек, дождь мочит и их, но у Ирмы короткий, как он замечает, плащ...

...Выпускной вечер... Еще не старый, еще крепкий, до блеска элегантный, он поздравляет Ирму с золотой медалью, за столом садится рядом, бокал его звенит мелодичней, когда встречается с Ирминым...

Разве не смешно — я только сейчас догадался об этом? Да нет же! Нет. Тогда я знал, только интуитивно, и ревность у меня была, только интуитивная...

Он восторженно говорит о подвиге, но я заявляю, что все это спорно. Четыре моряка не подвиг совершили, а долг выполнили, долг мужества, любви к жизни, а подвиг — это не то: подвиг — когда мужество с риском, с жертвой.

Понимаю теперь, спорил я не с учителем, спорил с тем, в ком чувствовал интуитивно будущего своего соперника.

Но не все ли равно, что было раньше! Сейчас Ир-
ма сама сказала самое значительное, самое важное. По-
чему отвела глаза? Жалеет — не хочет видеть, каким
стало лицо? А какое у меня действительно лицо? Чувст-
вую только: губы мелко вздрагивают, их что-то тянет
вкривь.

— Унух Биболатович — человек заслуженный! — неочи-
данно говорю я. И без паузы, на том же выдохе, тем же
тоном спрашиваю, не видела ли она у мельницы нашего
ослика. Целый час пишу...

И жду в ответ что-нибудь хлесткое, злое. Но она мол-
чит и проходит мимо, покорная, как и в первый раз, ритму
ведер на плече.

Я смотрю ей вслед, хочу догнать, остановить, озарить
ее чем-то ясным, неожиданным. Но сверху за водой спус-
кается моя тетя... Поравнявшись с Ирмой, пристально на
нее смотрит и переводит взгляд на меня.

* * *

Сажу на горячем камне. На нем неудобно, но отсюда
хорошо видна зеленая сакля Фатимы, и здесь можно сидеть
незамеченным хоть до окончания века...

Сегодня суббота, последний день перед свадьбой. Пос-
ледний раз мне надо прийти к ней, стать близко и смот-
реть ей в лицо минуту или две и ждать, как ждал год, не
случится ли, не изменится ли что-нибудь?

Но как постучаться в этот зеленый аккуратный домик,
о чем говорить, о чем молчать, переступив его порог?

Пусть даже в молоке он выкупается, пусть через голо-
ву три раза перевернется, но любить, как я, не сможет; ни
разу, как я, не обнимет. Это сказать? Но она знает, что
не это вершина любви. Спросить ее, выпытать — чем он
дорог, чем близок ей, ближе меня? Что она сможет от-
ветить? Может быть, как Дездемона, она его «за муки по-
любила»?

Унух Биболатович действительно заслуженный чело-
век. Он много сделал, значит, и много выстрадал, многого
лишил себя, не раз, говорят, был венчан пулей... О нем
пишут газеты, с почтением говорят в ауле, руку жмут
двумя руками. Три часа рассказывал однажды в перепол-
ненном клубе о его мужестве воевавший с ним партизан,
цыне внешкор, выступающий в трех областных газетах не-

изменно с одной темой: боевое прошлое однополчан. И не только в газетах...

Солнце такое высокое, так много света, так ослепительно сверкает крышами лежащий внизу аул, что страшно быть несправедливым. Сейчас под этим палящим солнцем жажда правды, как жажда воды! И никогда эту жажду, кажется, не утолить, если не сейчас. Надо сейчас, не вставая с этого горячего камня, дожидаться рождения истины! Я сейчас ее должен найти. И если истина эта меня даже укусит, не злиться, не бить ее по зубам, а положить на рану ладонь и уйти дорогой прощения и примиренности.

...Унух Биболатович остался жив, ведь не всех же хороших на войне убивали, сколько б ни было отлито пуль.

Но сегодня ведь он такой, как и все,— просто директор... Мы очень обязаны его поколению, но и мы сможем, наверное, хорошо сражаться, и выжить, и умереть, если понадобится.

Так ну и что же? И вас будут любить. Только другие. А я люблю его, а я ему стану женой. Разве его нельзя любить? Может ли Ирма спросить меня так?

Но зачем тогда я так долго думал о тебе? И ты зачем думала, Ирма? Я знаю — думала... Почему не дано было нам посмотреть друг другу в зрачки в самом начале и увидеть свадьбу, увидеть завтрашний конец? И разве наши симпатии и антипатии рождаются просто так, стихийно, случайно, без корней, без гарантии на существование в будущем?

А может быть, то, что привиделось мне когда-то в ее глазах, все-таки правда, и завтра — с ним свадьба без любви, а мне любовь без свадьбы? Безобидный дележ?

Так не бывает?

Я, во всяком случае, так не хочу, знаю точно.

«Онегин — тряпка: нет силы, нет гордости». Мудро, пьяный Мунир! Когда ты говорил неправду?

Нет, если надеяться, то только на неделимое счастье. Если говорить с ней, то только сегодня. А завтра и после — поздно.

День, такой долгий день вопросов без ответов, теперь гаснет, тень моя становится длинной, пересекает все ущелье... Зеленый домик тремя боками приветствует сумрак, белеет только сторона, повернутая к исчезнувшему солнцу... Загораются окна, над крышей взвизгивает струя дыма. Кажется, что сакля Фатимы висит на этой темно-

синей веревке, зацепившейся одним концом за звездное небо, другим — за трубу.

На руке моей полоска ожога раскаленным кирпичом.

* * *

— Хорошо?— спрашивает она.

«Да, пластырь помогает,— хочется ответить и положить руку в бинтах на грудь — здесь больно, здесь рана, какой сюда пластырь?..»

Эти слова, нелепые и пошлые, она приняла бы за желание тронуть, разжалобить, я их себе не простил бы, сколько б ни жил.

Но каким жестом, не уязвляя своего самолюбия, не уязвляя ее и никого другого, просто по-человечески, спокойно и умно, передать ей все, что сейчас в душе?

Мне вдруг становится жалко человека вообще, потом становится жалко себя.

Она подходит близко, хочет, наверное, посмотреть, не плачу ли? Сначала вижу лицо, потом только глаза.

Странно — смотреть сразу в оба невозможно.

Смотрю в один...

В нем — ответ на мучившие меня вопросы. В нем — однажды молча сказанная и неизменная с тех пор правда.

Да, пусть нетвердо, пусть без четкой уверенности, но я всегда знал: в жизни обязательно должно быть что-то, что без слов, без клятв, молча и властно поворачивает друг к другу и сближает людей.

В соседней комнате сонно кашляла старая Фатима; в другой — среди статуэток и разбитых кубков давно смотрел свои ученые сны большеголовый ученый; спали уже, наверное, под тихими крышами и Мунир, и Унух Биболатович, и секретарь Умаров, и все остальные. И никого не было.

Не было и бабушки. Мы были одни.

Под косым лунным лучом лебедем белело свадебное платье. Лебедь взметнул крылья, но не взлетел: моя рубашка, брошенная Ирмой, упала на него...

Мы ни слова друг другу не сказали. Ночью все живет молча.

И часы под подушкой стучат молча.

И опять в мире ничего нет. Есть мы, две половины мира, притянутые каким-то большим добрым законом...

Но из-за гор уже вползает утро, грозит светом, как ка-

рой за преступление. Нет вины, нет ошибки, но страшно, и почему-то надо бояться...

Заря на горизонте показывает кончик пламенного языка.

...В саду, в старой кадке светилась вода. Над нами наливающиеся соком яблоки. Срываем одно за другим. Сок кислый, приятный, пронзает, как хмель.

Проснувшийся ветер сбрасывает росу с деревьев.

Ирма дрожит от прикосновения холодных капель.

Я поднимаю ее на руки. Невесомая теплая птица... Весь год заполняла меня то горем, то радостью, но не позволяла быть сердцу пустым.

Пусть дни впереди будут тусклыми, пусть будет тоска, но и тоска по ней станет радостью.

* * *

Солнце горит, как и вчера.

Иду по саду, откуда ушел утром, прячусь в тени деревьев.

Что скажет она сейчас, утром сказавшая «нет»? Что изменилось за эти часы, почему попросила снова зайти?

Под ветхим навесом старая Фатима колет дрова. Топор тяжел, слушается плохо, не сразу бьет куда нужно.

— Да будет день щедрым, дело удачным!— говорю я ей и беру у нее топор. С каждым взмахом Фатима успевает отпустить мне какое-нибудь доброе пожелание.

— Будь здоров и счастлив,— говорит она при последнем взмахе и суетливо ныряет рукой за пазуху.— Бумагу оставила тебе синеглазая...

Человек в очках сидит в древнем мире и пишет что-то. Услышав вопрос, поднимает большую голову и тупо глядит вперед.

— Ключом явился Розетский камень, бывший одновременно и билинговой и бискриптой,— мыслит он вслух по инерции.

— Куда она уехала?— кричу я.

— Далеко, на север,— отвечает наконец ошеломленный ученый и длинной рукой показывает, где север.

— Будь счастлив, сынок!— еще раз благодарит вдогонку Фатима во дворе.

— Постараюсь,— обещаю, не оглядываясь.

У калитки носом к носу сталкиваюсь с идущим навстречу Биболатовичем... Адская жара, а он в галстук, аккуратный. И немного волнуется.

— Куда уехала?— спрашивает он глухо.

Боком его обходя, сообщаю, тоже глухо:

— Розетский камень был билингвой, и еще — бискриптой.

Пусть думает, что спятил, я и сам так подумал.

Сижу на горячем камне...

В ущелье над спящей водой неслышно стонет камыш... За рекой неподвижно томится пестрое стадо. Коровы лежат и спят, не закрыв грустных глаз,— сейчас полуденная жвачка. Внизу по желтой дороге тащится в аул арба. Ни пыли за ней, ни скрипа колес, и ни песни погонщика, будто в фильме без звука. И река тоже плещет беззвучно, и шелест камыша беззвучен, и все беззвучно, будто не живет...

И занозой мучает мысль — надо что-то немедленно понять, что-то открыть, к чему-то прийти, чтобы мир не остался вечно далеким, как сейчас, знойным и мертвым.

В третий раз читаю письмо, но ясно одно и то же: улетаела белая птица, вспугнули ее, сказали, что не буду я счастлив ни с кем, если будут несчастны мои близкие...

«Пусть лучше две змеи обовьют мою шею, чем его твои руки» — так сказала ей моя тетя... Но она благодарна тете, которая страстным гневом объяснила самое трудное: почему я боялся любить. После визита тети она поняла все, и теперь она уезжает, ни о чем не жалея... Очень недолго, всего одну лунную ночь была она счастлива. Ночь была короткой, самой короткой в году, но обижаться на то, что нет постоянного, бесконечного счастья, несправедливо... Важно только одно — оно пришло, оно жило в тебе, а потом ушло, как уходит солнце.

Домой прихожу вечером.

Бабушка на крыльце готовится к молитве.

— Где был так долго?— спрашивает она.

Куры одна за другой взлетают на плетень и слепо смотрят перед сном на закат. Серый ослик за плетнем блаженно жует траву.

— Колол Фатиме дрова.

— Это очень хорошо, сын мой. Людей нужно любить,— говорит бабушка и начинает молитву.

Да, милая бабушка, мы должны любить. Мы родились не умирать, а любить. А когда умрем, мы станем землей, мы станем травой, взойдем в хлебе, вольемся в реки, взбудоражим плоть и кровь живущих. И вместе с нами, вечно умирая и рождаясь, как птица феникс, будет жить любовь.

Она будет такой, какой живет теперь во мне.

Может быть, разной, особой любовью, но я буду любить и тебя, моя бабушка, и Мунира, и толстяка Нория, и всех, и все.

Буду любить и это небо, и эти вечные горы, и этого белолобого ослика.

Я буду любить и ту, кого люблю.

И я найду ее.

Я буду с ней...

И не осудят меня предки мои и потомки мои.

Хмурое будет лето — с большими дождями и маленьким солнцем. Не хочет ветер признать весны, совсем по-осеннему разговаривает. Дует без усталости, не иссякает, будто река течет. Только на миг присядет за Синим хребтом, послушает небо и снова свистит и скачет шайтаном...

Озябшая орешина стучится в окно, вздрагивает, машет ветками, как птица летящая.

Кто-то говорил — старость приходит, когда начинаешь забывать лицо первой женщины. Неправильно говорил: раньше приходит... Хорошо еще помнит Хут женщину, что была его первой и последней, часто слышит по ночам ее голос, видит улыбку. А старость уже давно порог перешагнула. Это она заставляет злиться сейчас на ветер,ковыряясь ржавым гвоздем в пояснице, она убила правую половину Хута. Мать вспоминала: родился он в зиму, когда Кабардай, их единственная кобылица, принесла сразу двух жеребят. Сколько раз одевались горы в белое после той зимы? Много, никто не считал. Дерево за окном меньше зим видело, чем он, но тоже состарилось, обрюзгло, огрубело корой, морщинами покрылось. Хут был уже джигитом, умеющим надевать питаны, когда отец принес два крупных ореха — одним угостил его, другой глубоко в землю сунул.

— Зачем? — пожалел мальчик.

— Орех умрет — дерево родится, — утешил отец. И был прав: так следовало по закону жизни. По этому же закону сам отец ушел в другой мир. Только слишком рано. Зеленый побег выглянул на свет, когда отец был уже в земле. Да останется просторной и светлой могила его вечно...

Не унимается ветер, о старости поет... Течет по ущелью холодный, как осенью, течет — не кончается, будто река. Хмурое придет лето, с тощим негреющим солнцем.

Орешина скрипит, как живая, как кость больной поясницы. Верхний сук ее, протянутый к Синему хребту, в

прошлом году не цвел, не зацветет, видно, и теперь. Он, наверно, и жалуется небу.

Шесть лун сменилось, как Хут не двигает правой рукой. А недавно умерла нога. С виду она как и левая, но души в ней нет, точно мертвый сук на орешине. В сырые кожи кутался Хут, по уши в козий помет зарывался, еще в соленой воде долго сидел — не отпустила болезнь. Солман-эфенди, да умножится мудрость его, большой дуаталисман выписал, сам на шею ему повесил, до этого два раза святую книгу читал — не помогло.

Но Хут не хочет гневить аллаха — не жалуется... Живет, как прежде: уразу держит, курман празднует, чистые одежды носит, и каждый волос в бороде его свое место знает. Не во все дни, как положено, но хоть по пятницам, в дни джумы¹, он и в мечети бывает. Мечеть рядом. Могучий Ойс, молчаливый и верный слуга, покорно относит его на руках туда и обратно. Хут, несчастный, не может в поклонах всевышнему касаться лбом молитвенного ковра. Торжественный и выпрямленный, будто на стержень посаженный, замирает он под голубым куполом и до конца намаза с хорошо спрятанной завистью глядит на молящихся.

Тяжела жизнь без намаза — совсем не отдыхает сердце. Когда человек не в силах поделиться с аллахом, то и маленькое горе большим кажется. Но не жалуется Хут. Судьба каждого на лбу написана, время страдать и время радоваться еще в день рождения каждому назначено. Хут терпит. Чуток он к недугам своим телесным, мучают они, но еще больше мучает тревога душевная. Как и этот ветер, не унимается она, грызет изнутри, все острее становится. И началась она внезапно...

В прошлом году, когда с гор текли снега и овцам удавалось уже набить молодой травой полживота, лесник Хомай привез галопом неожиданную весть: русские войной прогнали падишаха Миколая и на стул его золотой посадили сразу много человек — Бременное правительство. А на седьмую луну после этого или восьмую, когда пришла осень и овец нужно было гнать к зимним пастбищам, тот же Хомай рассказал о новой жестокой борьбе русских, поломавших всю старую жизнь.

На большой муравейник перед дождем стал похож в те дни Карачай. Как грибы после дождя, стали появляться в аулах люди с непонятным именем — большевики, которые

¹ Джума — пятничная совместная служба в мечети.

открыто звали к борьбе за новые, неслыханные до этого порядки.

Игла зависти и алчности начала колоть тогда зады многих, не давая сидеть на положенном месте. Лесник Хомай, да придется ему косить сено тушой косой, первый заварил кашу...

— Аллах добр, и горы Карачая высоки,— говорил однажды, собрав большой джамагат¹, могущественный бий Бекмурза,— достаточно высоки, чтобы не бояться наводнения революции. Но нельзя держать руки в карманах, пашки надо точить и ружья чистить. Большой газават близится с гяурами-большевиками, которые на царя своего и бога плюнули, а теперь и у нас хотят поставить все ногами к небу: на добро наше жадными глазами смотрят, на свободу и веру нашу посягают. Острее пашки точить надо...

Шайтаном вскочил в тот день на святое крыльцо мечети Хомай.

— Эй, джамагат,— стал кричать хитрый лесник.— Бекмурза правду сказал. Высоки горы Карачая. Очень высоки — все наше добро рекой вниз струилось, к Николай-обжоре уходило. Одних только овец пятьдесят тысяч с гор утекало за год... А что в горах оставалось, нам, пастухам, не доставалось. Бекмурзе, Хуту доставалось. Русский пастух тоже мяса не видел, пахарь хлеба не ел. Одним словом, мир до сих пор ногами к небу стоял — большевики правильно теперь поставили...

Революция — не вода, революция — огонь, который до наших гор добирается, и жарко становится только тем, у кого жиру много...

«Громко говорит, но пусть — от разговоров об огне пожара не бывает»,— думал тогда Хут. А пожар пришел. Покоя нет, горит теперь все. Выстрелы по почам детей будят. Совсем расклеился Карачай, нет любви — клея жизни, все врагами друг другу стали, на два цвета поделились... Двенадцать лун горы обильно кровью орошаются, а урожай правды еще не взошел. Когда взойдет? Чьи молитвы дойдут до неба? И как быть всевышнему, если вор выводит коня и просит: о, аллах, помоги,— а хозяин с такой же просьбой коня ищет?

Красный флаг повесили над домом, в котором жил недавно пристав. Хомай уполномоченным стал, новая власть

¹ Джамагат — народ (*карач.*). В этом случае — совет.

его ртом начала говорить: отнять у хозяев земли, отнять скот. Нет теперь хозяев, все братья, все равны.

Забыл Хомай: в отаре есть вожак — баран, в волчьей стае есть вожак — зверь. Так следует по закону жизни. А народ об этом забыл. В Теберде имущество Бекмурзы поделил, гол теперь Бекмурза.

Даже Додур, уже полвека бывший погонщиком мулов Хута, и тот осмелился перешагнуть этот закон. Бойко предстал он светлым днем перед Хутом и потребовал овцу для забоя к курману: ведь говорят, все общим стало. Кто скажет — нет?

— Я и веревочку принес,— деловито добавил Додур.

Хут так поразился наглости бессловесного раньше холопа, что не отказал. Не отказал бы в ту минуту ни в чем — проси тот хоть быка.

— Ты хороший человек, Хут, очень хороший. Кто скажет — нет?— приговаривал тогда Додур, уводя домой тучного барашка.

А Хомай не один пришел, с большевиками пришел считать овец Хута. Бумагу большую писали, в большую руку совали, будто есть на свете бумага, стоящая восемь тысяч овец. И будто эти тысячи Хут у Хомаи и большевиков угнал, или по велению белого джинна заполнили они его стойбища.

Беззаботным, как новорожденный, жил отец Хомаи, ловко танцевать умел, хорошие песни придумывал. Таким он и умер, пусть дорога его и на том свете веселой будет...

А он, Хут, ни на одной свадьбе в молодости не поплясал, ни одной песни не спел. Орешина, что стонет сейчас под ветром, ростом меньше Хута была, когда его мать за отцом ушла, оставив ему убогий домишко и худой сарай, под которым ржали от голода два тощих конька и их старая родительница Кабардай. Теперь его дом большой и высокий, есть еще один большой дом для слуг, есть овчарни, конюшни, есть пастбища. Но не джинн подарил ему все это...

Много обид видел, много ранящих слов слышал Хут-сирота, по чужим стойбищам паса чужие табуны и стада... На крепкий замок запер он в груди свою гордость, забыл, что человеком родился: поясница, которая сейчас болит, мягкой стала от поклонов, пока не собрал он первых два десятка собственных овец и не довел их до нескольких сотен. Своим хлебом кормил Хут большую овцу, единственной шубой ягнят грел... Все видели это. Богатый человек не побрезговал им, оценил его трудолюбие, с большой ота-



рой овец дочь свою ему в жены отдал... Правда, ушла она из этого мира: пусть ангелы хорошо ей служат.

Так взялись тысячи — добрый джинн тут ни при чем...

Отец Хомай тоже помог. Но шел дорогой гордости. Хорошая это дорога, удобная, но конец ее — пустое стойбище.

И Хомай этой дорогой всю жизнь ходил. В город далекий Баку уезжал, да таким же голым вернулся, только разговаривать много научился и людей будоражить, травить друг на друга. Недаром старый Дильда-бай сватов Хомай в свое время палкой прогнал, дочь свою Зубайду его, Хута, сыну Салат-Герию отдал, потому что Салат-Герий в поту жил и тогда, и сейчас в поту живет... С женой своей в год раз спит, в горах с овцами пропадает, почесать затылок времени не находит. Да, трудно тысячи достаются.

А Хомай-большевик хочет бумажку написать — и давай отары делить будем.

Шукур аллаху, десять раз шукур — не оставил без защиты. Наехали из Кабарды джигиты, из соседних станиц лихие казаки нахлынули, все на свое место поставили...

Хомай тогда как подоженный бегал, звал власть свою защищать. Но все против пошли. Удалец Апсалат, первый друг Хомай, сам связал его и хотел горло перерезать: крепко власть новая его обидела. Беден он был, всего полсотни овец, но из-за них несчастье нашел...

...Вернулся однажды Апсалат в кош из аула, пьяный немного — на чьей-то свадьбе был, зашел перед сном в овчарню.

— Здравствуйте, овцы мои!

Посмотрел хорошо — овец нет. Два хромых барана в углу лежат.

— Где остальные? — спросил их Апсалат: трезвея, бросился в шалаш. Старый отец его мертвый лежит, белая борода — красная от крови. Рядом бумага. Прочли ее в ауле, в ней говорится: овцы Апсалата на нужды власти новой понадобились, что подтверждается подписью начальника отряда большевиков Петра сына Федора... Прощения за смерть старика еще просила бумага — мол, случайно вышло, в перестрелке.

Раненым медведем взревел Апсалат, усы свои сбрить поклялся, если не отомстит... Собрал десяток друзей, отважных джигитов, и ушел в горы за большевиками охотиться...

Кричал Хомай, что бумага врет, большевики так не делают, но Апсалат не поверил, и другие не верили. Когда мечеть горела, Хомай и тогда кричал, что это белые бандиты

подожгли... А старики ведь сами видели, как на заре во-
рвались в аул всадники с красными звездами на шапках,
как обложили мечеть сеном и кресалом огонь высекли, как,
гремя выстрелами, скакали они вокруг огня, под минаретом,
и на весь аул кричали, что аллаха нет...

Все поэтому отвернулись от Хомай, когда Апсалат за-
нес свой кинжал, только Хут, на беду себе, защитил не-
счастливого. Не убили Хомай, в зиндан только посадили свя-
занным, но и оттуда его Хут вытащил... Позвал в тот же
день на праздник семейный, когда внука его, поворожден-
ного сына Салат-Герия, в первый раз в бешик¹ клали.
Большой это праздник, много уважаемых людей пригласил
Хут, но ближе всех к теру посадил Хомай, рядом с собой
посадил — понять хотел этого человека, весь вечер с ним го-
ворил.

— Равенство только на кладбище бывает. Но ты считай
себя равным со всеми, кто здесь сидит. Пей, родившийся
от сестры моей, — так ласково обращался Хут к гостю из
зиндана.

— И на кладбище равенства не бывает, — строго бурчал
Солман-эфенди, — в головах камни разные: большие, ма-
ленькие...

— Какую власть звать — Хуту лучше знать. Дорогу вы-
бирает мул с большей поклажей, — сердито и коротко ре-
зал брат покойной матери Салат-Герия, приехавший из Те-
берды.

— Солнце светит всем равно, дождь мочит всех одина-
ково. Зачем на несправедливость жаловаться? — басом тя-
нул, почти пел, азанчы² Сеит, крутя усы...

Все что-нибудь говорили. Даже Додур, доставлявший к
столу вино и бузу, успевал делать свое дело и после каж-
дой речи вставлял:

— Правда. Истинная правда, кто скажет — нет?

Один Хомай молчал, не ел, не пил. Когда злиться на-
чали на него гости, он наконец открыл рот и сказал, что,
если это доставит удовольствие сидящим, он будет пить и
разговоры вести, только один из присутствующих должен
перед этим покинуть свое место.

Все молча уставились на него.

Хомай ткнул пальцем на портрет царя Николая, висев-
ший прямо против него.

¹ Бешик — люлька.

² Азанчы — человек с зычным голосом, который следил за
временем и призывал на намаз.

— Рано приказал ты, Хут, украсить им свою стенку. Только аллаху известно, какая чаша весов вниз потянет.

— Всех гостей ты моложе, родившийся от сестры моей. Разрешаю тебе — иди снимай...

Хут видел, как все замерли, держась за бороды, чтоб голова не качалась: ждали — что будет? А что было, увидели, когда все кончилось... Хомай-лесник Хомаем-молнией стал, выхватил из-за пояса соседа маузер и, почти не целясь, выстрелил. На двух колышках висел падишах. Теперь, скривившись, на одном висеть остался.

Перепугал всех Хомай, шайтан черный. Солман-эфенди, как конь дикий, голову вскидывая, икать начал. В соседней комнате женщины взвизгнули... Зубайда, жена Салат-Герия, вбежала бледная, на Хомаю уставилась, забыв, что среди мужчин стоит...

— Я тебе помогу, рожденный сестрой моей, — сказал Хут тогда и тоже выхватил свой маузер... С правой он лучше стрелял когда-то, но и левой попал... Второй колышек отскочил от стены, и падишах упал...

Хуту все равно, кем свои стены украшать, но за овец своих готов кровь пролить, потому что тот, у кого их мало, всегда с пустым желудком спать ложился. Сидящие на золотом стуле сменялись и сменяются, но одно остается вечным, как горы, как звезды и солнце, есть под небом нищий, есть богатый; есть слуга и есть хозяин... Так следует по закону жизни.

Не давал Хомай себя переспорить, всем старикам и ему, Хуту, рот затыкал — говорил: есть, конечно, голодные и сытые, есть убогие, есть имущие... Сегодня он, Хут, десяток овец для гостей забил, а Додур, к примеру, всю жизнь с семьей своей молотый ячмень с водой хлебает; земли его, Хута, за год не объедешь, а другим всего два аршина достается — и то после смерти... Если солнце и дождь — для всех, то земля с травой своей и пашнями тоже для всех... Дорогу выбирает мул с большей поклажей, народ возьмет на плечи поклажу и у него, Хута, и у других возьмет... И дорогу выберет... Конечно, есть под небом всемогущие и слабые, есть слуги и хозяйева, но долго так не будет — так следует по главному закону жизни...

Никогда Хут не любил кричать — Хомай кричать заставлял:

— Твоя власть всех равными сделать уже хотела. Но пусть сделает равными мне, а не Додуру и ему подобным... На колени тогда перед ней стану, золотая ты — скажу... Не сможет этого твоя власть, никогда не сможет!.. Слыхал

сказку? — Пришел эмеген¹ в лес, смотрит: что это — одни деревья большие, другие — маленькие? Давай всех одинаковыми сделаю — красивый станет лес... Начал тянуть вверх маленькие, тянул, тянул — не вытянул... Тогда головы высокоим деревьям рубить стал, да топор свой нечаянно сломал...

С самого начала неучтивость Хомай видна была — вместо того чтобы пожелать старикам счастья и покоя, молодым долгих лет жизни, а дому, в котором пьет, — изобилия, он за первым тостом сказал:

— Пусть Домалай новорожденный мало овец иметь будет и много любви к людям... И пусть он на отца своего похож будет...

К концу вечера неучтивость эта в злобу переходить стала...

— Под корень надо большое дерево рубить, если сотням меньших свет оно закрывает, если соки земные у них отбирает...

Не один из сидящих рукоять кинжала сжимал, пистолет за поясом щупал — Хомай перешагивал все границы, вызов вкладывал в речь свою...

Мягко обошелся с ним Хут, не позволил и пальцем тропуть... И горько теперь жалеет. В аул на прошлой неделе опять новая власть нагрянула. Белый флаг с дома приставы сорвали, отряды белых в Змеином урочище наголову разбили...

Тесть Салат-Герия Дильда-бай, да будет бритой его борода, добровольно имущество свое народу раздал. С ума, наверное, сошел или крепко струсил... Теперь его волами его же землю мужики распахивают, урожаем себе возьмут осестью.

Хомай и от Хута этого стал требовать, но Хут — не Дильда-бай, шукур аллаху, он выход нашел. Идут сейчас его отары к Клухорскому перевалу... Через день-два лед у выхода из урочища растает, и путь свободен будет. Перевал большевиками охраняется, но у Салат-Герия достаточно людей — все до зубов вооружены. Уцелевшие казаки атамана Тараса, Игнатов сына, и убежавший в горы Апсалат со своими джигитами — надежная защита. До самого перевала сопровождать будут, понадобится — и дальше, до самого моря, где ждут купцы и турецкие пароходы.

Пусть тысяча на магарычи уйдет, пусть еще одна в дороге падет, пусть остальные ушлывут, но Хут не поступит,

¹ Эмеген — сказочный великан, чудище.

как Дильда-бай... Землю не унести за перевал, землю отберут, но ни одна овца Хута новой власти не достанется... Не отвернись, создатель, в эти дни от слуг своих, помоги Салат-Герию... Хомай с большевиками, как голодный волк, по следу в горах рыщет... Сделай так, чтобы с пути он сбился, чтобы конь его над пропастью остушился, чтобы молния весенняя его ударила...

Много Хут думал о каждом шаге, о каждом слове Хома — но одного сердцем не мог принять. Долго заглядывал в душу его, пытаясь понять — верит он сам своей власти или нет — не понял...

Только однажды ночью, после тоя в честь внука, показалось Хуту, что в словах Хома правда живет... Но вспомнил мертвого отца Апсалата и ограбленного князя Бекмурзу, вспомнил взгляд Додура, требующего овцу, мечеть пылающую вспомнил и горячо молиться начал, прося кары на головы безумцев, помутивших чистую реку жизни...

Хотел бы Хут схватить ружье и на коня вскочить, но только молить может о смерти врага. Только лежать он может наполовину мертвый, слушая свист ветра и жалобы стонущей орешины...

* * *

Дошли до неба молитвы Хута.

На шпиль мечети с месяцем и шестиконечной звездой уже сверкало утреннее солнце, когда Хома привезли в седле.

Со слезой на усе пришел к Хуту Апсалат и поведал о том, что случилось, — так хотел перед смертью Хомай.

В конце Змеиного урочища догнали большевики отряд Салат-Герия. Перестрелка шла до вечера, победа к большевикам повернулась. Казаки не выдержали, отползть стали, решив скрыться. Апсалат, видя это, приказал оставить большевиков и взять на мушку предателей... Тогда один из них сказал, что отца Апсалата не большевики убили, зачем заставляя против них драться?

— Кто убил? — закричал Апсалат.

— Спроси его, — показали казаки на Салат-Герия, который уже выстрелил в одного из них и снова ружье заряжал.

— Он скажет. И мечеть вашу кто сжег, тоже скажет. Салат-Герий, бледный и дрожащий, начал прощения у

Апсалата просить, говоря, что был с казаками, которые в большевиков перерядились, но в смерти отца Апсалата не виноват, он даже на защиту старика встал, но чуть сам под пулю атамана Тараса не попал.

Апсалат не стал убивать Салат-Герия, плюнул ему в глаза и крикнул, что сдается.

Большевики отняли у них оружие, связали, но Хомай, узнав в чем дело, обнял Апсалата и всех развязал, кроме Салат-Герия.

— Хочешь — и тебя развяжем, — сказал он немного погодя.

— Одного хочу, — ответил Салат-Герий, — убить тебя, от пса родившийся. Отец твой охотник был, часто заячьим мясом тебя кормил. Если сердце твое не пронитано с детства трусостью, возьми сам ружье и мне дай.

Потемнел Хомай, никого слушать не стал...

Бросили жребий, первым Салат-Герий стрелял — промахнулся. Хомай долго целился, но швырнул ружье и пошел прочь, к коню своему. В спину ему выстрелил тогда Салат-Герий и в сердце попал...

— Две просьбы было у Хомаю. Одна — к тебе, Хут, — заканчивал Апсалат глухо, — он прощения твоего себе и Зубайде просил и чтобы ты, Хут, ее к отцу, Дильде-баю, отпустил. Любил он ее, и она его любила. Домалай не от Салат-Герия родился... Дильда-бай знает об этом... Другая просьба ко мне была. Хотел, чтобы я красный флаг над аулом повесил — сам не успел, красной материи не нашел...

Ни одного слова не вымолвил Хут, только кивнул молчаливому Ойсу. Когда его подняли, припал грудью к окну, и, будто сейчас только родившийся, жадно посмотрел вперед. Да, дошли до неба молитвы Хута, и Хут проклял свой язык.

На шпиле мечети, рядом с тонким месяцем и звездой, адела окровавленная рубашка Хомаю.

Он лежал на ковре, пестреющем среди травы. А рядом с ним стоял связанный Салат-Герий, его, Хута, сын.

Женщины оплакивали по очереди, и, кончив, каждая плевала в лицо Салат-Герия. Салат-Герий, злой, смотрел и видел сразу всех, заполнивших двор мечети. И всех взглядом убить хотел. Еще мальчиком, услышав какую-то сказку, связал он раненую волчицу и тайком от всех высосал ее молоко. Но сильным не стал, только злым стал.

Победил его Хомай, сильнее был.

«Пусть сын на отца своего станет похожим», — вспомнил вдруг Хут.

Все продуманное, по непонятное вспомнил Хут и все понял, как этот умный тост.

Женщины по очереди оплакивали смерть.

Как птица летящая, махала ветками старая орешина. На Синем хребте чернела полоска вспаханной земли. Человек шел по борозде и сыпал по сторонам зерно. Сильными взмахами, щедро, не жалея, знал — будет жить семя в урожае.

Как живет в орешине орех, посаженный отцом Хута, так будет жить Хомай в новой жизни...

ЛЕПЕШКИ

Женщина дала девочке кукурузную лепешку. Себе взяла такую же.

Самую большую протянула больному старику.

В последние дни она пекла ровно по три лепешки: война еще не кончилась, а муки было мало.

— Мама, к чему нашему деду столько хлеба, раз он все равно умирает?— спросила девочка с удивлением.

Женщина вздрогнула.

— Почему он умирает?! Что ты болтаешь!..

— Ты ведь сама говорила... соседкам. Я слышала.

Женщина заплакала.

Старик изможденной рукой погладил девочку по голове.

Ночью он умер.

А утром под его подушкой нашли полтора десятка нетронутых кукурузных лепешек.

ТЕТЯ ПОЛЯ

Когда-то, очень давно, мы приходили в школу.

— Здравствуйте! — говорили мы тогда.

— Здравствуйте,— улыбалась нам тетя Поля. Она работала уборщицей и каждый день, встречая нас в коридоре, просила вытирать ноги. И каждый день, когда мы уходили, мыла в классах полы. Три класса по сорок квадратных метров и коридор — первая смена, три класса и коридор — вторая смена.

С деревьев облетали листья — приходила осень, наваливал снег — зима, потом, как водится, наступали весна и лето. И каждый день тетя Поля мыла полы...

И опять проходили годы, время текло рекой. Первоклассники становились десятиклассниками... К тете Поле привыкали, как привыкают к школьной парте или доске...

Видеть часто — значит не видеть. Было так.

Сегодня у меня в волосах много седых волос. Я опять

прихожу в школу, но уже сам ставлю малышам оценки «хорошо», «плохо».

— Здрасьте! — говорю я басом тете Поле.

— Здравствуйте, — улыбается она.

Тетя Поля по-прежнему моет полы. Три класса и коридор — первая смена, три класса и коридор — вторая смена. Много ли будет квадратных метров, если... взять это столько раз, сколько всходило солнце за всю жизнь тети Поли?! Может быть, это земная часть нашей планеты...

Вымыть земной шар!!

ТУК-ТУК...

— Тук-тук-тук!..

— Кто там?

— Это я — Труд! Открой двери — я поживу с тобой.

— Иди прочь! Тесно у меня.

— Тук-тук-тук!..

— Кого опять нелегкая принесла?

— Это мы — Слава, Почет, Богатство и Счастье! Впусти нас переночевать.

— Как я рад, дорогие мои! Заходите. Живите у меня до гроба — места всем хватит. Нас только двое — я да жена.

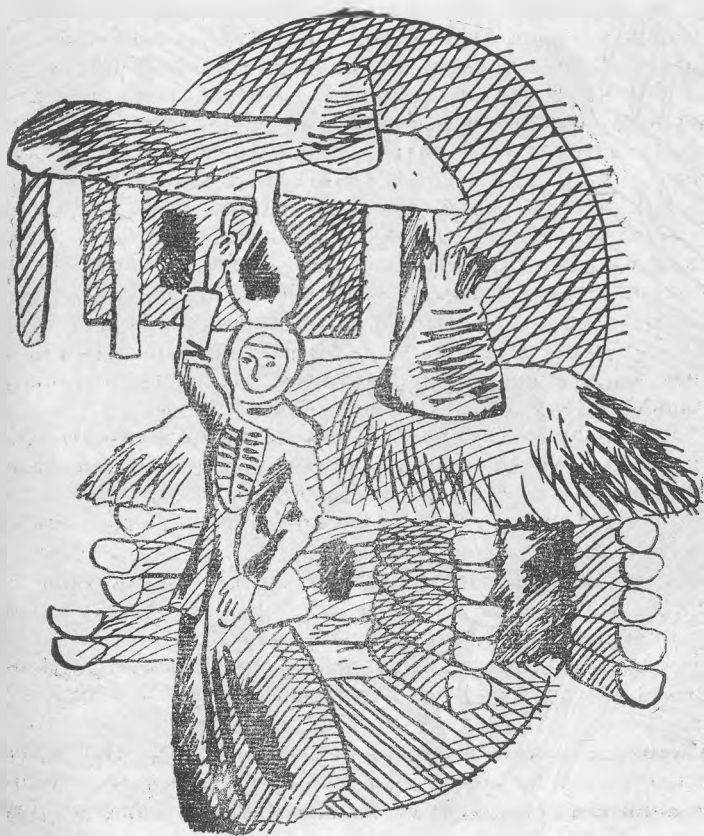
— А Труд разве не у тебя живет?!

— Нет, он поселился у соседей. Да постойте, куда же вы?

— Туда, где наш друг.

АУЛ КУМЫШ

Авторизованный перевод
с карачаевского *Д. Лукьянова*





1. Приглашение к книге

Жил горец. Ни щедрости, ни теплоты душевной к людям в сердце своем не держал. Но при этом, рассказывали, бедняга очень боялся прослыть скупцом и бирюком. Из тех он был, кто хотел, чтобы и волки были сытыми, и овцы целыми.

Раз пригласил этот горец под сень своей кровли случайного проезжего. Особенно не настаивал, так — ради приличия пригласил. Но проезжего не пришлось долго упрашивать. Он запросто въехал во двор, спешился и спросил, куда привязать коня.

— Привяжи, дорогой гость, своего коня за мой длинный язык, — ответил горец, не скрывая досады. — Нет, чтобы ему спокойно лежать во рту и не шевелиться.

Поверьте, не из нашего аула тот горец. Кумыш гостей любит.

— Салам алейкум, дорогой путник! Заходи к нам! — говорим мы тебе от души, читатель.

— Алейкум ассалам! — должен ты ответить, как и подobaет путнику.

Да, мы называем тебя, читатель, путником, так как твердо убеждены, что каждый, открыв книгу, открывает ту самую дверь, которая начинает всякое путешествие. И не спорь с нами, пожалуйста, читатель. На этот раз правда, вне всякого сомнения, на нашей стороне. Суди сам. Ведь, отправляясь куда-нибудь, прежде всего тебе приходится открыть дверь. И, только закрыв ее, ты покидаешь свой дом. Так и с книгой. Можешь ли ты узнать, о чем она, не раскрывая обложки?

Представь себе зиму. Звенит мороз, в горах буран, нос на улицу показать страшно. Ты, благоразумный, укрывшись новой шубой, недавно сшитой руками твоей заботливой жены, покоишься в тепле своего очага и слушаешь сердитые песни ветра, прижав излюбленное большинством смертных горизонтальное положение тела...

Или представь знойный летний день. Сорок градусов жа-

ры, жжет солнце. А ты на цветастом пушистом войлоке, дорогом тебе как память о любимой бабушке, мир праху ее, возлежишь в тени дерева в своем саду...

И в том и в другом случае ты, лежащий неподвижно, если читаешь книгу, находишься в дороге. Ибо всякая книга — это мир со своими городами, селами, улицами. И каждую страницу, которую переворачивает твой указательный палец, можно сравнить со входом в какой-нибудь дворец, поражающий роскошью и красотой, или в обычную горскую саклю, радующую глаз простотой и скромностью. Почему? Да потому, что в настоящей книге на каждой странице — новые мысли. И, читая такую книгу, ты видишь людей, слышишь их речь, знаешь, о чем они думают. А если всего этого нет — закрой книгу, возьми другую. Книга без мыслей — пустой орех. Кому этакий нужен? И наоборот, хорошая книга — твой проводник по жизни, твой друг, надежный, верный, такой, который не подведет на перекрестках жизненных троп, когда надо решать, куда идти дальше.

Да удержимся мы от споров с тобой, путник, если ты скажешь, что у тебя и до этой книжки было немало чудеснейших путешествий в прекрасные города и земли.

Были. Не спорим.

Но приходилось ли тебе когда-нибудь бывать в обычном карачаевском ауле, известном, прямо скажем, лишь тем, что он никому не известен? Почему? Да потому, что такой аул прячется в горах, в укромном месте, в стороне от людных широких дорог. И ты будешь прав, если скажешь, что он, по всей вероятности, совершенно непричастен к существованию на земле всех семи больших и семидесяти меньших чудес. Ты прав — к этому он непричастен.

Итак, будь у нас гостем, путник!

Пусть отдохнут твои ноги. А если ты верхом, пусть отдохнут ноги твоего коня.

Скажи громко у нашего порога:

— Мир вам!

А мы еще громче ответим:

— И входящему мир!

И да сбудутся наши пожелания друг другу.

Нет, не из нашего аула тот самый горец, который показал своему гостю язык и тем самым посадил себя в лужу позора. Мы быстро найдем, к чему привязать твоего доброго скакуна, и язык наш будет готов рассказать тебе все, что мы знаем. И уши наши будут свободны. Мы умеем слушать гостя. Входи! Садись. Сиди у нас хоть целый день. Живи у нас, если можешь, хоть месяц. Мы посадим тебя на почет-

ное место у тера. Хоть год силы, если тебе у нас поправится. Сиди хоть до того самого дня, когда тебе нужно будет поехать в район, чтобы оформить документы на пенсию по старости. Мы не возражаем. Только радость ты увидишь в любую минуту на наших улицах. Мы всегда так думаем: «Уважение к гостю да будет единственной нашей заботой!»

Может, когда-нибудь слышал ты притчу о нашем карачаевском гостеприимстве? Всюду ее рассказывают. Не слышал? Тогда знай.

Пришли однажды к карачаевскому пастуху два серых волка и попросили овцу.

— Простите, ребята, не могу,— сказал им пастух.— Овцы не жалко, да вот стадо не мое. Чужое стадо пасу.

— Аллах простит,— сказали серые.— Чужое добро свято. Но мы голодны. Траву щипать не умеем. Будь хорошим человеком, сходи в аул и передай нашу просьбу хозяину. А стадо мы пока постережем. Клянемся, не тронем.

— Чем клянетесь?

— Честью клянемся! Пусть мы ее потеряем, если нарушим слово!

— Без чести тоже живут на свете,— усомнился пастух.

— Пусть будем всю жизнь несчастны, если обидим хоть одного ягненка!

— И несчастных сколько угодно на свете...

— Тогда пусть ляжет на нас тот страшный позор, какой ложится на тех, кто гостю не рад!

После таких слов пастух спокойно доверил стадо волкам и пошел в аул. Каждый из нас поверил бы этой клятве — так у нас принято.

Будь нашим гостем! Мы поровну поделим с тобой улыбки и веселье. Правда, спицы в колесе ступают поочередно. Так и печаль сменяет радость, а потом вновь приходят светлые дни. Но мы с тобой, дорогой путник, желаем делить — аллах свидетель! — только радость. Однако если ты станешь возражать и сочтешь нас похожими на тех плохих друзей, которые, словно тень, заходят в дом только в светлые дни, что ж тогда делать? Тогда часть наших печалей и нашего горя мы возложим и на твои плечи. Только пусть после этого горькие борозды не слишком долго будут оставаться на твоём теле...

Жизнь есть жизнь. И с этим ничего поделать нельзя. Ведь каждый счастливцев, у которого по воле создателя оказалась на плечах мудрая голова, должен согласиться, что не стоит, ухватившись за бороду, попусту терять время, размышляя, отчего на земле день, а отчего ночь. Зачем ло-

мать голову, если давно известно, что, когда мир обращает свой лик к солнцу, ему в затылок смотрят луна и звезды?

Не подобает мудрецу и дымить трубкой, пытаясь вникнуть в тайну рождения и смерти человеческой, ибо, сколько бы он ни дымил, ничего не изменится — родившийся все равно когда-нибудь умрет, а умерший никогда вновь не родится.

Не позволим же горю — словно червю — слишком долго подтачивать древо наших сил. Приняв день за день, а ночь за ночь, степенно-бодро, без робости и сумятицы душевной признаем вечную земную истину — истину не только восходов, но и заходов. И не станем жалеть слез, когда торжествует смерть, и будем торжествовать, услышав плач поворожденного.

Вообще, тому, кто твердо стоит на земле, тому, кто хорошо знает, что огонь горячий, а вода мокрая, жить проще и веселей. Ему ведь отлично известно, что умирать чаще, чем рождаться, люди не могут. Ну, а рождения, как известно, обеспечиваются свадьбами, которым нет конца. А свадьбы — дело перспективное, поскольку единожды рожденный нередко женится дважды, а если повезет — то и того чаще...

К чему все это мы говорим? К тому, что люди в нашем ауле простые, искренние, добросердечные. Встретят тебя как подобает. И будешь ты, путник, восседать на почетном месте за нашим праздничным столом, будешь восседать рядом с тамадой; увидишь и как пляшут наши джигиты, и сколько крепкой бузы перетекает из одних сосудов в другие...

Однако сколько воды утекло в Кубани с тех пор, как мы, словоохотливые, держим тебя своими пустыми разговорами у порога дома!

— Входи, дорогой гость! Давай сядем каждый на свое место, спокойно поговорим, познакомимся ближе друг с другом. А тем временем будут жариться наши хычины¹. Итак, друг, давай начнем с самого начала, с нашего аула Кумыш...

2. Аул Кумыш

В том, что аул Кумыш оказался именно там, где он есть, а не в каком-нибудь другом месте, повинен козел старого Мырзы. Что касается самого Мырзы, то он был убежден, что место для аула подыскал не козел, а аллах.

¹ Хычины — пироги с пачинкой (пац. блюдо).

Много лет назад, когда в Большом Карачае стали рождались колхозы, старый Мырза, прихватив имущество, покинул родной аул Карт-Джурт: идея коллективизации его нисколько не воодушевляла. Мырзе ничего не оставалось, как поискать такое место, где еще не было колхозов.

Все долгое лето он кочевал из долины в долину. В Карачае много красивых долин. Старик никак не мог решить, какая из них лучше. Устал Мырза, изнемог и однажды вечером твердо поклялся осесть там, где утром найдет свое стадо. Решил и поклялся — дом его встанет в том месте, где утром будет щипать траву вожак стада — большой рыжий козел.

Ночью Мырза не спал. Он долго жаловался аллаху, подробно рассказывая ему о всех тяготах жизни без пристанища, слезно просил направить его овец не в дикие заросли колючего кустарника, не на пустырь, заваленный камнями. И аллах, как потом утверждал Мырза, услышал молитву.

К восходу солнца старик отыскал по следам свое стадо. Овцы паслись вокруг вполне приличного на вид холма, укутанного синим туманом.

— Слава тебе, создатель! — трижды повторил Мырза и после этого внимательно осмотрелся.

Аллах оказался добр. Призывно зеленели покатые склоны, неподалеку шумела река, земля была мягкой, камней было мало.

Рассекая стадо, Мырза подошел к круторогому рыжему козлу, обнял его за шею и долго шептал ему на ухо слова благодарности за то, что привел овец на это прекрасное место. В награду козел получил полведра золотистого ячменя. И Мырза положил первый камень своего будущего дома на то место, где стояла правая нога вожака.

А осепью по другую сторону Синего холма поднял свой дом давний приятель Мырзы — Кара-Мырза. Вслед за ним из Карт-Джурта, из Джазлыка, из Дуута, из Теберды, из многих далеких аулов пришли к Синему холму другие семьи. Люди, поселившиеся вокруг холма, единодушно признали, что козел оказался более мудрым, чем его хозяин: превосходное место, которое он отыскал, вполне годилось не только для нового аула, но и для нового колхоза. Так и возник аул Кумыш. Так возник кумышанский колхоз. Так появились кумышанцы.

Среди жителей аула — выходцы из Большого и Малого Карачая. Кто знает аул Кумыш, тот знает всех карачаев-

цев. Так, по крайней мере, единодушно считают сами кумышанцы.

Но вот по поводу названия аула подобного единодушия нет. Одни говорят, что слово «кумыш» — это чуть изменившее свое звучанье слово «куюмыш» — серебро. Другие утверждают, что слово «кумыш» это не одно, а целых два слова: «кум» — песок, «иш» — работа. А вместе — песчаная работа. Говорят, два англичанина бог знает когда, поблизости, на берегу реки мыли песок, искали золото. Серебро или золото, так или иначе, но название аула связано с драгоценными металлами. Это очень устраивает кумышанцев: рассказывая о своем ауле, они имеют возможность всякий раз подчеркнуть его незаурядность.

Аул Кумыш действительно нельзя поставить в один ряд с другими населенными пунктами Карачая, хотя бы потому, что эта географическая точка обладает немалыми существенными преимуществами перед всеми остальными.

Ну, например, в ауле Кумыш никогда не бывает града. В соседних аулах он бьет оконные стекла, крыши дырявит, а у кумышанцев хоть бы бусина с неба упала!

А если здесь дождь идет, так не какая-нибудь унылая водяная крупа, которая медленно сыплется сверху, а лихой темпераментный ливень. Со склонов в такой день несутся бурные потоки, смывая в Кубань с огородов и картофель, и кукурузу, и вообще все, что может расти. Тогда на улицах столько грязи, что не пройти и шайтану. Человек — не шайтан. Человек, конечно, пройдет. Но только в крайнем случае. И, конечно, если продавщица магазина Зухра по знакомству снабдила его резиновыми сапогами...

Только одна улица в Кумыше заасфальтирована. Ее жители в первую очередь получают и жечь кровельную, и шифер, и штaketник, и все прочее. Но остальные кумышанцы на них не в обиде. Все понимают: по главной улице в основном следуют туристы. Со всех концов страны, даже из других стран они едут отдыхать в Теберду, в Домбай, в Архыз. Пусть любят главную улицу аула Кумыш, пусть видят, какая хорошая жечь на крышах, какой крепкий асфальт на дороге, какие ровные красивые заборы бегут за окнами автобусов. Кумышанцы довольны. Они-то давно знают, что нет на свете лучше аула. Пусть знают об этом и туристы, в том числе и иностранные.

В Кумыше, правда, маловато садов, зато его картофель славится на весь Карачай. Да что Карачай! Даже на ростовском базаре можно пайти кумышанскую картошку. А уж какую только картошку не везут в этот прожорливый Рос-

тов — из Воронежа, из Чуваший, из Тулы, из Курска! А истинные знатоки, роясь в мешках, ищут именно карачаевскую, кумышанскую...

Много достоинств у аула Кумыш. Но главное, конечно, жители. Правда, сами о себе они более скромного мнения.

Если, скажем, у фельдшера Ачея спросить о Дауте, то он так скажет:

— Наш Даут признает лишь одно лекарство: к двум наперсткам кипяченой воды добавить стакан вина...

В свою очередь Даут обещает Ачею:

— Когда в могилу ляжешь, на камне такие слова напишу: «Здесь лежит тот, благодаря которому вокруг лежат многие».

Даут дружит с Хаджи-Даутом, а Хаджи-Даут с Даутом. Большие они друзья, об этом весь аул знает. Но тот же Хаджи-Даут никогда не упустит случая, чтобы не рассказать, почему у его приятеля правое ухо распорото.

— Родился Даут, мой лучший друг, как и все люди, с двумя нормальными ушами. Когда в первый раз женился, тоже уши хорошие были. Но одной жены ему показалось мало. В молодости Даут большим гулякой был, совсем дома не сидел. Нет дров, нет зерна, сена нет, а он наряжался, как жених, и по аулам разъезжал — искал, где свадьба, где поплясать, где повеселиться можно. Раз исчез на целую неделю — в Хурзуке на свадьбу попал. Увидел там одну красавицу, влюбился в нее. А я приехал в Хурзук как раз в тот день, когда он сватался. Эта красавица Хорасан была единственной дочерью в богатом доме, бедняку она не досталась бы. Увидел меня Даут, подмигнул и спросил: «А как там мои стада и табуны?» И это говорил тот самый Даут, во дворе которого ни одна хромая овца не почевала, только ветер гулял. Пожалел я его тогда и ответил: «Не беспокойся, дорогой друг. И твои табуны, и твои стада, и твои отары — все они мирно в горах пасутся. Дома остались лишь старая кляча да тощая телка. Они что-то грустные. Видно, соскучились по тебе...» Я только намекнул, что мать и жена ждут не дождутся Даута, а он и слушать не хотел. В общем, помог я, глупец, Дауту. Напустил он туману в глаза братьев Хорасан. Решили они, что он богатый человек, выдали за него сестру. И в тот же день привез Даут в свой пустой дом вторую жену. А первая, не тратя времени на разговоры, разорвала ему ногтями ухо...

В свою очередь Даут с большим удовольствием рассказывает встречному и поперечному, отчего это его лучший друг Хаджи-Даут хром на одну ногу.

— В молодости мой почтенный друг,— сообщает Даут,— был почти так же глуп, как и сейчас. Однажды решил он отправиться в Мекку. Очень уж ему хотелось вернуться в Кумыш уважаемым хаджи с роскошным белым турбаном на голове. И меня уговорил с ним паломничать. Добрались мы до Турции. Есть нечего, идти дальше не можем. У турок так просто не набьешь свой живот. Надо было добывать себе пропитание. Свернули мы в первое попавшееся селение. Идем, смотрим, что плохо лежит. Видим, маленький приземистый домик, на столбе во дворе висит вяленое мясо. Мы глядим на мясо, а со двора на нас глядит черная громадная овчарка. Я, как увидел собаку, сказал: «Пошли отсюда. Такой зверь вмиг проглотит, не подавится». А Хаджи-Даут в молодости был почти так же упрям, как и сейчас. Ответил мне: «Я так есть хочу, что сам эту дворняжку могу проглотить. Останется хозяин и без мяса и без собаки». И полез. Руки к мясу протянул, овчарке это, конечно, не понравилось. Как она бросится на Хаджи-Даута! И мой друг, словно кошка, вскарабкался на крышу. Овчарка внизу бегаёт, а он по крыше. Смотрит, куда бы прыгнуть. Тут дверь домика открылась, и вышел турок-хозяин. Роста огромного, а в руке кинжал. Взял он лестницу, поставил к домику, кинжал — в зубы и полез наверх. А Хаджи-Даут мечется по крыше, не знает, куда деваться. Вдруг видит: седло ипачье на крыше валяется. Хватает он седло, целится в турка, бросает. Не обрадовался бы турок, если эта штука ему в голову угодила. Но аллах в ту минуту моего друга меньше любил. Когда Хаджи-Даут седло швырнул, один из ремней захлестнулся за его шею, и мой уважаемый друг полетел через турка на землю, упал и ударился коленом о единственный камень, который был на дворе! Следы от побоев и от собачьих зубов со временем исчезли, а вот нога на всю жизнь осталась кривой...

— Говорун несчастный! — так обычно называет Даута вдова Шамда.

Язык у нее — что острый кинжал. И в Кумыше мало смельчаков, которые решились бы ей перечить. Но Даут смолчать не может. Завидев Шамду, он каждый раз громко вопрошает:

— Если в озере Хурла поселится крокодил, как его оттуда изгнать?

И еще громче сам себе отвечает:

— Если в озере поселится крокодил, надо бросить к нему нашу Шамду. Вполне возможно, что крокодилу удастся убежать...

А Шамда непременно в таких случаях говорит Дауту: — Если вместо тебя на свет появился бы не ты, а какой-нибудь плоский камень, его хотя бы можно было в забор положить. Все польза была бы. А от тебя, несчастный, какой толк?

Хаджи -Даут в присутствии Шамды обычно молчит, и — странное дело — Шамда тоже избегает говорить о Хаджи-Дауте.

Зато Хаджи-Даут, встретив школьного преподавателя физкультуры товарища Текеева, обязательно отпустит какое-нибудь замечание. В последний раз он так сказал товарищу Такееву:

— Одна половина волос на моей голове поседела потому, что я много думал обо всем на свете. А другая половина поседела только потому, что я никак не могу понять, какой дурак разрешил тебе учить детей такой важной науке, как физкультура?

В ауле Кумыш тысячи жителей. Летом почти все уходят на колхозный сенокос. Мужчины, даже самые старые, даже наш древний Айдамбул, косят. Женщины, дети убирают сено, помогают косарям. После сенокоса приходит пора уборки картофеля, кукурузы.

Зимой кумышанцы работают на фермах, готовятся к весеннему севу. Весной снова выходят на колхозные поля, растят кукурузу, растят картофель и просят у неба хорошей погоды. И, конечно, круглый год ухаживают за скотом.

С прошлого года в ауле идут разговоры, что за мостом будет строиться крупнейшая в стране ГЭС. Старики-кумышанцы волнуются, хватит ли в ауле рабочих рук для такой большой стройки. Молодые кумышанцы озабочены тем, достаточно ли места в ауле, чтобы принять всех гостей, которые отовсюду приедут помогать строить.

Кроме этих причин, у Даута, у Хаджи-Даута, у Шамды, у товарища Текеева, у других кумышанцев есть немало других поводов для волнений и переживаний. Жизнь в Кумыше — как быстрая речка. Жизнь — как всюду, где есть синее небо и солнце...

3. Агаз и Хохалай

Среди кумышанцев нет такого, кто бы не знал Агаз и Хохалай.

Давно живет на свете Агаз. Чем больше старится человек, тем ниже, кажется, становится ростом. Все в нем

идет на убыль. Все становится меньше. Только не меняются руки. Сморщилась, высохла Агаз, а руки остались прежними — большими, натруженными, готовыми к любой работе.

Встретишь Агаз, хочется силой распрямить ее согбенную фигурку, хочется ладонями разгладить глубокие морщинки на ее лице. Много бед она испытала, много видела горя. Из большой семьи Агаз никто в живых не остался. Рядом один лишь внук Хохалай — сын старшего сына.

Живут Агаз с Хохалаем в маленьком домике, окруженном древним плетнем. С одной стороны к домику пристроен низенький хлев, с другой — высокий курятник. В хлеве вот уже много лет обитают три тощие козы. В курятнике пусто. Зимой его, правда, заселяют бойкие вороны, ждут в нем весны. А когда особенно холодно, в курятник забредает беспризорный щенок. Хоть он и невелик ростом и неширок костью, все же считает, что вместе с воронами в курятнике ему места мало.

Утром выходит Агаз во двор, видит коченеющих на снегу ворон и тут же спешит к курятнику.

— Где твоя совесть, негодник! Совсем, что ли, сердца нет у тебя? — отчитывает Агаз свернувшегося калачиком щенка. — Смотри, как замерзли несчастные птицы! Что они у тебя отнимут, если переночуют рядом в тепле? И как к тебе сон приходит, когда ты тут как князь развалился, а они всю длинную ночь на морозе тряслись?

Услышав голос Агаз, щенок догадывается, что пришло утро. Он открывает глаза, неторопливо, с достоинством, будто слова старушки к нему не имеют никакого отношения, выбирается из курятника, невозмутимо и молча оглядывает нахохлившихся от обиды ворон, смотрит на старую хозяйку и только тут, будто смутившись, опускает взгляд — признается: «Твоя правда, бабушка. Кажется, этой ночью я поступил не лучшим образом».

Маленький хитрец не уходит. Он смиренно, не шевелясь, ждет, лишь хвостом дружелюбно крутит. Щенок знает, что будет дальше. Высказав свое самое строгое осуждение, добрая Агаз вернется в дом и вскоре вынесет осознавшему свою вину проказнику что-нибудь вкусное на завтрак...

Не любит Агаз, как нередко это делают старые люди, вспоминать, что в былые годы, в молодости они сворачивали горы. Гор Агаз никогда не трогала. Но всю жизнь для ее рук находилось дело. И нынче Агаз своим трудом кормит себя и внука. Она вяжет носки, пуховые платки.

Шамда, большой специалист по торговым делам, после каждой поездки на базар говорит:



— Твои вещи, мама, прямо с рук хватают. Но зачем ты вяжешь для продажи из таких хороших ниток, что и для себя?

Агаз в таких случаях не отвечает. Как объяснить Шамде, что и чужие люди, покупая на базаре платок, тоже хотят, чтобы он был легок, как пушинка?.. Начнешь ей объяснять, а у Шамды один ответ: «Непрактичная ты, мама».

Младший сын Агаз, дядя Хохалая, был женат на Шамде. Много лет назад это было — муж Шамды, оставив ее и дочь Зубайду, ушел на фронт и не вернулся. Второй раз вышла Шамда замуж, родила вторую дочь Баблину, овдовела снова, но любит Агаз по-прежнему — как невестка — и называет ее по-прежнему «мамой». Не многих любит Шамда, а если кого-нибудь любит, можно не сомневаться — очень хороший это человек.

Давно живет на свете Агаз. Чем больше человек живет, чем больше он знает, тем больше забывает. Забывает, что узнал и что видел. Но ничего не забыла, все помнит Агаз. Бережно хранит в памяти не только свое прошлое, но и прошлое всех аульчан, прошлое всего своего маленького народа. По пальцам может перечесть все светлые и все мрачные дни, что выпали на долю Карачая. О чем угодно спроси, обо всем Агаз сумеет рассказать. О том, откуда пришел к берегам Кубани родоначальник карачаевцев Карча, о первом переселении горцев в Стамбул, о том, как наиб Шамиля собирал в горах Карачая войско, о том, как пришла в аул Советская власть, как возникали колхозы. О чем угодно спроси, на все есть ответ у старой Агаз.

Иногда кумышанцам кажется, что бабушка Агаз помнит не только прошлое, но и знает будущее.

Года два назад в Карачае стояло необычайно знойное лето. На склонах выгорела трава, на корню сох урожай, мельчали реки. Чего только не делали находчивые кумышанцы, чтобы дождь хоть раз с неба выпал! И осла Айдамбула, искупав в реке, заставляли глядеть в зеркало. И под хвост ему усердно плевали, и в левое ухо. Хоть бы капля с неба упала!

Тогда кумышанцы вспомнили совсем старый способ. Нужно было где-нибудь добыть правый женский сафьяновый чувак и бросить его в реку в самом глубоком месте. Чуваков в ауле хватало, но для задуманного дела подходил лишь чувак молодой женщины, которой довелось родить незаконно. Двое проворных парней со смехом отправились выполнять наказ стариков — на молочной ферме работала дояркой дочь Расула красавица Патия. Парни незаметно выкрали

ее правый чувяк. Поскольку Патия родила без мужа не одного, а даже двух детей, старики полагали, что дождь выпадет непременно.

Однако дождя не было. И тогда Агаз сказала кумышанцам:

— Люди добрые, все грехи может простить аллах, но вражды к ближнему не прощает. В нашем ауле есть недовольные друг другом. Есть такие, кто поссорился, кто завыстничает. Пусть выбросят камень из-за пазухи. Пусть живут в мире. Не давайте над собой смеяться шайтану. Тогда и трава будет зеленеть, и деревья цвести, и урожай наливать...

Агаз была права. На каждой улице нашлись сердитые друг на друга. Хотели они этого или не хотели, пришлось помириться. За два дня помирили всех. Собрались аульчаны в центре аула на Синем холме, где обычно решаются важнейшие общественные дела, отметили маленьким торжеством свое примирение.

— Хорошо нам Агаз подсказала! — заявил Даут, в который раз поднимая наполненный рог. — Даже если аллах и не пошлет нам дождя, доброе дело мы совершили. Пусть в Кумыше никогда не будет ссор! Я лично больше никогда не собираюсь ссориться со своим другом Хаджи-Даутом, хотя он на удивленье несносный человек...

Даут, правда, своего слова не сдержал и уже к вечеру из-за какого-то пустяка повздорил со своим соседом. Но аллах оказался более последовательным. Не успели кумышанцы разойтись с Синего холма, как, к негоднованию неприимимого борца с суевериями школьного физрука товарища Текеева, пошел сильный дождь.

С тех пор многие считают бабушку Агаз доброй вещуньей. И кто бы ее ни повстречал, ей желают:

— Пусть еще долгой будет твоя тропа на земле, Агаз!

Агаз с удовольствием слушает такие пожелания. Ей пока и в самом деле никак не с руки умирать: Хохалаю еще год в школе учиться. И когда еще он прочно на ноги станет — один аллах знает. А Агаз мечтает дожить до этого дня...

Хохалай перешел в десятый класс, а его сверстники давно уже кто в институте, кто в техникуме, кто в колхозе трудится. Не лень помешала Хохалаю, болезнь помешала. Иногда вдруг заколет в сердце, и приходится неделями оставаться в постели. Фельдшер Ачей долго уверял, что болезнь не страшная. Давал Хохалаю всякие лекарства. Но сердце у парнишки продолжало болеть. И однажды Ачей

вызвал врача из города. Бабушка Агаз в тот день долго плакала — если в Кумыш едет городской «дохтур», дело, значит, плохо.

Но симпатичная пожилая женщина, приехавшая из города, уходя, сказала:

— Зря плачешь, бабушка. С такой болезнью сто лет жить можно. Однако мальчик должен беречь себя. Нельзя, например, много бегать. Нельзя перегружать себя тяжелой работой. Нельзя волноваться. Нельзя простужаться...

С тех пор Агаз, как может, бережет Хохалаю. Не разрешает коз накормить. Все делает сама. А с чем не справляется — помогают соседи.

Хохалай сердится, спорит, но Агаз непреклонна.

— Дитя мое,— говорит она,— сиди спокойно или лежи, и себя погубишь, и меня несчастной сделаешь.

Хохалай знает, если упорствовать, бабушка Агаз начнет плакать. А что может быть хуже, если плачет самый добрый в ауле человек? И внук уступает.

Хохалай тонок и высок. И волосы его, и брови, и даже ресницы совсем белые. Таким родился. В ауле его обычно зовут Белоголовым...

Старые кумышанцы выделяют Хохалаю среди других парней. Они уверены, что Белоголовому служат белые джинны. Эти тайные помощники есть у каждого особенного человека. Молва о джиннах родилась не только потому, что Хохалай белый как лунь. Кумышанцев поразило, что юноша сумел изучить арабское письмо и может теперь читать Коран не хуже самого эфенди Ожая.

Старая одноглазая Гоштай часто говорит о Хохалае:

— Верьте мне, люди. Не простой это человек. Необыкновенная его ждет судьба — аллах свидетель! Знаю, есть у него эти самые слуги. Есть.

Никто из женщин не продолжает разговор — о джиннах вслух не принято говорить, иначе можно нанести вред их хозяину. Да разве Шамду кто удержит!

— И-и-й! Гоштай! — говорит она. — Откуда ты знаешь, что у него есть эти самые слуги? Мы, двуглазые, ничего такого не замечаем, а как же ты их сумела разглядеть одним своим глазом?

— Такое, уважаемая Шамда, человек видит не глазами, а сердцем,— робко возражает Гоштай и смолкает. Она не хуже других знает, что такое связываться с Шамдой.

Сам Хохалай, услышав о своих тайных слугах, улыбается и молчит. Существования белых джиннов он не обнару-

жил, но, сказать по правде, не отказался бы от таких всемогущих и преданных слуг.

«Прежде всего я приказал бы им,— думает Хохалай,— чтобы бабушка никогда не болела. Гоштай прозрела бы на второй глаз, Хаджи-Даут перестал бы хромать, а Даут бросил бы так пить. А Шамда никогда бы не затевала ссоры. Из больницы выписались бы все больные, исцелившись от всех своих недугов. И еще — чтобы нашли лекарство для моего собственного сердца...»

Но белые джинны никак себя не проявляли, и Хохалай много думает о своем будущем. Старая Агаз часто говорит, что после школы он должен подыскать себе спокойное легкое дело: с больным сердцем шутить нельзя. Хохалай и не собирался шутить. Он всерьез перебрал множество профессий, и каждый раз возвращался к одной и той же мысли — как стать писателем?

Конечно, своими раздумьями он ни с кем не делился, но в свою комнату поставил маленький, на трех ногах столик, потом соорудил полку и заставил ее книгами карачаевских писателей. Перечитав все эти книги, сравнивал одну с другой, но так и не понял, у кого из писателей лучше слог, кому стоит подражать, у кого надо учиться. Думал, думал и решил — учиться нужно у всех, а подражать никому не нужно.

Как-то Хохалай спросил у Зубайды — учительницы литературы и русского языка, какую книгу в карачаевской литературе следует считать самой интересной, самой умной, самой лучшей. Зубайда сказала, что ответы на такой вопрос будут разными. Кого ни спроси — каждый ответит по-своему. Книга, которая нравится одному человеку, другому может показаться совсем неинтересной.

— Значит, такой книги, которая понравилась бы всем сразу, нет?

— Нет! — уверенно заявила Зубайда. — Такую книгу написать нельзя.

Хохалай не стал говорить, что не согласен с учительницей. Если нет такой книги у карачаевцев, рано или поздно кто-нибудь из писателей ее напишет, решил он.

Такая книга поможет людям жить лучше и красивей. Прочитав эту книгу, слабые станут сильнее. Слишком твердые люди — твердые и холодные как камень — станут теплей и мягче. Слишком мягкие, рыхлые станут тверже. А люди надменные, заносчивые станут проще и человечней.

Не имеет значения, какой будет эта книга — большой или маленькой, толстой или тонкой. Хохалай не представ-

ляет, о чем будет говориться в этой книге. Главное — чтобы она обладала чудесной силой изменять людей. делать их лучше.

Хохалай подозревал, что написать такую книгу — совсем не легкий труд. Не для больного сердца. Сколько знать нужно, сколько видеть, сколько работать! Сколько слов перебрать, чтобы выбрать из них одно-единственное, самое точное, самое верное. Со спокойным сердцем такую книгу нельзя написать. Но ради такой книги можно отдать и сердце...

Мечтает Хохалай о будущем, мечтает о волшебной книге. На полке у него появилась толстая, спитая суровыми нитками тетрадь в синем клеенчатом переплете. И часто тихим вечером Хохалай достает эту тетрадь, раскрывает ее, заносит перо над листом бумаги...

Не в этой ли синей тетради возникнут строчки самой лучшей книги карачаевского народа? Этого Хохалай еще и сам не знает. Но мечтать должен каждый...

4. Даут и Хаджи-Даут

В двух шагах от домика бабушки Агаз по обеим сторонам Синего холма стоят еще два дома — оба крыты красной жестью, оба обнесены каменными заборами. Дома прячутся в глубине дворов за грушевыми деревьями. Смотри, пока глаза не заболят, не увидишь между домами никакой разницы.

В прошлом году от ветра ли, от снега ли, от дождя ли покосилась высокая труба одного из домов. А через малое время — заметили кумышанцы — начала крениться и труба второго дома. Эти дома-близнецы — самые первые дома в Кумыше. Но вот хозяева их отличаются друг от друга, как утро от вечера. Один такой длинный и тощий, что кажется, его можно вместо моста через Кубань перекинуть. Другой, если даже на цыпочки встанет, до пупа первого не дотянется. Зато ремнем его штанов можно обмотать раз пять длинного.

Того, что тощ, как копченое ребро, зовут Даутом, сыном Мырзы. Имя второго, толстого, — в два раза длинней, Хаджи-Даут, сын Кара-Мырзы. Своего соседа Даута он так и называет — «половинка моего имени».

Даут, как и в молодости, любит погулять, побывать в гостях, посидеть на чьей-нибудь свадьбе. Хаджи-Даут, напротив, известный всему аулу домосед. Даут говорит, что

его приятель не любит в гости ходить, так как не знает, пройдет через чужую дверь или застрянет в пей. В отместку Хаджи-Даут уверяет, что пусть в чужом доме даже дверь заперта, но если в нем к празднику готовятся, Даут через окно пролезет. А если и окна закрыты, то он и в трубу просунется.

Приятели всю жизнь рядом живут, всегда пополам кусок хлеба делят, но спорят и ссорятся не переставая. Говорят, дух противоречия вселился в них в тот день, когда еще мальчишками они впервые поднялись в горы, в кош пасти скот. Заспорили, кому готовить обед. Спорили долго. Наконец бросили жребий. Выпал жребий на Хаджи-Даута. Стал он печь лепешки.

— Как ты думаешь,— спросил вскоре Хаджи-Даут друга,— готовы лепешки?

— Что ты! — запротестовал Даут.— Им еще долго надо быть на огне.

И лепешки оставались в печи, пока не сгорели.

На другой день засучил рукава Даут.

— Наверное, рано еще вытаскивать лепешки? — решил он узнать мнение Хаджи-Даута.

— Какое там рано! Вытаскивай скорее!

На этот раз они жевали сырые лепешки.

С того дня так и пошло — один скажет, другой возразит. Но и жить друг без друга не могут. Бывает, сильно поссорятся, долгое время друг от друга отворачиваются. Но каждый тайком ищет пути к примирению, хотя на людях, услышав имя соседа, плюет против ветра...

Но есть слово, достаточно произнести которое, чтобы старики сразу забыли о своих обидах. Слово это — Мустафа. Так звали их друга.

Старые аульчане знают, что искалеченное ухо Даута не имеет никакого отношения к его женитьбе на Хорасан, как и хромая нога Хаджи-Даута к походу в Турцию. Все трое — Даут, Хаджи-Даут и Мустафа — были на фронте. Одна пуля попала в Даута, другая — в Хаджи-Даута, а третья укоротила жизнь Мустафы,— так и не зажила рана, с которой он вернулся.

Мустафа был сыном старой Агаз, отцом белоголового Хохалая. И старики, проводившие Мустафу в последний путь, считают теперь Хохалая своим сыном. Какой бы сильной ни была их ссора, услышав разговор о Мустафе, они начинают вспоминать, как дружно жили-были втроем. Их глаза увлажняются, и, не сговариваясь, они затягивают

песню-плач в память лучшего друга, который слишком рано их оставил и лежит теперь в земле...

Даут живет припеваючи. Ему — хорошо, у него в доме золотая хозяйка Хорасан. Даут может выпить и потом беззаботно лежать, глядя в потолок. Хаджи-Даут же на все один. Ему лежать некогда. Давно умерла его жена, да будет земля ей пухом. Сын Мурат, учитель, весь день в своей школе, для дома совсем времени не находит. Вот и приходится Хаджи-Дауту крутиться с утра до вечера.

Десять лет назад, когда друг остался один, Даут в первый раз предложил:

— Давай хорошо глянем по сторонам: дому твоему хозяйка нужна. Мурату — мать, тебе — жена...

Рассердился тогда Хаджи-Даут, счел слова приятеля совсем неприличными: ноги первой жены в могиле еще и остыть не успели, а ему предлагают привести в дом другую женщину!

Года через три Даут во второй раз посоветовал другу присмотреться к кумышанским вдовам. Но и на этот раз Хаджи-Даут отказался, хотя и не так горячо.

В третий раз Даут заговорил о женитьбе Хаджи-Даута в прошлом году. Тогда Хаджи-Даут не сказал ни «да», ни «нет». Похоже, он был не против, если бы Даут стал настаивать. Но Даут настаивать не стал.

Чем дольше Хаджи-Даут думал, тем больше понимал, что его друг, когда советовал жениться, был трижды прав. Дом его пуст, нет в доме женской руки. Мурат, балбес образованный, уперся, как ишак перед гололедом, — не желает жениться, хочет ехать в Москву продолжать учебу. Думал-думал Хаджи-Даут, но не знал, как поступить. Самому начинать разговор с Даутом на эту тему было неловко. А друг, как на грех, молчал.

В последнее время Хаджи-Даут, правда, частенько пытался направить разговор в нужную сторону, но Даут, болтливый Даут, говорит о чем угодно, только о кумышанских вдовах молчит упрямо, словно рот свой кукурузным толочком набил.

Долго ждал Хаджи-Даут. Наконец решился. Набрался храбрости, надумал — сегодня, ни днем позже, пойти к другу, попросить помочь. Больше просить некого.

Рано поднялся Хаджи-Даут. Солнце еще не всходило. «Нельзя еще идти к Дауту, — сообразил старик. — Засмеет. Скажет, разве горит у тебя там? Пожар, что ли? Чуть свет приковылял...»

Возится Хаджи-Даут во дворе. Провожает минуты, часы.

Выправил скособочившийся забор, уложил свалившиеся камни. Осмотрелся, что еще бы сделать. Но делать вроде бы нечего — все на своем месте. Чисто прибрано во дворе.

Подумав, Хаджи-Даут идет в хлев к пестрому круторогому быку. Не первый год откармливает его сын Карамырзы. С каждым днем тяжелеет Пестрый, набирает жира. К коровам Хаджи-Даут его давно не пускает, чтобы силу и вес не терял. И пастись не пускает, дома на привязи кормит.

— Пестрый, Пестрый,— бормочет старик, поглаживая жесткую бычью шерсть.— Пусть сколько угодно именитых гостей соберется в наш дом в день свадьбы, не стыдно будет твоему хозяину. Никто не скажет, что у него бедный стол, если ты будешь на этом столе. Все довольны, все сыты будут. Не в каждом доме едали такого мяса...

Честно говоря, Хаджи-Даут готовил Пестрого к свадьбе Мурата. Но если сын настоит на своем и на два года укатит в Москву, не выдержит бык, лопнет от жира. Это показалось Хаджи-Дауту еще одним весьма важным обстоятельством в пользу собственной женитьбы.

— Не сердись, Пестрый,— говорит старик, ласково почесывая быка,— не сердись. Сам я решил жениться. Если благословит аллах и если Даут поможет, соберутся у нас шумные гости, будут пить и плясать, будут желать нашему дому счастья. Ничего мы для них не пожалеем, все на стол выложим. И войдет в дом хорошая женщина. Самая лучшая в Кумыше. Давно на нее смотрю. А кто она, как ее зовут — ни тебе, ни даже Дауту не догадаться...

— Эй, Хаджи-Даут, где прячешься? — вдруг с улицы раздался голос Даута.— Спишь, новость не знаешь!

— Не сплю я,— отозвался Хаджи-Даут, выходя из сарая.— У меня тоже новость есть. Поговорить с тобой надо, Даут.

— Каждый день говорим. Твоя новость подождет,— возразил приятель, возвышаясь над забором.— Идем скорей к Агаз. Хохалай с курорта этого приехал!..

5. Снова дома (из Синей тетради Хохалая)

Быстро катит по асфальту новенький чистенький «Запорожец». Его хозяин — румянощекий добродушный горец, получивший эту машину за свой знатный труд, уверенно держится за баранку. Я сижу и удивляюсь — как этакий верзила умещается в тесной железной коробочке?

Июнь. Трава долин и склонов зелена-зелена. На горах ключья утреннего тумана, поэтому горы кажутся синими. Уже виден родной аул. Узкий, длинный, прежний, он вытянулся между линией гор и дорогой. Белые дома поднимаются к подножьям, а кое-где взобрались даже на склоны.

«Милый человек, лихоусый повелитель руля! — мысленно я обращаюсь к водителю. — Добрый молчаливый владелец четырех прекрасных колес! Ты привез меня в мой аул, к моим землякам. В первый раз я расстался с ним на много дней и теперь снова возвращаюсь. За горами у теплого моря я целый месяц лечил свое сердце. Мурат Хаджидаутович, мой учитель географии, достал путевку. Я не знаю, здорово ли теперь мое сердце, будет ли оно еще когда-нибудь болеть, но сейчас оно хорошо бьется. И я думаю, нигде оно не будет биться лучше, чем здесь, среди этих гор, у этой реки, в этом ауле, в маленьком белом домике, где ждет меня, где днем и ночью молится за меня самый близкий, самый дорогой человек — бабушка Агаз.

Друг, хозяин этого великолепного мотора! Ты ведь незнаком с бабушкой Агаз. Останови стремительный бег своей машины, войди со мной в мой дом, отдохни под моим кровом, посмотри, какая у меня бабушка. Посмотри, как она будет счастлива, когда я обниму ее и, наклонившись, прижмусь щекой к ее щеке. И по морщинкам бабушки будут непременно катиться слезы...

Торопишься? Понимаю, дома тебя ждут дорогие тебе люди. Верю тебе. Что ж делать? Прощаюсь с тобой, желаю тебе счастливо доехать. Я уже знаю — тебе не доставляет радости разговор на дороге с автоинспектором. Пусть на твоём пути домой не встретится ни одного автоинспектора, хотя это тоже весьма достойные люди! И знай, мой лихоусый новый друг, этот дом отныне будет и твоим домом. Не проезжай мимо, когда у тебя будет свободное время!..»

Через час-другой в нашем доме собрались самые уважаемые аульчане. Будто не я, Хохалай, приехал. Будто в аул вернулся после долголетней разлуки старый, известный всем человек. Айдамбул к нам пришел, и Даут, и Хаджи-Даут, и Шамда, и Гоштай, и многие другие кумышанцы. Я понимаю, это не мне оказана честь, это земляки выражают свое почтение доброй бабушке Агаз, всему нашему роду. Но все равно хорошо! И все говорят со мной, как со взрослым, знающим человеком. Много вопросов мне задают земляки. А я сам хочу узнать все аульские новости — шутка ли, целый длинный месяц не был дома! Но я не в лесу

глухом рос — обычаи знаю. Зря волнуется бабушка, никогда ее не подведу...

Ачей, нашего фельдшера, интересовали успехи курортной медицины в области излечения сердечно-сосудистых заболеваний.

— Врачи в этой области, — говорю я, — добились прекрасных результатов. Прямо чудеса совершают с человеческим сердцем. Туда приезжают совсем больные люди, первые дни в палате пластом лежат, а к концу лечения бегают, прыгают, в море купаются и по ночам даже в окна лазают, когда поздно в санаторий возвращаются...

— И это с больным-то сердцем? — ужасается бабушка Агаз.

— После одиннадцати вечера двери на замок закрываются — с любым сердцем полезешь.

— Ясное дело, там больное сердце не помеха, — вдруг вмешивается Даут. — Там врачи настоящие. Такие врачи от головной боли слабительного порошка не дадут.

Вижу, наш Ачей начинает хмуриться, и спешу исправить положение:

— Думаю, дело в том, что там условия городские. Все лекарства там есть, аппараты, лечебные ванны. Медицинские журналы регулярно приходят. Если бы такие условия были в нашем ауле, и на курорт ездить не надо. Врачи везде одинаковые. Везде людям помогают.

Ачей, гляжу, улыбается и маленьким кулачком в такт моим словам по колену постукивает. Доволен.

— А насчет желудочных таблеток, — заканчиваю я, — так мне там тоже давали, когда живот болел.

Тут бабушка Агаз снова пугается.

— Болел живот? А как кормили-то там? Чем кормили?

— Хорошо кормили, вкусно. На завтрак, на обед, на ужин подавали то говядину, то птицу, то баранину, то рыбу. А свинины, аллах свидетель, и духу не было.

Бабушка успокаивается. Зато Шамда рот раскрывает. Ее интересует самая подробная торговая информация — что в магазинах купить можно.

— Все можно купить, — объясняю. — И пейлоновые рубашки, и плащи болонья, и даже японские зонтики. Очередей никаких нет.

Долго Шамде рассказываю. Никто не перебивает, все внимательно слушают.

— А на толкучке был? — продолжает допрашивать Шамда.

— На толкучку я не ходил. Зачем туда ходить, когда

и так известно — там все достать можно, чего пожелаешь. Только в разобранном виде.

Шамда таких шуток не понимает.

— Зачем мне экскаватор, да еще разобранный? — говорит она. — Я тебя просила две застёжки «молнии» подлинней привезти.

— Привез, — говорю. — Только не две, а три.

Шамда удовлетворена полностью. Наступает очередь Гоштай. Она где-то слышала, что на курортах люди совсем раздетые ходят. И мужчины, и женщины, и старики, и дети. Шутка это была? А если не шутка, почему они прилично не одеваются, если в магазинах всякой одежды полным-полно?

— Жарко на курорте, — отвечаю Гоштай. — С утра до вечера солнце. Вот люди и раздеваются, подставляют себя солнечным лучам. На весь долгий год — от лета до лета — солнышка набираются.

— Совсем голые? — любопытствует Гоштай.

— Не совсем голые, а частями. Штанов, рубашек, платьев нет. Вместо них тряпочки всякие. Где побольше, где поменьше. Чем ярче, тем лучше.

— Так стыдно же! — возмущается Гоштай, и бабушка Агаз согласно кивает.

— Не стыдно. Ничего такого ни у кого не видно. Все прилично. Люди там привыкли. Особенно на пляжах, на берегу моря.

— У моря — это понятно, — соглашается Гоштай. — Особенно если мужчины и женщины отдельно лежат, друг друга не видят. Как в банях, например.

— Вместе лежат. Вперемежку, как попало. Вместе в море купаются, но все равно не стыдно. Просто у курортной одежды такие фасоны — чем меньше ткани, тем лучше. Но все вполне пристойно.

Вижу, не понимает Гоштай, поджимает губы, смотрит на Даута, будто примеривается, как это его можно пристойно раздеть. Даут замечает и говорит:

— А что, Гоштай? Хохалай прав — если там такая жара, что на солнце можно яичницу жарить, так лучше штаны снять. Без них легче.

— Позови, когда снимать будешь, — просит Хаджи-Даут. — Давно к нам в клуб цирк не приезжал...

Чувствую, наш степенный разговор приобретает совсем несолидный характер. Смотрю на Айдамбула. Самый седобородый из всех кумышанских стариков все понимает. Начал Айдамбул говорить, и все смолкли. А мои уши, кажется,

сами по себе оттопырились, чтобы не пропустить ни единого слова. Гляжу не в глаза Айдамбула, а в его бороду — так, наверное, правильнее всего выразить высшую степень внимания и почтения.

Айдамбул, отметив острогу моего взгляда на жизнь и не выразив по этому поводу ни одобрения, ни осуждения, заявляет, что белоголовый внук его покойного друга и сын тоже покойного Мустафы — мир праху их! — подробно рассказал о городе, о море, о красоте той земли, где прожил немало дней, но ничего еще не сказал о жителях. Вот о них и желал бы услышать он, Айдамбул.

Я, по правде говоря, растерялся, не знал, что именно интересует Айдамбула. Тогда старик короткими точными вопросами мне помог — на каком языке, мол, говорят эти люди, какому богу молятся, есть ли там мусульмане, есть ли что-нибудь общее у тех людей с нами, горцами, в обычаях, в одежде, в чертах лица?

Я отвечаю легко, не задумываясь, но понимаю: Айдамбул куда-то клонит, вопросы задает неспроста.

— А чем же все-таки заняты руки, ноги, головы этих людей? — продолжает допрашивать Айдамбул. — Чем живы они? Чем кормятся? Где хлеб их насущный?

Рассказываю о занятиях городских жителей, о морском порте, о рыболовстве, об окружающих город виноградниках, об аппаратах для продажи газированной воды...

— Да-а! — снова говорит Айдамбул. — Хорошо они там живут. Чудесный город, мальчик! Оллахий, чудесный. Хоть хвали его, хоть не хвали — все равно чудесный. А раз он все равно чудесный, то не хвали его, мальчик. Слушаю я, слушаю и думаю — нет, не затащить меня в этот чудесный город жить. Даже быками не затащить. Потому, что я здесь, в горах родился. Я в этом чудесном городе несчастным стапу, последним человеком стану. Легкая жизнь в этом городе. Даже на улицах железные бочки сами прохожим стаканы протягивают. От такой легкой жизни обленюсь я, ожирею, до земли живот вырастет. Пусть на деревьях там много плодов висит, рука за ними к ветке от лени не протянется. Пусть цветет этот город у моря. Пусть счастливо живут рожденные в нем люди, они счастливы будут только там. А я буду счастлив только здесь, в горах, в своем ауле. И дерево, и человек хорошо живут только на той почве, где выросли. На родной почве. Понятно я говорю, мальчик?

6. Вечер

Весь день Хохалай раздумывал над словами Айдамбула. Старый, мудрый, древний Айдамбул, качавший на коленях и самого Хохалая, и отца его, задал трудную загадку. Почему это обычно неразговорчивый старец нынче сказал столько слов? От какой болезни лечил он Хохалая? Чем заразился у моря белоголовый внук Агаз?

Может быть, самому седобородому показалось, что веселый приморский курортный город своим праздным блеском ослепил Хохалая? Может быть, ему — неутомимому труженнику — представилось, что внук доброй Агаз позавидовал этой легкой жизни, ленивым пляжам, богатым магазинам, бесчисленным закусочным, из которых с утра до вечера так и тянет вкусным запахом шашлыка? Может быть, в простоте душевной, желая поразить земляков, Хохалай так разукрасил городскую жизнь, что Айдамбул заподозрил «измену»?

Если так — мудрый Айдамбул ошибся. Хохалай больше всего на свете любит родной аул, бабушку Агаз, его — Айдамбула, всех своих земляков.

До вечера не пустел двор старой Агаз. Уходили одни аульчане. На смену им приходили другие.

— Пусть аллах сохранит в этом доме счастье! — желали старики. — По счастливому поводу посетили мы твой дом, Агаз. Пусть и дальше мы будем приходить, чтобы поздравить тебя с радостью. Да настанет день, когда мы придем поздравить тебя с женитьбой белоголового внука, с рождением первого правнука, и второго, и третьего, и седьмого, и девятого...

Хохалай слушал и улыбался. Он еще никогда не думал, сколько у них с Баблиной будет детей. Но девять — это, пожалуй, многовато.

Бабушка Агаз для всех находила добрые слова. Не забывала она и пригласить вечером к себе на курманлык — отведать кусочек барана, принесенного в жертву счастливому дню.

— Может, в этом кусочке счастье припрятано, — улыбалась Агаз гостям. — Да прибавится оно к вашему счастью, дорогие соседи...

К вечеру пришли Мурат и Азрет — сыновья Хаджи-Даута. Им Агаз поручила резать, освежевать барана и повесить котел над костром, уже пылавшим во дворе. Парни быстро и ловко справились с делом, уселись у костра и стали расспрашивать Хохалая о поездке к морю.

— А ну-ка, сними рубашку! — скомандовал Мурат. — Сильно загорел? А как мускулы? Занимался зарядкой?

Азрет заинтересовался другим.

— А как там насчет народонаселения? — спросил он Хохалаю. — Много ли хорошепких девушек?

Мурат недовольно нахмурился. И Азрет посоветовал ему заткнуть уши.

— Учитель твой заткнул уши, — улыбаясь, сообщил он Хохалаю. — А мог бы и не затыкать. Ты уже без пяти минут жених. Может быть, даже раньше Мурата женишься.

Подложив в костер хворост, Азрет продолжал:

— Вот скажи, сколько там, по-твоему, приходится молодых курортниц на одну мужскую душу?

— Я не подсчитывал, — признался Хохалай.

— Эх, что же ты наделал! — рассмеялся Азрет. И даже Мурат начал улыбаться. — Как же я теперь поеду на курорт? Если бы я твердо знал, что на одного такого видного мужчину, как я, приходится по крайней мере три молоденьких курортницы, то следующим летом...

— Хватит с тебя одной Зубайды! — сказал Мурат. — Вот она идет.

— Где? — вскочил Азрет, и из костра посыпались искры.

Хохалай и его учитель расхохотались. Зубайды еще не было, но первые гости уже действительно появились. Они рассаживались за длинным столом на дубовых скамейках. Когда все собрались, Азрет и Мурат подали на стол угощение. Айдамбул произнес первый тост, и начался добрый курманлык в честь возвращения Хохалаю в аул...

Рано разошлись гости на этот раз: летняя ночь коротка, день летний долог. Надо было всем хорошо выспаться, утром ждала работа.

Хохалай за день устал, но сон не шел. Внук Агаз спрашивал сам себя — о чем думает, и понимал: думает снова о ней, о Баблине. Весь день вспоминал. Вспоминал там, на море.

Все пришли на курманлык. Она не пришла — не могла прийти. Шамда пришла, Зубайда пришла — двоюродная сестра Хохалаю. А Баблине не положено, хоть она и родная сестра Зубайды. Хохалаю же она никто, потому что Баблина — дочь Шамды от второго мужа. Хохалай знает, что Баблине очень хотелось прийти. Но нельзя, не позволяли приличия. В глазах кумышанцев — кто она Хохалаю? Только одноклассница, больше пока никто.

Но сами Хохалай и Баблина хорошо знали, кто они друг другу. Когда девушка училась в седьмом классе, внук

Агаз был в девятом. Она перешла в восьмой, он задержался еще на год в девятом. Она окончила восьмой, он перешел в десятый. Снова болел, снова остался. Она догнала, перешла в десятый. Теперь им предстоит учиться вместе еще год. Одноклассницы Баблины твердо уверены, что Хохалай нарочно в каждом классе по два года сидел, чтобы дать ей догнать себя.

Еще в восьмом классе Хохалай красными чернилами, чтобы было похоже на кровь, написал стихи. До сих пор он помнит эти строчки:

Если есть ангел, что тихо ласкает
Светлым крылом вышину,
То он похож, это точно я знаю,
Лишь на тебя на одну...

Стихи свои Хохалай упаковал в красивый конверт, конверт вложил в книгу, книгу обвязал розовой лентой и подарил Баблине в день Восьмого марта.

До этого Баблина и не предполагала, что обладает сходством с ангелом. Ей казалось, что ангел скорее всего должен походить, например, на киноактера Вячеслава Тихонова, но только с крыльями на спине. Однако Хохалай считался в школе начитанным и умным мальчиком, и если он так написал, значит, и в самом деле существовало какое-то сходство между ангелом и ею, семиклассницей Баблиной...

Стихи Хохалай девушка никому не показала, но вся школа и без этого узнала, что белоголовый внук Агаз влюбился: на его лице при виде Баблины достаточно отчетливо проявлялись все чувства, а лицо, как известно, в конверт не спрячешь.

Через год, когда Хохалай как-то зашел к Баблине в класс, кто-то из шутников написал на доске: «Хохалай плюс Баблина равняется любовь». Хохалай хорошо помнит, как растерялся и покраснел тогда. Помнит он и как спокойно встала Баблина, подошла к доске, взяла мел и ниже — тоже очень крупно — дописала: «Совершенно верно!», а потом повернулась к ребятам, постояла молча и пошла к своей парте. И все тоже молчали. А тут вошел Мурат Хаджи-Даутович, был урок географии, посмотрел на доску, сам взял мел и приписал еще три слова: «Пусть будет вечной!» И начал урок...

Лежит Хохалай, ждет, но сон не идет. Лежит Хохалай, ждет, а утро уже совсем близко. Хохалай знает, что дождется, пока солнце поднимется достаточно высоко, чтобы не было слишком рано. Тогда он пойдет вверх по улице. Не доходя до Синего холма, свернет направо. Пройдет пере-

улок, в конце которого будет стоять высокий кирпичный дом. Он откроет калитку, не торопясь пересечет двор, войдет в дом и спокойно скажет:

— Доброе утро, Шамда!

— Здравствуй, гость ранний,— улыбнется хозяйка.— Зубайда, посмотри, кто к нам пришел!

Из комнаты выглянет Зубайда, тоже улыбнется Хохалаю.

— Здравствуй, Хохалай. Ты, конечно, пришел узнать, как я живу?

Шамда и Зубайда станут смеяться, Хохалай будет молчать. И тут выйдет Баблина. И будут они говорить так, будто расстались только вчера. Но Шамда и ее старшая дочь не могут долго сидеть без дела, и скоро Хохалай с Баблиной останутся одни. И за эти несколько минут они успеют обо всем друг друга спросить, обо всем узнать. Множество вопросов задаст Баблина и обязательно спросит: «А какое оно, море? Большое? Синее?»

И Хохалай скажет так: «Да, море большое, синее, прекрасное. Оно ни на что не похоже. Оно волшебное. Светлос на его берегу становится светлее, чистое — чище, яркое — ярче. Тому, кто во что-нибудь верит, на его берегу верится еще сильнее. То, что было дорого, на его берегу становится еще дороже. У моря я думал о самом дорогом, о самом светлом, о самом чистом. Думал утром, когда над горами вставало солнце и зажигало воду золотым светом. Думал по вечерам, когда уставшее солнце тонуло в море и красный негреющий луч его бежал по волнам, пытаюсь дотянуться до берега. А когда я засыпал, я видел один и тот же сон: из ночного моря на тихий, освещенный лунный берег выходила прекрасная девушка с длинными, распущенными плечам волосами, с лучистыми глазами. Девушка медленно приближалась, и вслед за ней двигалась длинная тень. Это была ты, моя Баблина...»

Так Хохалай хотел сказать, но знал, что так красиво завтра не скажет, не сумеет, не найдет слов. Просто будет молчать и смотреть Баблине в глаза. Она все поймет и без слов. Она должна понять...

7. Утро

Хаджи-Даут тоже едва дождался, пока встало солнце. Он был сердит сам на себя: как говорится, дал слово — держи. С Даутом надо было поговорить еще вчера. Хоха-

лай вернулся с курорта — это еще не причина, чтобы откладывать важный разговор.

«Если Даут возьмется, любое дело выгорит, — уговаривал себя Хаджи-Даут, собираясь к приятелю. — Самому бы мне стоило с ней поговорить, и дело с концом. Но не могу себя заставить. Знаю, что не трусливая у нас порода, а решиться не могу. Если козел норовистый — надо его рогов бояться, сзади подходить надо. Если жеребец необъезженный — копыта страшны, спереди подойдешь. А к этой женщине с какой стороны подойти?»

Хаджи-Даут долго обдумывал, как начнет разговор. Его языкастый друг наверняка поймет с полуслова и примется насмехаться:

— Ну что, дорогой сосед, надоело самому тесто месить? Говорил тебе, сколько раз говорил! Где твой ум был? Моим всю жизнь живешь. Прав был черкес, когда так сказал: «Карачаевец любое дело два раза решает. Пусть его второе решение моим первым будет, а первое пусть ему самому останется». Поздно, поздно, приятель, собрался ты поумнеть...

При этом Даут будет противно и обидно улыбаться.

Хаджи-Даут огорченно вздохнул.

«Такой серьезный разговор, — решил он, — нельзя начинать без пристрелки. Сначала надо пристреляться, а тогда и в цель попадешь».

Старик подошел к зеркалу, слегка поклонился ему и произнес:

— Салам алейкум, дорогой друг. Как твое самочувствие? Покойным ли был твой сон?

Из зеркала на Хаджи-Даута смотрел серьезный и даже чуть опечаленный Хаджи-Даут. Проситель закрыл глаза и представил, как навстречу ему поднимется и протянет руку Даут.

— Алейкум ассалам, мой дорогой толстый друг! — скажет он. — Сон мой был покойным и приятным. Надеюсь, и твой был таким же. Присаживайся и расскажи, какое дело привело тебя ко мне.

— Дело небольшое, простое дело, — ответит Хаджи-Даут и усядется.

Хаджи-Даут замолчал, напряженно думая, куда следует дальше направить разговор. Из стекла смотрел на него растерянный, с наморщенным лбом Хаджи-Даут. Старику не понравилось такое выражение собственной физиономии, и он с досадой отвернулся от зеркала.

— Что же ты замолчал, сын Кара-Мырзы? — послы-

шался ему насмешливый голос соседа.— Видно, дело у тебя не столь простое, как ты сказал. Не сиди так плотно сомкнув уста, будто боишься, что в рот влетит муха. Редкая муха рискнет влететь в твой рот с новыми стальными зубами. Таким замечательным вставным зубам шаплык ни-почем, а уж о мухе и говорить нечего...

— Не балагурь, Даут! — строго оборвет Хаджи-Даут.— Можешь ты хоть раз не зубоскалить? Я пришел говорить о своей жизни.

— Так говори! Не молчи! — тут наконец Даут станет деловым и серьезным.

— Слово мое короткое. Как мы с Муратом живем? Плохо живем. И горячего супа не похлебаешь при такой жизни. И на чистой постели не поспишь. Женская рука нужна в доме.

— Верно говоришь,— согласился Даут.— Давно пора женить твоего Мурата. И моего Азрета давно пора. Давно уже у них кость окрепла. Умная мысль посетила твою голову, приятель. Говори, к какой девушке тянется сердцем Мурат. Сегодня же пойду сватать. Будь даже ханская дочка, за такого орла бегом побежит...

— Нет, Даут, не понял ты меня. Мурат мой о женитьбе и слышать не хочет. В Москву хочет ехать, учиться хочет. Позаботься лучше обо мне — вот о чем я тебя прошу!

Тут Хаджи-Даут тяжело вздохнул — как ни крути, а это самая важная часть разговора.

— А-а! — непременно начнет снова улыбаться Даут.— Что ж, и тебе подумать не грех. У тебя тоже давно уже кость окрепла...

И тут Хаджи-Даут должен суметь сказать только одно слово. Но сказать его так, чтобы длинноязыкий сосед его сразу понял всю серьезность беседы, чтобы враз у него пропало желание шутить и ухмыляться. Так сказать, будто бичом хлестнуть!

— Даут!!!

И не такой уж Даут тупоголовый, чтоб не понять, что в их возрасте при подобном разговоре шутки могут ранить глубже кинжала.

— Ты прав, приятель,— скажет Даут.— Дело и в самом деле не шуточное. Не будь я сыном Мырзы, если на этой неделе не сбудется твое законное желание. Готовь магарыч и выкладывай, за кого зацепился твой глаз. Может, Мариам она?

— Нет, не Мариам.

— Зухра? Апалистан?

— Нет, Даут. Нет.

— Тогда дочь покойного Анзора?

— Не догадываешься. Даут.

— Постой, кажется, узнал! — зашпешил сосед. — Значит, это дочь Астакку! Оллахий, приятель! Воду носом не пьешь! Недурен твой вкус! Ох, как недурен! Хорошо замахиваешься. Хоть и старовата дочь Астакку, но она все же девушка. Правильно замахиваешься, приятель. Спесивый Астакку, конечно. Станет нос воротить, но пусть не думает, что его род с неба упал, а твой из-под земли выполз. Сумеет все как есть ему объяснить. Возьмем его в оборот!

— Не бери его в оборот, Даут, — остановит Хаджи-Даут. — Пусть Астакку достанется другой зять. Пусть достанется такой, какого пожелает. Не его дочь мне нужна. О другой думаю.

— Да кто ж она такая? — начнет сердиться Даут. — Ведь не косоротая же Зулихат? Хотя, правду сказать, вы подходящей парой будете. Она косорота, ты кривоног... Не Зулихат? Тогда, приятель, лишь одноглазая Гоштай останется. Вот не думал, что решишь престарелую дочь эфенди Ожая в свои подружки выбрать!

— И косоротая Зулихат, и одноглазая Гоштай пусть твоими будут, брат, — скажет Хаджи-Даут.

— Клянусь бородой и усами своими, всех старых дев и вдов кумышанских перебрал! Никого не забыл! Может, ты надумал у кого-нибудь законную жену отбить, старый разбойник? Так в таком деле я тебе не помощник!..

— Не беспокойся, сын Мырзы. Я не хочу чужой жены.

— Замучил ты меня, Кара-Мырзы потомок. Десять лет ты без жены прожил! Поднатужься, доживешь как-нибудь остальные! Да много ли тебе вообще осталось?

— Попробуй сам прожить без жены хоть десять дней! Отправь-ка свою Хорасан в Хурзук! Пусть хоть две недели от тебя отдохнет! Отведай-ка холостяцкой жизни!

— Не шуми, друг мой Хаджи-Даут, — скажет тут Даут. — Кажется, знаю я, к кому мне в дом сватом идти. Но если я верно догадываюсь, растолкуй мне, какая змея тебя укусила? Какую неприятность ты причинил аллаху? Какой враг тебя проклял? Ведь эту женщину зовут...

Тут Хаджи-Даут заметил, что солнце уже высоко поднялось над горами. Прихватив свою палку, он вышел из дома.

Синий холм высок. Густая трава вся в росе. Под лучами утреннего солнца макушка холма сверкает, будто усыпанная алмазами. От калитки Хаджи-Даута к калитке Даута

протоптана узкая желтая тропинка. Петляя, она ведет Хаджи-Даута на вершину Синего холма. Три разных следа остаются за стариком — маленький кружочек от березовой палки, продолговатый, напоминающий дыню след от калоши, надетой на ногу, в которую обута здоровая нога, и непрерывная глубокая борозда от большой, волочащейся ноги. Хаджи-Даут не торопится. Если бы и хотел быстрее шагать, не смог бы хромой жених прибавить шагу. Но если бы и смог, то не стал бы идти быстрее: больше всего Хаджи-Даута беспокоила мысль о том, как бы легкаязыкий приятель не вздумал сделать его посмешищем аула. От Даута всего можно ждать — любое серьезное дело может превратиться в пустую забаву...

Идет Хаджи-Даут, опустив отяжелевшую от дум голову, взбирается по желтой тропинке все выше и выше. Только на самом верху он отрывает взгляд от земли и вдруг видит в двух шагах от себя соседа, идущего навстречу.

После обычных приветствий старики сообщили, что шли друг к другу по делу.

— Ну, пойдем ко мне, — пригласил Даут.

— Лучше ко мне пойдем, — предложил Хаджи-Даут.

— Ко мне ближе.

— Как бы не так! Ближе ко мне.

— Слушай, Хаджи-Даут, не станем же мы сейчас измерять эту кривую тропу. Пойдем без споров ко мне, поговорить надо.

— И мне надо поговорить, — ответил старый жених. — Не будем спорить, Даут. Хоть раз согласишься со мной, тем более у меня в духовке стоит половина жареного гуся, твоя доля. А ты ведь любишь гусятину больше баранины, больше говядины и больше жизни.

— Не преувеличивай, Хаджи-Даут, — задумывается Даут и внезапно соглашается: — Ну, ладно, пойдем к тебе. Только не из-за гуся иду, а из сочувствия к твоей больной ноге.

— Если так — пойдем к тебе...

Долго спорили старики, вздымали руки, призывая в компаньоны аллаха. Трясли бородами, и в конце концов Даут пашел приемлемое решение.

— Сядем здесь, раз ты такой упрямый, — предложил он.

— Сядем. Осли Айдамбула легче переспорить, чем тебя.

Оба друга, подобрав полы бешметов, уселись.

— Теперь я готов услышать, зачем ты шел ко мне, — заявил Даут.

— Моя речь длинна. Лучше я послушаю, что за причина тебя привела ко мне.

— Говори ты, если речь длинна.

— После тебя я скажу.

— Что скажешь?

— Простое дело. Скажу — услышишь.

— По глазам вижу, не простое дело скажешь.

— Мои глаза изменились?

— Нехорошо блестят твои глаза.

— Пусть блестят. Может, и важное дело скажу. Но говори сначала ты. Будь человеком, хоть раз уступи!

Помолчав, Даут кивнул головой в знак согласия.

— Уступлю, так и быть. Послушай, если очень хочется. Навостри уши: начну я с песни. Каждый день — утром, в полдень и к вечеру — слышу я эту песню. У меня от нее давно уже уши опухли. И сейчас, перед тем как с тобой встретиться, снова слышал. Спросишь, кто поет, скажу — пластинка поет. Спросишь, кто крутит пластинку? Кто будет крутить! Не я, не старуха моя крутит! Азрет мой крутит! Дылда мой крутит! Заводит он эту пластинку и сидит, на нас смотрит: «Слышите, мол, дорогие родители?»

— Какая еще пластинка? — заинтересовался Хаджи-Даут.

— Надо было к нам идти, как я говорил! Я бы тебе прокрутил эту пластинку. Раз заупрямился, не пошел — сиди теперь здесь, слушай, как я петь буду. Если голос мой тебе не понравится, не ропщи — прими его как наказание за свое упрямство.

И, прокашлявшись, выпрямив сутулую спину, Даут повернулся лицом к восходу и начал петь:

Танцую на чужих свадьбах,
Ноги свои я измучил.
Почему мама себе сноху не ищет?
Разве время мое не пришло?

Хоть и крупный старик Даут, голос у него тонкий, отчаянно острый. Как ножом рассекая воздух, голос его летел с вершущки холма далеко-далеко. На улице, что идет у подножья Синего холма, прохожие, забыв, куда торопились, застыли как вкопанные и, заслоняясь от солнца, удивленно воззрились на вершину.

Двадцать пять лет мне исполнилось,
Кость моя окрепла, мама.
Сколько лет я тебя уже слушаюсь,
Сколько лет без жены я живу?

Бродившие по холму коза и двое козлят, бросив щипать

траву, подошли ближе и застыли, как неживые.— даже глазами не моргали. Стояли не шелохнувшись, пока Даут не оборвал песню. А когда он смолк, коза и козлята испуганно шарахнулись в сторону.

— Как тебе понравилась эта песня? — спросил Даут друга.

— Очень понравилась. Ушам до сих пор больно. До сих пор в них что-то свистит. Теперь, когда вздумаешь петь, прежде смажь свою глотку солидолом или дегтем.

— Обойдусь без твоих советов,— рассердился Даут.— Ты лучше скажи, как тебе сама песня? Слова ее?

— А что слова? Правильные слова. Подходящие для твоего Азрета слова. Ваша порода вся такая — сызмальства песни всякие и веселье любит. Сам вспомни, сколько тебе лет было, когда аульчан хычынами кормил на своей свадьбе?

— Да я разве спорю? Азрет давно созрел, давно костью окреп. Я и сам ему не раз намекал — жениться пора. Он молчал, а вот последние две недели нас этой песней извел. А вчера я узнал, какая беда мне с неба на голову упала!

— Какая еще беда? — насторожился Хаджи-Даут.

— Так он, знаешь, на ком жениться надумал? Он жене Унуха сказал, та моей жене сказала, а жена мне.

— Дочь Ахьи выбрал?

— Если бы так — какая беда! Ахья понимает человеческий язык.

— Борлаковых дочь?

— Была бы она — чего страшного! Борлаковы — люди хорошие. Но горе мне! Мой непутевый влюбился в дочь плохой матери! Эта женщина сватам и рта не даст раскрыть. Единственный человек, которого она может дослушать до конца, это ты, мой друг Хаджи-Даут. Вот почему я так рано шел к тебе. Если аллах захочет и если ты будешь сватом, не устоит эта злая и сварливая женщина...

— В ауле немало злых и сварливых женщин,— перебил Хаджи-Даут.— К которой из них ты хочешь меня послать? — Недоброе предчувствие коснулось старого жепиха.

— Злых и сварливых много, правда твоя. Но чтобы дочь была ангелом, а родившая ее — шайтаном в юбке, такая одна! Я говорю, мой друг, о Шамде.

Тут спокойно сидевший Хаджи-Даут вдруг уронил свой посох и затряс бородой.

— О, аллах! — воскликнул он растерянно.— Шел я за шерстью, а вернулся подстриженным!

— За какой ты шел ко мне шерстью? — не понял Даут.

Но друг его сокрушенно молчал. Не мог же он признаться, что хотел просить приятеля идти сватом к женщине, которую сам себе выбрал в жены, к Шамде?

А в доме Даута внизу снова запела пластинка...

8. В Ростове (из Синей тетради Хохалая)

О чем неделю назад говорили Даут с Хаджи-Даутом на Синем холме, никто, понятно, не слышал. Но мы с бабушкой Агаз легко обо всем догадались, когда Даут пришел к нам с такой просьбой:

— Понимаешь, дорогая Агаз, твой Белоголовый лучше всех в ауле считает. А я в Ростов еду. Мне в Ростове без кассира никак нельзя. Через месяц-другой важное дело будет, осенью это дело будет. Деньги нужны...

Какие важные дела бывают в ауле осенью, мы с бабушкой Агаз хорошо знаем: решил, видно, Даут женить своего Азрета.

— Так и поезжай в Ростов осенью,— посоветовала бабушка Дауту.

Но наш сосед стоял на своем — верные люди сказали, что на ростовском базаре сейчас самая подходящая обстановка: на севере молодая картошка еще не поспела, а тот, кто вез ее с юга, давно уже продал. К тому же у меня сейчас каникулы, а осенью снова начнутся занятия, осенью я не смогу поехать с ним в Ростов...

Всю дорогу до Ростова — шестьсот километров — Даут летел на крыльях надежды. Он поминутно просил водителя прибавить ходу. Водитель добросовестно жал на педаль, старый грузовик озабоченно кряхтел, скрипел, но телеграфные столбы по-прежнему упрямо и медленно ползли мимо. По расчетам Даута выходило, что как только мы въедем на рынок, сразу выстроится очередь, не дадут и мешки с машины сгрузить, и торговля пойдет прямо с борта. Жаркая будет торговля. Даут будет отвешивать, а я буду получать деньги.

В Ростов мы приехали рано утром, главный рынок как раз открывался. Въехали мы, и у Даута сразу отвисли усы: с первого взгляда он понял, что на этот раз моя завидная способность быстро справляться с цифрами не пригодится. Под длинными навесами, вдоль прилавков, прямо на земле, в ларьках, всюду — картошка. В мешках, в корзинах, врассыпную. Всех сортов, всех видов — белая, ро-

звая, бурая, крупная, мелкая, круглая, продолговатая, с глазками, без глазков — какая угодно! Холмы, горы картофеля! Тьма покупателей, но продавцов, пожалуй, еще больше.

Никто, конечно, к нашему грузовику не сбежался. Сгрузили мы мешки прямо на землю, потеснив двух картофелевладельцев. Возможно, это были очень жизнерадостные и общительные люди, но наше появление произвело на них не самое лучшее впечатление. Бодрым жизнелюбивым голоском попытался Даут заговорить с ними, желая установить прекрасные добрососедские отношения. Но куда ему против всемогущего Закона конкуренции! От соседей так и веяло тихим негодованием — только, мол, вас здесь и ждали!

Посыпал мелкий дождик. Мокли мешки, мокли мы. Я заметил, что у ростовских покупателей особенный норов — если к одному хозяину подходили двое, третий тоже к нему тащился. А если собрались трое, еще быстрее находился четвертый покупатель. Так к одному продавцу выстраивалась очередь, а другой стоял, ждал, мокнул. Ему оставалось лишь выждать свое неудовлетворение по поводу вкусов ростовчан и вообще по поводу жизни.

К нам подходили покупатели-одиночки. Это, наверное, были самые отважные. Они не боялись проблемы самостоятельного выбора.

Обычно первый вопрос был таким:

— Откуда картошка, хозяин?

Затем — удивительно однообразное продолжение разговора:

— Разваристая?

— Вкусная?

— Не гнилая?

— Не пахнет?

Щупали. Трогали. Сдирали кожуру. Нюхали.

Наши ответы тоже не отличались большой оригинальностью. Обычно мы говорили, что картошка у нас прекрасная. Сообщали, где она росла, где набиралась соков.

— Разваристая, — убеждал Даут покупателей. — Песочный сорт называется... Сама рассыпается. Пальцы оближешь! Это же лорх! Лорх красный! Не картошка — яблоко! Крахмалу в ней знаешь сколько?

К середине дня дела у соседа слева стали налаживаться. У прилавка собралась небольшая очередь. Правда, поначалу она была довольно жидкой, но постепенно плотне-ла, крепла, росла. Хозяин — голубоглазый, расторопный,

охотно рассказывал биографию своей картошки. Биография эта, по его словам, была исключительной.

— Картошка курская, крахмальная, знатная! Картошка знаменитая! — быстро приговаривал мужичок. — Курскую здесь знают. И жарится хорошо, и варится хорошо. Для борща лучше нет курской. Пюре? Почему же? Пюре из нее тоже хорошая получается! Вкусная пюре!

Совсем ладно пошли дела у курского соседа. И шли так до тех пор, пока не наступил черед маленькой сухонькой старушки в железных очках.

— А она не черная? — старушка подозрительно глядела на продавца сквозь свои очки.

— Почему же черная, мамаша? — удивился мужичок.

— В прошлую пятницу я брала — вся черная оказалась. Тоже из Курска, — недоверчиво разглядывая картофелины, осторожничала старушка.

— Она сверху черная, потому как из земли. Одежка ее черная, — терпеливо уговаривал хозяин. — А в середине она как сахар. Давай какую хошь. Смотри, гражданочка милая!

Положив картофелину на прилавок, он лихо рассек ее длинным старым ножом. Картофелина развалилась, и — надо же! — в серединке она была черна как сажа! Чуть не плача, одну за другой хватал он картофелины и рассекал их пополам — круги были белые, сочные! Но очередь уже негодовала и таяла. Собиралась она медленно, а рассыпалась вмиг.

— И откуда она взялась, треклятая! — бормотал голубоглазый, разглядывая обе половинки черной предательницы.

Зато теперь повезло соседу справа. С самого утра он честно называл родину своего товара, говорил, что его картошка из Чувашии. Теперь он начал называть ее курской, хотя чувашская, наверное, вовсе не хуже курской. Но пусть будет курской, если ростовчанам так нравится.

Удача от него отвернулась так же неожиданно, как и от курянина. Сам сплеховал. Так хорошо покупали, а он все нахваливал и нахваливал свою картошку. И вдруг сказал, что удобряет землю самыми лучшими удобрениями. И сразу кто-то из очереди спросил:

— А они не пахнут, эти прекрасные удобрения?

Покупатели как по команде припятились нюхать картошку, и одна из женщин решила, что да, в самом деле картошка пахнет. Чуваш очень разумно убеждал, что картошка может пахнуть только землей, это естественный за-

пах, всякая картошка пахнет. Но очередь, по-видимому, уговорить невозможно.

— Ваша картошка тоже пахнет?— повернулась к нам одна из покупательниц.— Вы тоже удобряете?

Даут решил не упускать случай. Он сказал, что его картошка растет без удобрений.

— А как же она вырастает такой крупной?

— Моя в горах растет. В горах нельзя удобрять.

— Почему?— заинтересовалась очередь.

— Потому что не поливается,— туманно объяснил Даут.— У нас под дождем растет. Мы поливать не можем. Как в гору заставишь воду пойти?

Очередь согласилась — нельзя заставить воду в гору идти. Дауту поверили, начали покупать.

С логикой у Даута не все было в ладах — поливать, допустим, нельзя, но почему нельзя удобрять? Но очередь не стала вдаваться в подробности. Мы быстро продали три мешка. Даут развязал четвертый. Картошка в нем была совсем мелкой. Всего лишь в четырех мешках из тридцати семи была такая картошка. И подвернулся именно этот мешок! Очередь разочарованно взволновалась. Даут закричал, что сейчас же выставит прежнюю картошку. Но и в следующем мешке оказалась такая же мелочь. Покупатели быстро разошлись.

Чуваш, курянин и Даут быстро, понимающе, не без сочувствия друг к другу, переглянулись: вот, мол, как нам не везет. И вдруг разом заулыбались. Их лица, до этого сосредоточенные, озабоченные, с этой минуты просветлели. Теперь — все трое уже добрые соседи.

— Шабаш! — сказал курянин.— Сегодня делов больше не будет. Расходитесь базар.

— Завтра день будет, завтра видно будет,— отозвался Даут.

Голубоглазый выбрал из порожних мешков самый чистый, расстелил его на прилавке будто скатерть и достал черную взбухшую сумку. Он выложил на мешковину хлеб, соленые огурцы, лук, четыре больших помидора, а затем бережно извлек из сумки литровую бутылку с неуклюжей бумажной затычкой.

— Прошу дорогих соседей,— пригласил курянин.— Как говорится, чем богаты, тем и рады...

Пригласил он всех нас душевно. Чуваш и мы с Даутом подошли со своими сумками. Даут вытянул кусок вяленой баранины, чуваш достал домашнюю колбасу, пирожки. Мы уселись и принялись пировать.

Изредка подходили покупатели.

— Почему картошка?

— Не торгуем.

Покупатели молча уходили. Но один — в зеленом плаще с капюшоном — оказался на удивление настойчивым. Если отдадим дешевле — много обещал взять, тонны две для столовой. Давал по двадцать копеек за килограмм. Соседи наши меньше чем за двадцать пять отдать не соглашались. Их картофель лучше, крупнее, чем у Даута. Дауту стоило подумать над предложением капюшона. Даут подумал и тоже не согласился.

— Оптом возьму, — продолжал соблазнять покупатель.

— Как возьмешь?

Я объяснил старику — товарищ возьмет всю сразу. По килограммам продавать — отходов чуть ли не половина. И гнилая попадет, и резаная. И возни сколько — неделю на рынке будем стоять. Больше проедем. К тому же за все платить надо: за весы, за гостиницу...

Но разве упрямого Даута убедишь? Не согласен, и все. Капюшон, конечно, ушел. Тогда я напомнил Дауту о четырех мешках мелкой картошки. Вскочил Даут, закрычал покупателю:

— Бери за двадцать две! Доволен будешь!

Вернулся человек.

— Для столовой беру, — сказал. — Для рабочих. Могу купить только за двадцать. Что ж ты, старик, из-за двух копеек упрямышся? Рабочие для тебя тоже стараются.

— Ладно, бери. Бери, если для рабочих. Только всю бери.

— А сколько тут?

— Тонны три.

— Можно, если не больше.

Наконец они ударили по рукам. Подъехал грузовик, погрузили мы наши мешки и уехали. В столовой дело быстро пошло. Мешки взвешивали и ссыпали в подвал. Три, пять, шесть мешков...

Вдруг Даут взволновался.

— Четыре мешка! — зашептал мне на ухо. — Сейчас увидят мелкую картошку, дело лопнет, а позору сколько!

Но в подвале было темно. Не увидели. Капюшон подсчитал, отдал деньги Дауту, тот их мне передал. Я проверил — все правильно. Опять они пожали друг другу руки. Оба были довольны.

— С меня магарыч! — объявил покупатель, снял свой плащ и повел нас в столовую.

— С меня тоже!— не желая оставаться в долгу, по дороге сообщил и Даут.

Сели мы за столик, стали отмечать куплю-продажу, и вдруг вижу я — дело двинулось к катастрофе. Человек, купивший нашу картошку, предложил знакомиться. Его Андреем Андреевичем звали. Даут тоже назвал себя. Андрей Андреевич спросил, какой мы национальности.

— Карачаевцы мы,— объяснил Даут.

— Карачаевцы? А откуда это?

— Из Карачая.

— А где это?

— Карачаево-Черкесия.

— А где Карачаево-Черкесия?— допрашивал наш новый знакомый.

— В горах.

— Не слышал,— признался Андрей Андреевич.

Даут не ответил, насупил брови. Дауту очень не понравилось, что этот человек не знал ни карачаевцев, ни Карачаево-Черкесии, но Андрей Андреевич так добродушно, так хорошо улыбался, что мой земляк сдержал себя и продолжал жевать свой гуляш. И все могло бы обойтись, если бы этот Андрей Андреевич не спросил старика:

— А как по-русски тебя зовут?

— Даут. По-русски тоже Даут. По-всякому тоже Даут. А мой отец Кара-Мырза,— сдержанно сообщил Даут.

— Даут?— вслух размышлял Андрей Андреевич.— Пожалуй, тебя можно называть Дмитрием.

И тут он поднял рюмку.

— За твоё здоровье, Дмитрий Константинович. Хороший ты старик. Будь здоров.

Но Даут обиженно поставил стакан на стол, отодвинул его от себя, достал из-за пазухи деньги и подвинул их покупателю:

— Вот твои деньги! Берем картошку!

Встал Даут, собрал в охапку пустые мешки и пошел в подвал. Мы за ним. Андрей Андреевич ничего понять не может, бежит следом, за локоть моего земляка хватается, вперед забегает.

— Ты же продал, старик! Что же ты, а?

— Плохому человеку не продаем! Ничего не продаем! Земля обидится, карачаевская земля.

Представил я, как придется снова грузить картошку, стоять на рынке, зазывать покупателей, говорить, что это песочный сорт, рассыпается, разваривается, разваливается...

Потянул я Андрея Андреевича за локоть и на ходу ему прошептал:

— Карачаевцы... живем под Эльбрусом... Ставропольский край. Автономная область. Нас сто двадцать тысяч...

Андрей Андреевич оказался человеком смышленным. У самого входа в подвал догнал он Даута.

— Вспомнил, вспомнил, Даут! Знаю вас! Под Эльбрусом живете! Самая высокая гора на Кавказе! Автономная область! Вас больше ста тысяч!

Даут остановился. Посмотрел на Андрея Андреевича так, будто судьбу его решал — казнить или миловать.

Решил — миловать.

— Нас сто двадцать тысяч,— уточнил Даут.— В Карачаево-Черкесии живем. Аул Кумыш.

— Ставропольский край,— снешно добавил Андрей Андреевич.

— Верно,— подобрел Даут.

Вернулись мы снова в столовую. Снова наполнили стаканы. Андрей Андреевич снова заулыбался. Вижу, мой земляк тоже повеселел.

— А тебя по-нашему, по-карачаевски, тоже по-другому падо звать,— сказал Даут.

— Как?

— Ахмат Ахматычем. За твое здоровье, Ахмат Ахматыч! Слава аллаху, не такой плохой ты человек, каким сначала показался.

— Спасибо, Дмитрий Константинович!

— Пожалуйста, Ахмат Ахматыч! А картошку я все-таки по тебе продал. Рабочим продал. Пусть едят на здоровье. Земля обижаться не будет...

Можно было ехать домой, но Даут надумал купить мне костюм.

— Идем в магазин, мерить будем,— тянул он меня в универмаг.— Ты еще школьник. Тебе еще год учиться надо. Вырастешь, работать будешь, мне тоже костюм купишь.

— Не обижай, Даут,— говорил я.— Я поехал с тобой в Ростов не за костюмом. Помочь тебе хотел.

— Нет у тебя ума, Белоголовый!— рассердился старик.— Я твоему отцу кто был? Первый друг был. Кто ты теперь мне? Ты младший сын теперь. Слушай, только тебе скажу,— никто не знает. Осенью женить буду старшего, Азрета женить буду. А ты, младший, на его свадьбе в новом костюме будешь сидеть. Понял?

— А Азрет будет в старом?

— На этого дылду не угодишь. Сам себе купит.
Даут очень упрям. Не меньше, чем его загадычный друг Хаджи-Даут. В универмаг я с ним не пошел. Тогда он пошел один. Вышел минут через двадцать со свертком.
— Не хотел готовый костюм надеть — не надо. Материю я купил. Лавсан называется. Шамда шить будет. Модно сошьет. По картинке...

9. Унух

В Кумыш Даут с Хохалаем вернулись поздно вечером. Но в доме Хаджи-Даута еще светились окна, и картофельный коммерсант, не показавшись даже своей Хорасан, пошел к приятелю. Дверь ему открыл удивленный Мурат.

— Даут? — удивился он. — А отец говорил, что ты, уважаемый сосед, в Ростове.

— Правильно твой отец говорил, — объяснил Даут. — Утром я был в Ростове, днем в автобусе тряся, а теперь перед тобой стою. Жду, когда пригласишь зайти.

— Извини, сосед! Заходи, дорогой сосед. Садись, отдохни с дороги.

Даут прошел в дом, попросил воды.

— До сих пор от автобуса в голове шумит, будто ведро браги выпил, — пожаловался он.

— Ты хотел сказать — два ведра? — улыбнулся Мурат.

— Почему два?

— У тебя, дорогой Даут, голова крепкая. Весь аул знает. После одного ведра вряд ли она будет болеть.

— Не дерзи, Мурат! — вспыхив, повысил голос старик. — Хотя ты и образованный человек, других в школе учишь, но за такие слова я вполне могу тебя стукнуть пощечей! Так стукнуть, что в нашей школе одним плохим учителем станет меньше! И вообще, я не с тобой говорить пришел, а с отцом твоим. И пусть аллах даст побольше ума его сыну! Может, тогда он сообразит, как надо почитать старших.

— Сосед, я вовсе не хотел тебя обижать. Ты прав, очень глупо я пошутил. А отца дома нет. Он к Шамде ушел.

— К Шамде? — Даут сразу позабыл о своем гневе. — Ты правду говоришь, к Шамде? Ты меня не обмапываешь?

— Да что с тобой сегодня, почтенный Даут? Зачем я буду тебя обманывать? Отец вот-вот вернется.

Будто в ответ на слова Мурата, во дворе послышалось негромкое постукивание палки. Хаджи-Даут, показалось, не удивился столь позднему гостю. Он принялся расспрашивать друга о Ростове, о ценах на картошку, попытался обсудить и последние мировые новости, но Даут решительно его прервал.

— Слушай, Хаджи-Даут, ты лучше скажи, ходил к Шамде?

— Ходил.

— Ну и что? Отказала дочь шайтана?

— Почему это она — дочь шайтана? — недовольно заметил Хаджи-Даут. — Почему отказала? Дала соль и сказала, чтобы заходил, если что надо...

— Какую соль она дала? — опешил гость. — Что ты мне голову морочишь?

— Обыкновенную. Белую. — Хаджи-Даут упорно смотрел в угол. — У нас соль кончилась. Вот я и ходил.

— Да что ты мне про соль толкуешь! Я тебя про дело спрашиваю! Забыл, что ли, просьбу мою?

— Не забыл, — отвел глаза Хаджи-Даут. — Только скажи, почему ты выбрал сватом именно меня? Есть же в ауле люди и языком острее, и умом хитрее, и духом решительней? Почему, например, Айдамбула к Шамде не послать? Умеет старик такие разговоры вести, к тому же Шамда в родстве состоит с Айдамбулом...

— А что ей родство! Забыл, как недавно она Унуха честила? При всем народе честила! При начальстве! А ведь Унух — родной брат Айдамбула. Всю жизнь человек при скоте, старается, покоя не знает. А она его, бессовестная, сразу срамить! — Тут Даут принялся передразнивать Шамду: — «Скажи-ка мне, дорогой братец, что у тебя в прошлый год с бычками случилось? Угонял весной стадо на пастбище — бычки двухлетками были. Пригнал осенью — все бычки подросли, трехлетками тучными стали. А два бычка так отоцали, что их и за однолеток принять можно было. Или они у тебя там обратно росли, ростом меньше становились? Или их волки серые подменили?...»

— Шамда верно сказала, — буркнул Хаджи-Даут. — Смудрил Унух, поменял бычков.

— А вот ты, Хаджи-Даут, хоть все стадо продай — Шамда глаза закроет и рот завяжет! В ауле она всех, кроме тебя, перекусала. Скажи, за что это она тебя так уважает? А если я не прав, объясни, почему это серебряную цепочку для часов, которая осталась от прежнего мужа, она тебе отдала, а не кому другому?

Хаджи-Даут невольно вытаскил свои старинные карманные часы и посмотрел так, будто впервые увидел их.

— Шамда мне подарила эту штуку за то, что я помогал, когда ей дом строили,— совсем неубедительно проговорил он.— Не понимаю, почему мы завели разговор о такой безделушке? Не стоит, оллахий, о таких пустяках говорить серьезным людям.

— Не стоит,— согласился Даут.— Но только многие помогали Шамде строить дом, а цепочку тебе одному отдала. Других только словами благодарила. Что ты на это скажешь?

— Что скажу?— совсем смутился Хаджи-Даут, запихивая в карман злополучную цепочку.— Я ей полы стелил, я ей крышу крыл. И чего ты ко мне пристал с этой железкой?

— Я не пристал, я объясняю, почему тебя сватом выбрал! Я думал, пока в Ростов едешь, ты уж тут все дело провернул. А ты все из головы выкинул. Тоже — другом зовешься!

— Не шуми, Даут. Ничего я из головы не выкинул. Наоборот, только об этом и думал. Дело сложное. Спешить нельзя. С разумом взяться надо. Завтра пойдем с тобой к Унуху, там с Айдамбулом поговорим.

— Зачем я пойду к Унуху? При чем тут Айдамбул? Что ты все крутишь, сын Кара-Мырзы?

Рассерженный Даут встал, едва не касаясь макушкой потолка.

— Опять шумишь! Не дослушал, а грозишь голосом! Сядь, а то лампу спибешь. Сядь и выслушай.

Даут снова уселся.

— Завтра Унух в гости ждет. Завтра в его доме праздник — первый раз сына в люльку кладет.

— Ну? — изумился Даут.— Унух уже сына в бешик кладет? Вот время бежит! Кажется, только вчера Унух слезными слезами плакал: «Жена опять дочь родила».

— Да, время бежит быстрее джигита. Завтра посидим у него, потолкуем. Айдамбул человек умный, его совет послушать надо. Потерпи, приятель, до завтра...

Но, уходя, Даут не удержался и сказал:

— А насчет серебряной цепочки — ты подумай. Я давно вижу, она тебе дороже часов. К Шамде тебе идти, никому другому. А жена Унуха — молодец, на этот раз не допустила брака, постаралась...

Даут знал, что говорил. Дело в том, что жене Унуха пришлось рожать дочерей. Каждый раз, провожая супру-

гу в родильный дом, Унух честно и строго предупредил:

— Имеи в виду, если родишь дочь — сразу развод!

Первые три раза жена Унуха боялась угрозы, но, несмотря на это, настойчиво производила на свет девочек. Затем жена Унуха привыкла к заявлениям мужа и продолжала рожать дочерей со спокойной душой. В итоге Унуху оставалось лишь жаловаться аллаху и общественности. Аллаху Унух обычно говорил так:

— За что ты предназначтал мне такую ужасную судьбу? Чем я тебя прогневил? Полдюжины невест — всю жизнь не разогнуться, всю жизнь в тяжком труде, и все равно не собрать приданого для такой оравы! Хоть иди по миру с сумой!..

С сумой, правда, Унух по миру не ходил, но все в ауле знали о нелегком семейном положении бригадира и искренне сочувствовали ему — человек он был тихий и работающий.

И когда председатель колхоза пришел к Унуху выяснять, что случилось с двумя двухгодовалыми бычками на горном пастбище, отчего это они так и не превратились в трехлеток, хозяин дома молча подошел к огромному сундуку, открыл его, долго что-то искал в нем и наконец достал семейную фотографию. На этой карточке Унух и его жена сидели на стульях, взяв себе на колени по дочери. А вокруг них тесно сбились еще четыре девочки, одна другой меньше. Причем даже беглого взгляда на фото было достаточно, чтобы выявить несложную закономерность — самая старшая девочка была красивой, вторая — почти красивой, третья — приятной, четвертую нельзя было назвать ни красивой, ни приятной. Короче, чем позже рождалась девочка, тем меньше в ней было привлекательности. И такая последовательность наводила на мысль, что чем дальше, тем явно небрежней, по всей вероятности, относились жена и муж к одной из своих важнейших супружеских обязанностей. На фотографии Унух с женой так печально склонили головы, так унылы были их позы, что, казалось, под таким снимком можно было подписать: «Все беды от аллаха. А что мы, слабые люди, можем сделать?»

Председатель колхоза долго и грустно смотрел на фотографию, потом поднял глаза на бригадира и, стараясь быть строгим, сказал:

— Смотри у меня! Второй раз такое с бычками случится — в другом месте говорить будем!

Председатель ушел, с досады хлопнув дверью и не припав никаких иных мер. И общественность аула его за это

не осудила — все знали, что и без прокуратуры забот у Унуха хватало...

В каждом ауле есть шутники. В Кумыше тоже есть. Они и сочинили песенку о бедном Унухе, которую иногда распевают по вечерам у клуба. Начинается эта песенка так:

Жизнь сурова, жизнь сурова.
Меньше, чем коза, дает
Молока моя корова,
А жена мне народила
Роту дочек черпобровых...

Унух и пить начал под влиянием семейных неурядиц. Роста он небольшого. Жена смотрит на него свысока, да еще покрикивает. А кругом дочери мелькают, и всем всегда что-то от отца нужно. От такой жизни нет никогда покоя. Единственная радость — уйти со скотом на горное пастбище. Там, кроме волков да ревизоров, никаких неприятностей быть не может.

До рождения первой дочери Унух и знать не знал, что такое водка. Пожалуй, в том, что он начал выпивать, отчасти виноват болтливый Даут. Когда жена Унуха ждала первого ребенка, сам глава семьи высоко в горах на Бийчесыне пас коров. По каким-то делам в то время туда забрел и Даут. И шепнул, видно, шайтан Унуху на ухо — спроси, мол, не знает ли старик кумышанских новостей, не слышал ли, кто у него, у Унуха, родился? Но ведь Даут не из тех, кто может признаться, что чего-то не знает...

— Богатырь у тебя родился, — присочинил Даут, желая обрадовать пастуха. — Такой хороший мальчишка — весь аул ходил смотреть! Только я не успел своими глазами глянуть, но ушами слышал. Ставь сюйюмчо-магарыч за такую весть!

Даут соврет — дорого не возьмет. Но на этот раз его горная прогулка влетела Унуху в копеечку. На радостях пастух и овцу забил, и месячную зарплату на угощение истратил: всех встречающих пировать в свой кош зазывал. Целую неделю веселился Даут. Унух прислуживал ему, как хану, за то, что такую счастливую новость принес ему в горы. Когда же спустился Унух в аул и узнал правду, он в первый раз загрустил по-настоящему. Водка, горькая, как слезы шайтана, в тот день показалась ему сладкой, как мед. С тех пор и пошло. Чем больше прибавлялось в семье дочерей, тем горше пил отец. И кумышанские знатоки теперь даже точно не могут сказать, кто добился наивысших показателей в этом деле — Даут или Унух.

— Оба они черные пережитки! — заявил физкультурник

товарищ Гекеев на собрании.— Обоих надо оставить в прошлом вместе с эфенди Ожаем!

Но председатель колхоза не согласился оставлять Унуха в прошлом: квалифицированных кадров ему не хватало в настоящем, тем более что Унух прекрасно относился к скоту и скот ему отвечал взаимностью.

— Немногого мы достигнем, если так станем разбрасываться кадрами! — сказал в своей речи председатель.— Мы должны сообща вытащить из болота Унуха! И чтобы его вытащить, я даже готов назначить его заведующим молочно-товарной фермой!

Собрание охнуло, а Шамда с места крикнула, что бригада в неделю пропьет всю ферму вместе с бидонами.

— Мы ему поможем! — пообещал оратор с трибуны.

— Пропить? — снова крикнула неугомонная Шамда. И собрание долго смеялось.

Но председатель человек твердый. Он любое собрание может переспорить.

— Мы поможем ему в работе! Поможем ему изменить его непривлекательный моральный облик! — закончил глава колхоза свое слово.— Но Унух должен дать слово мужчины — не пить! Пусть выйдет и скажет!

Унух, стеснясь, краснея, вышел и встал перед кумышанцами. С одной стороны дружки ему кричали, чтоб не валял дурака, не давал никаких таких обещаний. С другой стороны на него смотрели председатель колхоза, товарищ Текеев, Айдамбул ждал, общественность ждала. Молчал Унух, не знал, что говорить. Но тут встала его жена и сказала:

— Я, женщина, даю вам, люди, честное мужское слово! Не будет он больше пить!

И Унух повторил:

— Не буду! Она, женщина, верно говорит.

И в самом деле бросил пить. Никто не мог его заставить коснуться рюмки. Бывшие собутыльники начали поговаривать, что новый заведующий фермой бросил пить от скупости. Тогда Унух стал ежедневно ходить на мост через Кубаь и в присутствии многочисленных свидетелей швырял в воду четыре с полтиной — те самые, которые раньше ежедневно тратил на водку.

Жена узнала, принялась возмущаться — вот, мол, дурак, бросал бы хотя без сдачи! Зачем лишние деньги бросать! Унух, рассказывали, заткнул ей рот справедливым замечанием:

— Зря сердисься, женщина. Я отдаю реке ровно столько

ко, сколько раньше отдавал в магазин. Разве продавщица Зухра когда-нибудь давала мне сдачу?

Узнал седобородый Айдамбул об этой истории, серьезно говорил с младшим братом, стыдил его долго. Кончил Унух ходить на мост, и дружки отвязались.

Раз как-то приехал из района начальник, спросил между прочим:

— А как Унух? Изменился, когда стал заведующим фермой?

— Совсем изменился,— сообщил словоохотливый Даут.— Раньше при встрече всех спрашивал: «Как жизнь?» Теперь, кого ни встретит, интересуется: «Как молоко?» Все для него теперь дояры или доярки.

— А пить бросил?

— Совсем бросил. Испортился мужчина. Лошадь его сильно переживает. Каждый раз по давней привычке останавливается у магазина. Думает, хозяин пойдет за поллитрой. А он знай понукает. Не жалеет совершенно животное.

— Молодец Унух! Оллахий, молодец! Держит мужское слово,— похвалил начальник и уехал обратно в район.

Вечером Даут встретил заведующего фермой, рассказал ему:

— Приезжал из района большой человек. Узнал, что ты бросил пить,— очень хвалил. И в награду за это тебе бутылку оставил. Не нашел тебя, мне отдал. Пойдем ко мне, отметим событие.

Не соблазнился Унух, не пошел.

— Железный человек! — искренне удивился Даут.— Раз даже даровую водку не пьет — горы свернуть может.

Но вот в седьмой раз жена сообщила Унуху, что у них будет ребенок. И в его сердце змеей снова заползла тревога — неужели опять получится дочка? А человека с тревогой в сердце всегда тянет в сторону магазина. Взволновалась общественность. Председатель колхоза по три раза на дню на ферму заворачивал. Сам товарищ Текеев строго-настрого с продавцами говорил, объяснял — не планом единым жив человек. Пусть людьми будут, пусть отговаривают, если Унух за водкой придет.

И снова дело не обошлось без Даута. Как вечер, так приходит к нему одна и та же забота: где бы найти подходящую компанию? Пришел он раз к Унуху и предложил:

— Хочешь, схожу к старой Агаз? Пусть погадает, кого жена тебе даст — мальчика или девочку? Мне Агаз не откажет, обязательно погадает.

Легковерен был Унух, обрадовался.

— Только прежде беги в магазин,— потребовал Даут.

И хозяину дома снова пришлось вспомнить вкус водки.

На следующий день Даут, как и следовало ожидать, забыл о своем обещании. Но Унух не забыл, пришел, напомнил.

— Ходил? — спросил он.

— Ходил,— соврал Даут.— Агаз свое дело знает, долго гадала. Она всегда правду знает. Сказала, будет у тебя или сын, или снова дочь.

— Я и сам знаю, что будет: или сын, или дочь! — обиделся Унух.

— Сомнение должно быть у каждого, кроме аллаха! — заявил Даут.— Ты, например, сызмальства все у скота крутишься. Вдруг однажды мычать начнешь и траву станешь кушать? Так что кто от тебя родится — знать трудно. Может, теленок будет? Сам посуди — лучше уж дочь, чем теленок. Агаз точно сказала — теленка не будет. Так что радуйся. А я, не будь я сыном Мырзы, попрошу аллаха: «О аллах всемогущий! Пожалей ты этого бедного человека, сделай так, чтобы сын у него родился прекрасный! Пусть хоть однажды в его дом радость придет, пусть он большой той устроит, пусть гостей пригласит и меня не забудет!..»

10. Хаджи-Даут сердится

Говорят, если лавина готова обрушиться, то и нога маленькой птички может стать причиной беды.

С раннего утра начал возиться во дворе Хаджи-Даут. О чем бы он ни старался думать, мысли его упрямо возвращались к просьбе соседа. Вот ведь — решил женить своего Азрета как раз тогда, когда и ему, Хаджи-Дауту, надо своим делом заняться! Как подступить к Шамде с двумя такими просьбами сразу? Легко ли женщине свою жизнь так круто повернуть? Тяжко вздыхает Хаджи-Даут. В его душе шевелится недовольство к соседу: не может подождать старый, не может сообразить никак, кому проще жениться — молодому, пышущему силой и здоровьем Азрету или ему, Хаджи-Дауту, человеку степенному, человеку в том возрасте, когда уже не забираешься вверх по склону, а идешь вниз, все ближе к Черному ущелью, где расположено аульное кладбище. При воспоминании о кладбище Хаджи-Дауту стало совсем грустно. Он вошел в дом и, решив, что пришла пора намаза, пора разговора с аллахом, полез в карман за часами — с аллахом следует говорить

всегда точно в срок. Но часов в кармане не оказалось. Ни часов, ни цепочки! Хаджи-Даут вывернул карман, но все равно — старых золотых часов, доставшихся ему от отца, и серебряной цепочки, подаренной Шамдой, не было! Забыв о намазе, старик начал поиски. Он перевернул весь дом, но найти так и не смог. И тут аллах, по-видимому обидевшись на то, что время намаза пропущено, подбросил Хаджи-Дауту коварное предположение: последним, с кем виделся он, Хаджи-Даут, был его длиннорукий приятель! Старик хорошо помнил его вчерашние намеки насчет цепочки Шамды.

«Старый жулик! — вдруг с негодованием подумал Хаджи-Даут о своем соседе. — И близко, кажется, ко мне не сидел, а сумел вытащить! Хорошо, если признается, скажет, что пошутил, и вернет. А если скажет, что не видел их и одним глазом? Что тогда с него взять?»

Он взбирался на Синий холм с необычной для него прытью — даже жарко стало.

«Если Даут дома — хорошо, — соображал он. — Значит, часы еще целы. Не мог же он вчера после моего ухода кому-нибудь сбить часы с цепочкой...»

В даутовском дворе Азрет весело колол дрова. В открытом окне на подоконнике стояла и пела радиола.

— Дома отец? — спросил Хаджи-Даут, рывком открыв калитку.

— Дома. — Азрет удивленно проводил взглядом обычно спокойного соседа.

Даут лежал на диване в прохладной и светлой комнате и читал газету. Увидев стремительно вошедшего, вспотевшего друга, хозяин дома встревоженно приподнял голову.

— Что это с тобой? Пожар, что ли?

Хаджи-Даут молча стоял, широко расставив ноги, пыхтел и тер платком лоб. «Вот притворщик! — думал он. — Артист паршивый! Делает вид, будто ничего не понимает.»

Даут спустил с дивана ноги.

— В самом деле, Хаджи-Даут, на тебе совсем лица нет. Говори, что случилось?

Хаджи-Даут продолжал молчать. Но глаза его негодующе сверлили лицо приятеля.

— Если ты собираешься стоять и молчать, словно толокном рот набил, стой, пожалуйста. Я продолжу чтение этой газеты.

Даут сделал вид, что собирается снова улечься на диван.

— Читай, Даут! Читай, душа моя! — неожиданно ласково произнес Хаджи-Даут. — О чем сегодня в газете пишут?

— О многом. Наш физкультурник товарищ Текеев, например, пишет о вреде, который наносят народному хозяйству некоторые старые обычаи. Пишет про курман — жертвоприношение по каждому случаю. Считает, сколько скота напрасно губится. Ребенок родился — овцу или быка режут на угощение. Ходить научился, снова овцу забивают. Первый раз сено идет в горы косить — третью овцу погубят. Женится человек — десяток или, на худой конец, полдесятка овец зарежут. Выходит, пока один человек на ноги станет, целое овечье стадо изведут. Если гость наедет, в честь его овцу под нож, хотя бы и без того в доме мяса вдоволь. И в праздник курмана — опять каждая семья с овцы или быка шкуру сдирает... Очень интересно пишет товарищ Текеев, старательно подсчитывает. Хочешь, прочитаю, как пишет?

— Ну что там еще? Неужели ничего более интересного нет? О ворах, например, там ничего не пишут?

— О каких ворах? — Даут даже рот открыл от удивленья.

— Об обычных, — спокойно проговорил Хаджи-Даут. — О таких, которые часы с цепочкой воруют?

— Какие часы?

— Круглые, золотые, а цепочка мелкой работы, серебряная.

— Что это у тебя так глаза блестят, приятель? Здоров ли ты?

— Давай сюда, вытаскивай! — закричал Хаджи-Даут. — Где они у тебя, старый мошенник?

— Да что ты ко мне пристал с часами! — начал сердиться Даут. — О чем ты бредишь?

— О часах! О своих часах! Не дурачься, Даут! Вспомни о своих годах. Я знаю, ты ловкач. У пузатой коровы можешь незаметно телянка из брюха украсть, не то что часы у меня из кармана вытащить. Но всякой шутке есть конец. Отдавай часы, вышьем по этому случаю, потолкуем о статье товарища Текеева...

— Да ты что ко мне с часами прицепился! Говорю тебе, не видел я твоих часов! Вот заладил — часы, часы! Я со вчерашнего вечера, как из Ростова приехал, у тебя не был!

— Вот вчера ты их и стянул! После тебя ко мне никто не приходил!

— Иди к Ачею, сосед! Пусть он тебе уши прочистит! Я тебе громко говорю — не брал твоих часов! Не видел! Хаджи-Даут побледнел от гнева.

— Пределов своим шуткам совсем не знаешь, Даут, сын Мырзы! Чересчур много на себя берешь. Живот от натуги лопнет.

— Свой держи, чтоб не лопнул! — окончательно обозлился Даут.

— Жил я, когда у меня часов не было, и теперь проживу! Пусть у тебя часы мои будут! Пусть, если они тебе совесть заменят! А мы с тобой еще встретимся, посмотрю, как мне в глаза глядеть будешь!

Гневом пылало лицо Хаджи-Даута. Пальцы его, сильно сжав костяную ручку посоха, побелели. Не оглядываясь, он пошел к выходу и, хлопнув дверью, выскочил из дома.

— Лечиться надо! — выключив радиолу, в открытое окно завопил хозяин.

— Чем ты его обидел, отец? — спросил Азрет со двора. — Он, как от чумы, побежал от нашего дома.

— Оллахий, зря он с ума сходит! Говорит, часы его взял! А я их со вчерашнего дня и в глаза не видел! Авось до вечера отойдет, а там посидим у Унуха, выпьем, помиримся...

11. Политическая ошибка (из Синей тетради Хохалая)

Сегодня у сельсовета окликает меня Хаджи-Даут. Весь взъерошенный, сердитый. Протягивает мне ключи и показывает — этим, мол, большим, дом откроешь. Который поменьше, этим сундук отомкнешь. А в сундуке надо взять военную сумку и быстрее снова сюда, к председателю Толпа улу.

«Военной сумкой» Хаджи-Даут называет старый, выдавший виды офицерский планшет. Привез его с фронта. Нашел я планшет, принес. Захожу к председателю, отдаю соседу. Хаджи-Даут раскрывает планшет и вываливает на стол целый ворох бумаг — документы, фотографии, старые облигации. Долго роется в бумагах и наконец находит то, что искал. Эта пачка квитанций. Взял Хаджи-Даут аккуратно сколотые листки и отдал председателю.

— Что это? — удивляется наш председатель Толпа улу.

— Это квитанции городского мастера, который часы мои чинил!

— Зачем ты их собирал, зачем хранил? — недоумевает Толпа улу, перебирая квитанции. Их много, не один десяток.

— Всякий документ хранить надо.

Слушаю я их разговор и ничего не могу понять. Нако-

нец начинаю понимать — Хаджи-Даут обвиняет своего друга Даута в воровстве! Все в Кумыше бывало, но такого еще не было! Я своим ушам не верю! Чтобы Даут мог украсть часы у Хаджи-Даута?

— Не такой человек Даут,— заявляет председатель.— Спроси кого хочешь — все скажут. Никто не поверит, что Даут на такое способен. Спроси Хохалая. Мал, да разумен. Поверишь ты, Хохалай, что Даут, сын Мырзы, друг Хаджи-Даута, уважаемый нами человек, мог стать вором?

Оба они на меня смотрят.

— А что, собственно, случилось? — спрашиваю.

Председатель сельсовета и Хаджи-Даут, перебивая друг друга, рассказали мне, что час назад наш сосед пришел к Толпа улу, попросил всех выйти, так как собирался сообщить важную тайну. Все: то есть секретарь, смуглолицая Халимат, бухгалтер Ханат и заведующая библиотекой, оказавшаяся в ту минуту,— встали и вышли. И тогда Хаджи-Даут официально заявил председателю Кумышанского сельсовета, представителю власти, что его сосед, гражданин Даут, сын Мырзы, является вором: вчера вечером, зайдя к нему в дом, он похитил часы, оставшиеся Хаджи-Дауту в память об отце Кара-Мырзе, которому эти часы достались от его отца Соджуха, являвшегося также и дедом потерпевшего, да будет им обоим земля пухом. После этого Толпа улу также официально предложил Хаджи-Дауту, прежде чем делать подобные заявления, хорошенько поискать часы дома. Например, под столом или под кроватью.

На это Хаджи-Даут заявил, что все уже обыскал и, кроме того, он не такой дурак, чтобы часы держать под кроватью. Он всегда их держит в кармане. И на этот раз он тщательно проверил свой карман, прежде чем идти в такое важное учреждение, как сельский Совет.

Тут меня осеняет.

— Уважаемый Хаджи-Даут! — предлагаю я.— А может быть, стоит посмотреть, нет ли в твоём кармане дыры?

Хаджи-Даут выворачивает свой карман, расправляет его, и мы с председателем убеждаемся, что карман цел.

— Да,— задумчиво произносит Толпа улу,— дела... Ну что же, Хаджи-Даут, раз твое заявление официальное, придется мне также официально звонить в милицию. Пусть едут и проводят следствие.

Он берется за телефонную трубку, но Хаджи-Даут вырывает у него телефон и сердито заявляет, что на старости лет еще не сошел с ума, чтобы своего земляка и бывшего друга, человека, хотя и скверного, сдавать в милицию. Он,

Хаджи-Даут, пришел к председателю, как к хозяину аула, как к уважаемому лицу, которое лично, один на один, должно поговорить с хитрым Даутом, устыдить его. Даут, разумеется, вернет тогда часы. Хотя, если разбираться с умом, дело не в самих часах. Не часы свои законные требует назад он, Хаджи-Даут, а уважения к себе требует со стороны Даута. Хотя и часов ему тоже жаль. Им цены нет, этим часам. А еще более жалко цепочку...

Тогда Толпа улу осторожно напоминает, что вообще-то часы совсем старые, со времен царя Николая, наверное, эти часы. И, если честно сказать, в теперешнее время они и пяти рублей, наверное, не стоят.

Хаджи-Даут с ним соглашается — пять рублей не деньги, он за ремонт часов раз в десять больше заплатил. Если председатель не верит, пусть документы посмотрит, пусть подсчитает квитанции. Председатель говорит, что верит. Но в его глазах Хаджи-Даут, по-видимому, замечает сомнение. Старик снова начинает горячиться, заявляет, что терпеть не может, когда ему не верят, и требует, чтобы председатель считал.

Председатель считать не хочет. Он согласен — много денег ушло на ремонт этих часов. Но Хаджи-Даут подает ему бухгалтерские счета и все-таки заставляет считать. Получается очень много, и Толпа улу вслух удивляется:

— Оллахий! За эти деньги ты, наверное, трое новых часов купить мог!

— Я повторяю, что не в деньгах дело! — терпеливо разъясняет Хаджи-Даут. — Моим старым часам цены вообще нет. Как много они стоят, никто сказать не может.

— Но почему же? — не согласился Толпа улу. — Почему нет им цены? Что в них такого особенного? И не золотые они были, а позолоченные. А циферблат пожелтел от старости, как осенний лист кукурузы. И стрелки, помню, были гнутые...

— Все равно. И циферблат желтый. И стрелки кривые. И идут неточно, и тяжелые слишком, а все равно им цены нет! Я уже в который раз говорю, что это память об отце и об отце отца!

— Я это слышал, уважаемый Хаджи-Даут. Но не лучше ли тебе купить новенькие часы, которые будут точно показывать время? Они и в память о твоём отце будут, и время станут точно показывать. Не лучше ли новые купить, раз уж эти пропали? — уговаривает председатель Хаджи-Даута и на меня поглядывает, словно просит поддержать его.

Смотрю я на Хаджи-Даута и по его лицу понимаю, что эти слова ему совсем не нравятся, терпенье его вот-вот кончится и сдерживает он себя лишь из уваженья к представителю власти.

— Выйди-ка, Хохалай! — вдруг приказывает Хаджи-Даут. — Иди домой. Ты больше не нужен.

Я ухожу, но дверь остается открытой, а старик говорит так громко, что даже на улице слышно.

— До этого дня, — кричит Хаджи-Даут председателю, — не замечал в твоей работе никакой политической ошибки! Хорошо следил, но не замечал! А сегодня вижу — крупную ошибку ты допустил. Совсем нехорошую ошибку.

— Какую ошибку я допустил! — повышает голос и Толпа улу. — В чем ошибка? Ты думай, когда говоришь, уважаемый Хаджи-Даут!

— Я думаю! Твоя ошибка в том, что не придаешь большого значения задаче воспитания подрастающего поколения! — торжественно и медленно, будто читая газету, заявляет Хаджи-Даут. — А это важная задача.

Некоторое время из комнаты ничего не доносится. Наверное, председатель сельсовета огороченно рассматривает старика.

— Придаю, — наконец слышу я голос Толпа улу. — Почему не придаю значения этой задаче?

— А если придаешь, то почему при Хохалае, одном из представителей молодого поколения, ты, представитель Советской власти, без должного уважения говоришь о памяти предков? Дело не в том, что это мои предки. Я имею в виду всех предков. Как Хохалай вырастет хорошим советским человеком, если не будет уважать предков? Если не будет думать, что они хорошие люди были?

— А что я такого сказал?

— А то, что при Хохалае ты заявил, что если часы точно время не показывают, то, значит, грош им цена! Если так, давай весной распашем кладбище, где лежат наши предки, и на их могилах будем картошку сажать! Картошка выгодней, чем память предков!

— Не морочь мне голову, Хаджи-Даут! — снова возвышает голос председатель сельсовета. — Не говорил я ни о какой картошке! Хочешь, чтобы я усовестил Даута, — пожалуйста. Хоть сейчас вызову!

— Не надо сейчас!

— А когда же надо?

— Никогда пока не надо! Может, у самого Даута совесть проснется, и он сам принесет мне часы!

— Так что же ты тут столько сидишь, от дел отрываешь! То говори с Даутом, то не говори! У меня отчет в район горит! Можешь ты это понять?!

— Могу. Если тебе сейчас некогда, давай вечером говорить будем. Приходи к Унуху, там и говорить будем.

— Ладно, ладно, уважаемый. За столом у Унуха говорить будем! — Толпа улу обрадованно провожает старика на крыльцо. — Иди, дорогой, занимайся своим делом. А к вечеру и часы свои найдешь.

— Молод ты еще, — недовольно заключает Хаджи-Даут. — Ничего не понял, а еще председатель! Да по моим часам пусть шайтан время сверяет, они всегда вперед бегут. Не в часах дело, в совести!..

12. Как серый осел начал разрушать крепость дружбы

В день, когда жена снова отправилась в родильный дом, Унух вспомнил народный обычай. В своем дворе он установил три высоких столба, макушки их скрепил вместе, а от самого верха до земли спустил пропитанный жиром крепкий ремень. Если сын родится, по этому ремню полезут вверх самые ловкие джигиты аула, попробуют достать подарки, что будут висеть на спицах большого деревянного колеса, укрепленного на верхушке столбов. А если дочь родится, на этом ремне повесится сам Унух. Так он решил, когда столбы устанавливал.

Но не стали эти столбы виселицей. Не болтается на ремне Унух. Он сидит в доме и ждет гостей. Сидит Унух и ласково смотрит на туго спеленатый теплый комочек. В руках Унуха долгожданный сын, наследник, мужчина. Сидит счастливый отец в самой светлой комнате своего дома, а в других комнатах суетятся веселые женщины. Снуют дочки Унуха, помогают как могут — сегодня все до одной пригодились. Во всем доме пекут, варят, жарят — шикарным и богатым должен быть стол. Сколько лет ждал Унух этого праздника!

А по крутым дорогам Карачая несутся во все аулы гонцы. Несутся с радостной вестью — сын у Унуха родился, вечером ждет гостей, вечером той большой будет. И спешат в Кумыш на веселье все дальние и все близкие родственники Унуха.

Спешите, гости! Смотрите, как спокойно лежит и ровно дышит этот маленький богатырь, красавец, умница, настоя-

щий мужчина, будущий герой, лежит он на пышных подушках под дорогим шелковым одеялом. Сам с вершок, но в груди его бьется сильное, молодое, горячее сердце, стучит в двери прекрасной будущей жизни. Пусть будет она светлой, пусть ждет тебя замечательная дорога, уважаемый молодой человек, первый сын заведующего молочной фермой Унуха...

Широк двор Унуха. Толпится народ во дворе. Над кострами — котлы. В котлах варится мясо. Несколько мальчишек на длинных шампурах жарят шашлык.

Просторен под своей железной крышей дом Унуха. Кунацкая набита гостями. На приставленных друг к другу длинных столах и питья, и еды вдоволь, все здесь есть. Наверное, если как следует поискать среди всех этих бесчисленных блюд, тарелок, мисок, можно даже найти посудину с птичьим молоком. Множество молодых и старых гостей сидит за столами. Тамада — всеми уважаемый Айдамбул, виночерпий — шапа — сам Унух. Он бдительно следит, чтобы у всех были полны бокалы и рюмки.

Пуста лишь рюмка, стоящая перед хозяином дома. В самом начале, как только все сели за стол. Унух встал и попросил у тамады Айдамбула, у его помощников Даута и Хаджи-Даута, сидящих по левую и по правую руки тамады, у всей компании разрешения не пить. Такая просьба за карачаевским торжественным столом — событие исключительное, небывалое! И после слов Унуха гости сначала негодующе смолкли, а потом подняли такой крик, что Айдамбулу пришлось довольно долго стучать по столу, устанавливая порядок.

— Если не пригубишь, обижусь! — категорически заявил Хаджи-Даут.

— Не могу! — завертел головой Унух. — Я тяжело болен.

— И когда ты таким стал? — удивился Даут. — Оллахий, никому не поверил бы, если услышал, что на своем собственном празднике Унух рюмку в сторону отодвинул! Не верю ушам своим, не верю глазам! Тебе же не идти сегодня на ферму. Сегодня можно. Возьми-ка в руки свой бокал, уважаемый Унух. Аллах свидетель — от такого не умирают. Если бы от такого умирали, я бы давно уже в Черном ущелье был!

— Не могу, — стоял на своем Унух. — Не будьте жестоки. Говорю — болен я.

— Смотрю я сейчас на тебя, — вдруг сказал долго молчавший Айдамбул, — и думаю: по твоим словам, на тебе места нет, которое не болело бы, кроме твоих румяных щек.

Вышей-ка и умри, если от этой капли тебе суждено умереть. Умрешь — похороним. Раньше я, твой старший брат, никак не мог уговорить тебя бросить пить, а теперь не могу заставить тебя уважать гостей. Упрямый ты что-то стал. Прояви сознательность — не заставляй всех нас ждать.

— Люди, так что же это такое! — закричал тут Унух. — Почему не верите! Почему родной брат брату не верит, если не покажу бумажку с круглой печатью.

Унух запустил руку в глубокий карман своих праздничных галифе, достал сначала пестрый большой носовой платок, за ним кожаный желтый пухлый кошель, а потом красный с синим по бокам узором кисет. Неторопливо отправив обратно в карман и кошель и платок, Унух развязал кисет и вытащил из него вчетверо сложенный листок бумаги, развернул его, разгладил ладонью и протянул старшему брату.

— Читай, если не веришь!

— Когда это я был таким грамотным? Что это? Кто написал?

— Ачей написал.

— Что Ачей написал, только Ачей и может прочесть, — решил Айдамбул. — Ачей, твои каракули никто разобрать не может. Читай сам.

— Дай Дауту, — сказал Ачей. — Я очки дома оставил.

Даут взял листок, долго вертел его, стараясь разобрать строчки.

— Не обижайся, уважаемый Ачей. Благодаря аллаху, знаю я и латинские, и арабские, и русские буквы. Но буквы, что ты нарисовал, понять не могу. Если среди нас и есть тот, кто может усмотреть в этой бумажке смысл, так это, наверное, товарищ Текеев. У него в школе много озорников, он всякие буквы привык видеть.

Переходя из рук в руки, бумажка наконец попала к Текееву. Тот тщательно вытер масло с рыжих усов, мелко прокашлялся, прочищая глотку, и начал читать, спотыкаясь чуть ли не на каждой букве:

— «Справка. Выдана жителю аула Кумыш сыну Кокая Бытдаеву, заведующему второй фермой. Бытдаев Унух, сызмальства работая то телятником, то крупным скотником, истощил себя тяжким трудом и немного сдвинул с места свое здоровье. Немного побаливает его желудок, и печень не совсем в порядке. Почка правая, как показало медицинское зеркало, которое зовут рентген, заметно потемнела,

что, по правде говоря, еще не так страшно. Если даже вырезать эту почку и выбросить, Унух может и без нее быть живым довольно продолжительное время. Кроме перечисленных, есть еще кое-какие нарушения в организме заведующего фермой. Например, в пояснице его поселилась колющая болезнь по названию ре-ди-кюль-ит, ноги его захвачены ревматизмом, а в мочевом пузыре обнаружены камни. Не очень еще большие, но достаточно тяжелые. Но все эти неприятные вещи — пустяк по сравнению с главной болезнью этого человека. Заставляет тревожиться, прямо сказать — вызывает опасения его сердце. Налицо первая стадия тяжелого порока этого органа. Где бы ни находился Унух, с кем бы ни сидел за столом, он должен себя щадить и остерегаться прежде всего водки! Если Унух ее не оставит, сердце его может остановиться. Таким образом, на свадьбах, на торжествах, на праздниках, во всех местах, где много едят и пьют, ни у кого нет права заставлять Унуха пить, если он сам того не пожелает. Эта справка дана для предъявления за столом тамаде и его помощникам. Дал ее дохтур аула Кумыш, фельдшер Ачей, сын Идриса».

— А печать есть? — спросил Даут, когда Текеев закончил чтение документа.

— Есть печать. Есть подпись.

— Раз печать есть — бумаге нельзя не верить, — решил тамада.

— Правильно, — поддержал его Даут. — Хорошую справку дал наш Ачей. Случайно, наверное, дал. Случайно обо мне подумал...

— А ты при чем здесь? — не выдержал Хаджи-Даут.

— А при том, что теперь мне придется всегда выручать Унуха, — не глядя в его сторону, ответил Даут и подвинул к себе стакан хозяина дома. — Правильно, Унух. В рот теперь не бери ее, проклятую. При всех обещаю, слово даю — отныне всегда твою долю буду пить я. Хоть и трудно, но буду тебя выручать.

Гости облегченно зашумели — выход нашелся. Той должен теперь идти своим порядком. Айдамбул поднял бокал, собираясь произнести пышный и длинный, как и полагается по такому важному случаю, тост. Но вдруг восстал Хаджи-Даут. В жизни он никогда не настаивал, чтобы кто-нибудь шил против своего желания. А тут, ко всеобщему удивлению, начал требовать от Унуха, чтобы тот не отдавал Дауту свой стакан.

— Тебе человек или бумажка дороже? — вопрошал он громко Унуха.

— Человек, — признался заведующий фермой.

— Тогда пей! Обиду моей душе нанесешь, если отдашь рюмку свою Дауту!

Недоумевали кумышанцы: спокойный человек, отзывчивый. В горе, в несчастье всегда готов помочь другому. Всегда считает своим долгом больного проведать, выразить соболезнование семье умершего, даже в долг охотно дает, даже на торжества редко ходит да и сам пьет очень мало! А тут вцепился в Унуха — хоть силком отрывай!

Не ведали кумышанцы, что сейчас происходило в душе Хаджи-Даута. А в душе его бушевала буря. И на это торжество он, может быть, не пришел бы. Но были две важные причины. Первая — это то, что Унух и Айдамбул — единственные в ауле родственники Шамды. Как их не уважить? К тому же Хаджи-Даут рассчитывал найти удобный случай, чтобы поговорить с Айдамбулом насчет сватовства к Шамде.

Вторая причина — часы с цепочкой! Надо было выяснить до конца отношения с Даутом — либо взять у него часы и помириться, либо если так не получится, то по-настоящему поссориться и заставить Даута горько пожалеть о своем бесчестном поступке.

О первом деле Хаджи-Дауту удалось поговорить еще до того, как все уселись за стол. Отозвав Айдамбула, старый жених ясно намекнул ему на существо дела:

— Аллах видит, Айдамбул, есть такое дело, которое без тебя не может решиться. Не осуждай меня, но я хочу прямо тебя просить поговорить с одной женщиной...

— С Шамдой, что ли? — ошеломил Хаджи-Даута Айдамбул.

— С ней. Но как ты догадался?

— Со мной только что говорил Даут. Все знаю. Обещал ему, поговорю с Шамдой. Лучший зять, чем Азрет Даутов, пусть и не снится ей. Будь спокоен. Если аллах скажет: «Я за!», дело твоего друга будет улажено...

Расстроился Хаджи-Даут, прикусил губу, промолчал. Разве скажешь Айдамбулу, что хотел просить его совсем о другом? Расстроился Хаджи-Даут — видно, аллах так надумал: если и суждено осуществиться его мечте о Шамде, так только после того, как решится судьба ее дочери. Если так, скорей бы Зубайда вышла замуж. Айдамбул прав: Азрет, хоть и никудышного отца имеет, хорошим зятем будет. «О, аллах! — горячо воззвал жених. — Помоги же Азрету стать зятем Шамды, а его теще стать мачехой моему Мурату!»

Переговорив с аллахом, Хаджи-Даут вошел в дом, за столом сел рядом с Айдамбулом. Краем уха слушал, краем глаза поглядывал на своего бывшего друга Даута. Все ждал, что обратится к нему Даут, серьезно попросит прощения, вернет часы с цепочкой. Но Даут без умолку говорил со всеми и обо всем, только с Хаджи-Даутом не говорил, только о часах с цепочкой не говорил — будто и часов его никогда не видел и пальцем их даже не трогал. И начал в Хаджи-Дауте просыпаться дух борьбы. Шайтан, видно, сел за стол рядом с ним, начал подталкивать под руку. Все уже оставили Унуха в покое, а Хаджи-Даут никак не мог успокоиться.

— Пей, хозяин! — требовал он. — Не обижай меня в своем доме!

— Уважаемый Хаджи-Даут, — хныкал Унух. — От всех я спасаю. Как от тебя снастись?

— Не спасешься, оллахий!

Кругом все кричали, просили Хаджи-Даута, чтобы отстал от Унуха. Но не слушал старик никого, не желал угомониться. И сдался в конце концов Унух, отобрал у Даута свой стакан, поднес его ко рту с таким видом, будто яд в нем смертельный, закрыл глаза, широко открыл рот, и за столом все смолкли...

И тут вдруг во дворе, под окнами раздался могучий ослиный рев. Зазвенели оконные стекла, вздрогнули гости. Так мог кричать Азанчы — осел Айдамбула. И кричал в этот раз не на Синем холме, не перед намазом! Кричал под навесом Унуха, кричал в неурочное время, нарушая раз навсегда установленный в Кумыше порядок!

— Что это такое? — встревоженно поднялся Айдамбул...

13. Айдамбул

Давно это было. Ехал горец домой с коша и жену в седле вез. Торопил коня горец: жена рожать собралась, скорее надо было в аул добраться. Торопил коня горец, но в аул не успел: в пути жена родила. «В седле сын родился», — говорил горец потом. Этим горцем был отец Айдамбула.

А сам Айдамбул утверждал, что с того самого дня он не слезал с коня. В молодости Айдамбул не пас лошадей, не пахал землю, не растил урожай. Но зато был великим мастером темной ночью угнать чужой скот. Во всем Карачае, рассказывают, не было второго такого лихого конокрада,

каким был Айдамбул. Никто лучше его не знал горных дорог и перевалов. И стада, которые перегонял Айдамбул, навсегда исчезали, будто поднимались на крыльях в небо.

Встреч с Айдамбулом старательно искали владельцы скота из Кабарды, из Грузии, из соседних русских станиц. Все они были хорошо вооружены. Айдамбул это знал и предпочитал выбирать другие дороги. Поэтому и сохранил голову на плечах, а пули, ждавшие его, оставались в стволах.

Когда пришла Советская власть, оказалось, что у нее есть серьезные претензии не только к конокрадам, но и к тем, кто скупал краденый скот. Айдамбул быстро сообразил, что его профессия в новых условиях не сулит ярких перспектив. Из конокрада ему пришлось переквалифицироваться в конюхи. До глубокой старости пас он колхозных коней.

Очень стар сейчас Айдамбул. Никто в ауле не может сказать, что помнит, когда он родился. Да и сам Айдамбул позабыл.

— Всех своих сверстников я давно проводил в Черное ущелье, — говорил старик. — Одного болезнь, другого война унесла. Один я остался. Так долго живу, даже перед аллахом неловко. Будто взрослый среди детей играюсь. Агаз босая еще бегала, когда я уже знатным конокрадом был...

Не может время победить Айдамбула. Он всегда подвижен и бодр. Зубы целы. Глаза неплохо видят. Да и руки крепки. Косить — равных ему не много в ауле сыщется. Каждый год старшинствует над звеном косарей. И следить за собой не ленится — одежда чистая, борода и усы расчесаны, на улицу выходит — опрятный, подтянутый, начищенный. Молодым есть чему поучиться у Айдамбула.

После смерти своей старухи живет он с Унухом. Айдамбул и Унух родные братья, хотя совсем друг на друга и не похожи ни внешностью, ни характером. В их семье было когда-то десять детей. Осталось двое: самый старший — Айдамбул и самый младший — Унух. Все остальные — в Черном ущелье. В молодости Айдамбул считал, что мертвые ничего не требуют от живых. Им все равно, им ничего не нужно. Но теперь никто чаще Айдамбула не приходит на кладбище. Он всегда провожает усопших в последний путь и даже Коран читать научился, чтобы знать все мусульманские адаты о покойниках, чтобы свято их чтить. И, пожалуй, он сумел бы даже заменить эфенди, если бы потребовалось, на похоронах.

Впрочем, в Кумыше до сих пор рассказывают, что в мо-

лодости Айдамбул тоже умел выдавать себя за эфенди. И у него нецлохо получалось. Как-то вместе с другом своим Адурхаем гнал он голов двадцать скота, и на мосту в станции Преграденской их повстречали казаки.

— Тебя, может, и не узнают, но если меня увидят, сразу поймут, что стадо ворованное,— сказал Айдамбул товарищу и ловко приклеил себе фальшивую бороду и усы, а голову украсил белым тюрбаном, который на всякий случай всегда возил в своем хурджуне.

Пересчитали казаки скот, взяли положенную за прогон стада пошлину и открыли дорогу. Двинулись дальше друзья, порядочно отъехали от опасного места. Айдамбул уже собрался было сорвать свою бороду, как вдруг увидел, что за ним скачет один из казаков.

Догнал их конник, спросил Адурхая, хорошим ли эфенди считается его приятель. Разумеется, Адурхай не пожалел слов, рассказывая о достоинствах своего друга.

— Раз твой друг такой знаменитый эфенди, пусть поможет моему брату,— попросил казак.— По пьяному делу младшего брата в бок пырнули ножом. И наши русские попы пробовали лечить, и знахари всякие травы прикладывали, и старухи болезнь заговаривали. Ничего не выходит. Не выздоравливает младший. Осталось одно: деда нашего когда-то от смерти спас ващ, карачаевский эфенди. Пусть твой друг поедет, посмотрит. Вдруг толк с того будет? А мы и деньги вернем, что за проезд взяли, и еще добавим.

Может быть, Айдамбул и отказал бы, да тут подъехали остальные казаки.

— Сам видишь, нельзя сказать «нет»,— шепнул Айдамбул приятелю.— Ты, Адурхай, гони всю скот, а я поеду с ними. Может, отделаюсь от них как-нибудь, тогда догоню...

Ехал Айдамбул с казаками, а сам смотрел, запоминал — и как улицы расположены, и высоки ли плетни. Подъехали наконец к дому. Айдамбул позволил ссадить себя с коня и вошел в дом с почетом, под руки его поддерживали два услужливых казака. А после хорошего угощенья взялся «лечить» больного: старательно прогоняя злого духа болезней, закатывал глаза, что-то горячо шептал, дул в лицо больному и время от времени вскрикивал всякую бессмыслицу, вроде «Уф-чудо-чохий, уф-чу-чухий! Двух мышней впрягли в ярмо, таская ситом воду. Далеко ли ты, Адурхай? Уф-чүф-тохий, поросенку во дворе тьфу!»

Наконец Айдамбул кончил врачевать, сказал, что через две недели больной поправится и что его, эфенди, казаки,

если будет нужно, пайдут в ауле Джазлык. И он будет всегда рад так помогать страждущим...

К великому удивлению самого Айдамбула, больной через две недели встал на ноги, и преградненские казаки в награду за то, что эфенди вернул жизнь почти уже мертвому казаку Федосею, перестали брать пошлину с карачаевских пастухов. А через некоторое время Айдамбул сам рискнул заехать в Преградненскую станицу, назвался сыном того эфенди, что выручил Федосея, подружился с ним и потом частенько наезжал к нему в дом, где всегда его ждал радостный прием.

В прошлом году Айдамбул снова решил побывать в Преградненской. Захотелось ему еще раз посмотреть на станицу, повидать знакомых станичников. Вернулся старик недовольным.

— Никого не нашел знакомых,— сообщил он кумышанцам.— Все давно почили, один я остался. И вообще вся жизнь там стала такой же легкой, как и у нас. Не жизнь стала, а будто той бесконечный. Раньше на хорошем коне надо было целых два дня скакать от Карачая до станицы Преградненской. А теперь сел на автобус, сказал автобус: «би-би», привез на место и снова сказал «би-би» — приехали, мол, вылезайте. Раньше на коне едешь и по сторонам зорко смотришь — не сидит ли кто за кустом с ружьем, направленным на тебя. А теперь, если и на коне едешь, всю дорогу дремать можно. Легкая стала дорога. Все легким стало. Даже хлеб легко достается. Ни крови, ни пота за хлеб не проливаешь. Легкая стала жизнь. Весь труд машины на себя взяли. А если и при этой жизни устанешь и упасть хочешь, все равно со стороны помощь придет, все равно рядом опора найдется. Живу я среди вас, будто живу рядом с детьми. Они куда-то спешат, торопятся, один я замешкался, топчусь на месте...

Стар Айдамбул, многое видел, многое знает, многое умеет. Несколько лет назад, когда сельсовет в Кумыше постановил отменить право на частное владение лошадьми, Айдамбул продал своего буланого коня, последнего своего коня в жизни, и обзавелся осленком. «Осел — тоже животное,— рассуждал Айдамбул.— Осел, когда вырастет, конечно, конем не станет. Но у него тоже четыре ноги, четыре копыта, и его можно водить на водопой, чесать за ухом, класть ему в ясли сено. И даже навоз его пахнет точно так же, как конский».

Хороших кровей был у Айдамбула осленок. Мать его, известная своим кротким нравом и чистым звучным голо-

сом, принадлежала эфенди Ожаю. И Айдамбул дал ему за осленка четыре пуда непросеянного ячменя.

Одно время в Кумыше вообще было много ослов. Особого внимания на них не обращали, пока их не развелось столько, что начали страдать сады и огороды. Тогда сообразительные кумышанцы нашли простой выход — в безлунную ночь огромное стадо кумышанских ослов перекочевало через мост над бурной Кубанью в соседний аул Сары-Тюз. Однако сарытюзцы считали себя не менее сообразительными, и стадо кумышанских ослов, увеличившись ровно вдвое, вернулось следующей ночью в родной аул.

Никто не знает, до каких пор скитались бы длинноухие из аула в аул, если бы об их нелегкой судьбе не узнали заготовители из ближайшей станицы Красногорской. Приехали они, погрузили на машины многострадальцев и куда-то увезли. Спасибо им, сердечным заготовителям! Если бы не они, бедные отверженные каждую ночь курсировали бы из Кумыша в Сары-Тюз и обратно, сотрясая шаткий мост над рекой.

Ныне в Кумыше ослов осталось совсем мало, и жители аула их теперь чтят и любят как редких представителей исчезающего племени. Особенно любим осел Айдамбула. От всех ослов на свете он отличается не только своим мелодичным ревом, но и чрезвычайно редким даром: он кричит не где попало и не столько раз, сколько ему взбредет в голову. Нет, он кричит, только взобравшись на самое высокое место в ауле, на Синий холм, и кричит ровно пять раз в день — точно перед намазом. Раньше в Кумыше, как и в других аулах, тоже был азанчы — человек с зычным голосом, который строго следил за временем и, когда было нужно, поднимался на мипарет и оттуда призывал правоверных приступить к свершению намаза. Когда старые кумышанцы убедились, что осел Айдамбула не хуже азанчы умеет следить за временем, а к тому же кричит намного громче да еще и не пьет, как люди практичные, они отказались от услуг азанчы. А осла так и прозвали — Азанчы. И теперь, хоть режь его, хоть ломай хребет ему, осел рта не раскрывает, пока не наступает час молитвы.

Одни полагают, что этим ценным даром Азанчы обладает потому, что родился во дворе эфенди Ожая, имевшего, надо думать, более близкие отношения с аллахом, чем остальные кумышанцы. Другие считают, что к редкому дарованию осла аллах не имеет никакого отношения. Все дело не в аллахе, а в Айдамбуле. Так думают сторонники другой версии: просто-напросто осел перенял все привычки

хозяина, который за всю свою долгую жизнь не пропустил ни одного намаза. Шамда, например, убеждена, что если бы Азанчы принадлежал не Айдамбулу, а Дауту, то он был бы заурядным алкоголиком, и не более того. А что касается неуклонного стремления Азанчы взобраться на Синий холм, перед тем как начать орать, так долго ли Айдамбулу научить своего осла такому? Тому самому Айдамбулу, который в молодости заставлял плясать скакунов под звуки своей берестяной дудуи?..

Так вот, в тот самый момент, когда гости замолчали, Азанчы — этот самый дисциплинированный из всех кумышанских, а может быть, даже из всех карачаевских ослов — вдруг закричал! И закричал не на Синем холме, а во дворе, под навесом!

— Что же это такое? — встревоженно оглядел всех Айдамбул.

— Оллахий, как нехорошо кричит! — поддержал его Даут. — К добру ли это?

— Очень хорошо кричит, — тут же возразил ему Хаджи-Даут. — Что плохого в его крике? Только голос, кажется, немного хриплый. Наверное, у него грипп. Надо медицинские меры принять, а то можем лишиться такого замечательного осла. Слушай, Ачей, нельзя ли прописать Азанчы какие-нибудь лекарства или укол какой?

— Что ты такое говоришь, сын Кара-Мырзы! — сразу возмутился Даут. — Хочешь, чтобы к бедному ослу смерть пришла от руки Ачея? Кто знает, сколько еще проживет Азанчы? А если руки Ачея его коснутся, ясное дело — в тот же день Кумыш без такого знатного осла останется...

— Что ты, Даут, имеешь против рук Ачея? — немедленно запротестовал Хаджи-Даут. — Если я заболел, пусть меня только Ачей лечит!

— Осел, наверное, по-другому думает! Ему жизнь дороже, чем тебе!

— А ты иди и спроси, о чем он думает! — язвительно предложил Хаджи-Даут. — Ты, видно, ослиный язык лучше всех понимаешь. Кстати, заодно и узнай, почему это он сегодня кричит не вовремя.

— Не вовремя? — взвился Даут. — Да потому, что у него в голове, должно быть, часы испортились! Не то что ослу, а нам, людям, без часов очень плохо! Некоторые без часов как без рук! А еще вернее — некоторые из-за часов совсем теряют голову! Так без головы и ходят!..

Как только Даут помянул часы, краска гнева залила лицо его бывшего друга. У Хаджи-Даута к переносице хму-

ро стянулись густые брови. Злые слова заплясали на кончике языка, но они не успели сорваться. Со двора снова донесся могучий жизнерадостный рев Азанчы.

— Видишь, осел со мной согласен! — победно провозгласил Даут. — Без часов совсем худо! Выше стаканы, друзья! Выпьем за то, чтобы глаза моего друга Хаджи-Даута смотрели лучше, зорче! За то, чтобы они наконец увидели часы, которые он потерял. За то, чтобы не пришлось ему завтра, как и сегодня, ползать по полу под кроватью и искать свои часы! Пусть найдет свои часы сегодня и перестанет лягать всех подряд, как это иногда делает его лучший друг Азанчы!..

Все улыбались. Все знали, что язык у Даута длинный — без воды намочит, без ветра высушит. Зачем обижаться на такой язык?

Но Хаджи-Даут поднялся, выпрямился во весь свой небольшой рост и, не скрывая гнева, сказал:

— Своему языку ты всегда позволял слишком много, сын Мырзы Акбашев Даут! Но сегодня за этим праздничным столом ты перешел все пределы! И в самом деле, пусть Азанчы мне будет лучше другом, чем ты! Начиная с сегодняшнего дня рядом с тобой не сяду!

И Хаджи-Даут быстро вышел из-за стола. Никто даже не успел его удержать...

Эх ты, серый осел Айдамбула! Зачем кричал ты сегодня в неположенный час! Не кричал бы ты, серый, не начала бы, наверное, рушиться крепость дружбы, возведенная за много лет двумя старыми кумышанцами, двумя старыми друзьями!

14. Как серый осел разрушил замок любви

Просторный двор Унуха не видел до этого такого шумного тоя, таких веселых плясок. Парни и девушки не жалели в танце ног. Не жалели рук и зрители, хлопая в такт музыки. И уж, конечно, не жалела гармоники гармонистка. Двор Унуха был полон светлых мелодий.

Мурат Хаджи-Даутович никому не давал скучать. Тех, кто хлопал в ладоши, заставлял хлопать сильнее. Подгонял танцующих, командовал хором.

И парни дружно затягивали:

Саз мой так долго звенит.
Если песней тебя не сманю,

Что станешь делать, если
Завоюю тебя кинжалом?..

Еще дружной подхватывали девушки. И высоко — до небес — летел их ответ:

Что будет, что будет, если
Кинжал обагрится кровью?
Что будешь, что будешь ты делать,
Если я вдруг превращусь в стройное деревцо?..

Гремел хор парней:

Пусть ты в деревцо превратишься
И в землю глубоко вращесть.
Но ведь я могу тебя срубить,
В острый топор превратившись...

И снова отвечали девушки:

В острый топор превратившись,
Начнешь ты меня рубить.
Но что будешь, что будешь ты делать,
Если в небо взлечу я голубкой?..

Парни обещали стать ястребами, тогда девушки сообщали, что могут рассыпаться в густой траве мелким зерном. Ну что ж, решали парни — разве трудно им превратиться в квочек и отыскать в траве все сладкие зерна? Длинная и звучная песня в конце концов убеждала слушателей, что сопротивление девушек бесполезно, они должны покориться — ведь всем известно, что мужская любовь все равно одолеет...

Красиво танцует Азрет, сын Даута. Широко распахнут ворот его рубахи, высоко закатаны рукава, а на его сапогах, начищенных до зеркального блеска, так и скачут, так и сверкают быстрыми молниями огоньки. И сам Азрет с возбужденным лицом, с густой шапкой кудрявых волос, весь светлый, счастливый, будто озарен яркой вспышкой... Правда, Азрет ростом не вышел — полный, невысокий, никак не скажешь, что он сын долговязого Даута, но танцует он так лихо, что и малый рост незаметен...

Азрет и Мурат в один год родились, дружили с самого детства, все у них общее было, и никто никогда не видел, чтобы они по примеру своих отцов ссорились или спорили друг с другом. В Кумыше Мурата зовут Муратом, а вот Азрета по имени называют редко. Чаще кличут так — Чугунок. Что бы ни говорил Азрет, обязательно добавляет: «Пусть хоть чугунок треснет». И кумышанцы долго голову не ломали, чтобы придумать для него прозвище. Так и стал Азрет Чугунком...

— Ура, Чугунок! Чугунок, шевели ногами! — наперебой кричат со всех сторон.

Азрет старается — вертится как юла, как мяч подпрыгивает, как пружина сжимается. А перед ним лебедем плывет тоненькая девушка. Это Зубайда, дочь Шамды. Вот она раскрывает руки словно для объятий, и Азрет вихрем несется к ней. Но вот она резко поддергивает плечом, прибавляет шаг, уходя по кругу от парня, и танцор в смятении, в отчаянии, отвергнутый, носится вокруг любимой, ищет и не находит взаимности...

Красива Зубайда, бровью поведет, как крылом взмахнет, длинная коса змеей по спине вьется, лицо белое, с нежным румянцем. Хорошая пара — Азрет и Зубайда. И как только вошли они в круг, лукаво запела гармоника, выводя мелодию хорошо известной в Карачае песни «Смотри-те, танцуют влюбленные!».

А когда притомились танцоры, собрался народ у столбов, что вкопал Унух в глубине двора. Первый из парней, который сумеет добраться до укрепленного высоко вверх колеса, может выбрать какой угодно подарок. И, кроме того, ему по праву будет принадлежать широкая войлочная, набитая конфетами шляпа, что висит в центре колеса. Угостить конфетами девушек из этой шапки — об этом мечтает каждый из парней. А по краям колеса, на концах спиц висят шали, платки, косынки, шарфы, ожерелья, серьги, звонкое монисто. ждут подарки, чтобы ловкие парни вручили их своим возлюбленным. Любой аул в Карачае будет знаменит, если в нем найдется столько сильных парней, сколько развешано на колесе подарков. Пока такого не случилось ни в одном ауле. Но сорвать с колеса как можно больше — в этом вся хитрость. Иначе — позор Кумышу.

Целую неделю широкий кожаный ремень лежал в густом бычьем жиру, и как бы ни были руки крепки, парням не удастся подняться дальше середины. Под дружный хохот зрителей один за другим как мешки они сползают к земле. На какие только уловки не пускаются парни — мажут ладони глиной, карманы набивают песком, чтобы там, наверху, протереть им руки, перекидывают ремень через скрещенные ноги, давая отдых рукам, — ничего не помогает. Высоки столбы, скользок ремень. Нужно быть стальным, цепким, острым крючком, чтобы удержаться на таком ремне.

Азрет не желает знать, что такое усталость, неудача, поражение. Два раза пытал он счастье, и оба раза не дотянулся до колеса на какой-нибудь локоть! А устал, как

пахарь в знойный день,— пот заливает лоб, белоснежная рубашка вся пропиталась жиром.

— Может, хватит мучиться! — кричит ему одна из девушек.— Посмотри, на кого стал похож.

— Если даже лестницу подставить, такому толстяку, как Азрет, на эту высоту не взобраться! — смеется другая.

Много шуток, иногда довольно обидных, достается на долю неудачников. Одни из них не выдерживают, спешат отойти, скрыться из виду. Другие отшучиваются. И часто отшучиваются более успешно, чем взбирались по ремню. А Азрет и не уходил и не шутил. Широко расставив ноги, набычившись, он исподлобья, упрямо смотрел на ремень, как на серьезного опасного противника, которого во что бы то ни стало надо было одолеть.

В третий раз подошел Азрет к ремню. Полез, пополз медленной гусеницей вверх. И снова начались кругом те же шутки.

— Затяни пояс, а то штаны соскочат!

— Плюй на ладони скорее!

Достается и Зубайде.

— И-эй-эй! Зубайда, подними голову, подуей снизу,— не без ехидцы советует одна из подруг.— Может, легче будет бедняге подняться...

Не поднимает головы дочь Шамды. Краснеет, молчит, смотрит в землю. Видит, как в пыль, сверху, со лба Азрета, забравшегося уже довольно далеко, падают горячие капли. Знает Зубайда, ради кого потеет, ради кого старается Чугунок. Знают все парни и девушки. Нет для Зубайды более желанного парня, чем Азрет, и нет для Азрета девушки лучше, чем Зубайда.

Но у Шамды другое мнение. Терпеть она не может ни Даута, ни весь его род. И в первый же день, когда ей стало известно, что глаз Даутова сына зацепился за ее дочь, она Зубайде заявила:

— Смотри! Даже если он весь от уха до пяток из червонного золота, то и тогда чтобы я тебя рядом с ним не видела! Не обнадеживай его, охлади. А то если я его охладжу, так он совсем холодным станет! Придется в Черное ущелье тащить Чугунка!..

Но сказать легче, чем сделать. Как охладит Зубайда Азрета, если в ее сердце — одно только пламя и ни кусочка льда? «Чем его охлаждать, лучше тебя попытаться согреть, мама», — думает Зубайда, но вслух не решается возражать, хотя тот день, когда не видит Азрета, считает напрасно прожитым днем.

Каждое утро, отправляясь в школу, молодая учительница проходит по узкой тропинке мимо аульного сада. Там, где тропинка, встретившись с асфальтом у вишневых деревьев, кончается, она видит Азрета. Идя на работу, парень совершает порядочный крюк, сворачивая в сторону вишен, и, издали незаметно подглядывая на дом Шамды, то ускоряет, то замедляет шаг, стараясь поспеть к вишням как раз в ту минуту, когда возле них окажется Зубайда. Задача сложная, но Азрет ее хорошо освоил, и каждое утро, встретившись, они произносят две фразы:

— Доброе утро, Зубайда!

— Доброе утро, Азрет!

И больше ничего не говорят друг другу, если не считать разговора глазами.

На людной улице, в магазине, даже на торжествах они будто не замечают друг друга. Всюду, всегда рядом с ними зоркий глаз Шамды...

Просторен двор Унуха, много в нем гостей. И все теперь одобрительно шумят, подбадривая Азрета. А тот уже дотянулся до колеса, ухватился рукой за него, повис, а другой рукой сорвал шляпу с конфетами и высыпал их на визжавших от восторга девчат.

— Чугунок мо-ло-дец! Чугунок мо-ло-дец! — гремит во дворе дружный хор.

Опустошив шляпу, Азрет натянул ее на голову и, отцепив от колеса самую красивую шаль, усталый и счастливый спустился на землю.

Пламенно горит шаль, на алом шелке пылают пышные красно-желтые цветы. Осторожно держа эту шаль на вытянутых руках — словно хрустальную вазу, которую так легко разбить, Азрет долго стоит, а потом, решившись, неожиданно подходит к Зубайде, накидывает шаль ей на плечи и молча отходит в сторону.

Алеет шаль на плечах счастливой Зубайды. Алеет, как эта шаль, сама Зубайда. Не без зависти смотрят на нее многие девушки. А одна пара глаз смотрит гневно, не смотрит — дырявит взглядом. Это глаза Шамды. Едва подняв голову, Зубайда сразу видит эти два родных гневных глаза, видит, как мать, отделившись от толпы женщин, быстро направляется к ней. Вид у Шамды такой, что тресни сейчас земля, Зубайда с радостью кинулась бы в трещину. Но земля не разверзлась. Негде спрятаться Зубайде. А зрители смолкли: характер у Шамды не сахар, это все в Кумыше знают.

И тут в тишине вдруг что-то шумно и горестно взды-

хает: ну и жаль, мол, девушку! Ни за что пропадает! Смотрит Зубайда, что это еще за жалелщик нашелся? Смотрит и видит — незаметно для всех прилепился к столбам Азанчы, встал рядом, вздыхает. Наверное, соскучился по хозяину.

И вдруг Зубайда, кинув взгляд на приближающуюся мать, на молчащего Азрета, срывает с себя шаль и ловко набрасывает ее на шею осла!

Гневные глаза Шамды сразу теплеют. Она останавливается. Смеются парни, смеются девушки, улыбаются старики.

Не смеется Зубайда.

Не смеется Азрет. Он стоит, широко расставив ноги, смотрит колючим взглядом на Зубайду, без слов понятно — спрашивает: «Зачем ты это сделала?»

Стоит рядом и Азанчы, тянет свою серую шею к Зубайде, словно благодарит за щедрый подарок.

И тут Мурат поспешил на помощь другу. Он громко затянул старинную песню о красавице Актамак:

Поведу я тебя под венец.
Вместо повода — белая шаль.
Актамак, дорогая моя,
Ничего для тебя мне не жаль.

Думал Мурат — подхватят парни, дружно зазвучит хор во дворе, забудут люди о поступке Зубайды. Но напрасно он вспомнил именно эту песню. Как только пропел Мурат про шаль, снова раздался хохот. Очень уж был смешон Азанчы в своем алом наряде. И кто-то из парней, перебивая Мурата, начал другую песню:

О лунолика! Белый платок
Так красив на твоих плечах,
Твоя белая пышная грудь
Часто снится мне по ночам...

Если смешно, кумышанцев не надо просить смеяться. Они охотно делают это и без всякой просьбы. И снова во дворе Унуха обрывается песня: нельзя же петь и смеяться сразу! Даже старый Айдамбул сдержанно улыбается.

Не смеется Зубайда.

Не смеется Азрет. Громко, упрямо он начинает петь:

Ой-ра, лани пасутся в горах,
Лишь потом идут к роднику.
Сразу сватать тебя не стану,
Не держи на меня обиду,
Но не вижу в тебе почему-то
Тех достоинств, что видел раньше...

Теперь уже не смеется никто. Ни Зубайда. Ни Мурат.

Ни Азрет. Только серый осел скалит свои желтые-желтые зубы.

Но что осел понимает в любви? Зря он приплелся сюда, не вовремя приплелся. Приплелся и разрушил замок любви, который с такой робкой надеждой воздвигали двое влюбленных.

Впрочем, в жизни нередко так и бывает: одному ослу ничего не стоит мигом развалить то, что воздвигалось с огромным трудом.

15. Сенокос (из Синей тетради Хохалая)

Летом в Кумыше едва ли не самое важное дело — сенокос. Косят высоко в горах, косят поблизости от аула. В нашей бригаде такой порядок. Первым идет тамада Айдамбул. На втором месте либо Даут, либо Хаджи-Даут. Их спор за второе место никто в Кумыше решить не может. Никто не помнит, кто из них раньше родился. Правда, сам Айдамбул точно помнит, что Даут родился в тот год, когда на скот напал мор. Так же хорошо он помнит, что Хаджи-Даут появился на свет летом, в год засухи. Но вот какой год был раньше — это Айдамбул забыл. А поэтому решил: по четным числам на втором месте будет косить Даут, по нечетным — его приятель. Четвертым с косой идет Унух. Пятое, шестое и седьмое места занимают по старшинству сыновья Ачея.

В нашей бригаде есть еще один спорный вопрос — кому заниматься стряпней? Младшему сыну Ачея или мне? Когда я был в санатории у моря, самый младший из сыновей Ачея таскал воду, варил суп, мыл посуду. Но стоило мне появиться, он взялся за косу, а я остался у очага: Айдамбул боялся за мое больное сердце. Даже со здоровым сердцем не каждый может косить, а уж что обо мне говорить? Я надеялся, что Айдамбул в конце концов позовет меня. Но прошел день, другой, третий. Старик молчал.

На четвертый день я потихоньку выбрал глухую лоцинку неподалеку от коша и каждую свободную минуту стал бегать туда с косой. Я косил и утром, и в полдень, когда солнце становилось таким ярким, что косари ложились в тени на часок, и ночью, если светила луна. Айдамбул был прав — сердце мое бурно протестовало. Махну косой раз десять, и становилось так трудно дышать, что я садился, отдыхал. Но постепенно я отдыхал все реже и реже. К концу недели без передышки косил уже больше часа, и сердце

уже не колотилось, как раньше, беспорядочно и гулко, а билось ровно, хотя и несколько учащенно. Тогда я откладывал косу, брал вилы, принимался складывать сено в копну. Четыре копны я сложил за неделю. Я тщательно считал, сколько за это время накосила бригада, сколько приходилось на одного косца. Выходило — почти в два раза больше, но ведь никто из них не возился с обедом...

Вчера косари заметили копны в моей лощине.

— Какой-то шабашник объявился! — негодовал вечером Айдамбул. — Лощинку выкосил! Никто не видел этого жулика?

Пришлось признаться, что это моя работа. Айдамбул ничего не сказал, не похвалил, не поругал. Только взгляд его стал на минуту теплее. А утром он оставил сына Ачея готовить обед, а мне велел идти со всеми.

— Будете махать косой поочередно, — сказал он. — День ты, а день он.

В первый день я больше всего боялся, что не выдержу, свалюсь. Часто казалось, еще взмахну косой, и все — конец, упаду. Но не упал и вечером вернулся вместе со всеми усталый, но счастливый.

Ночь тихая. Над шалашом горят звезды. Лежим, не спим еще. И вдруг Айдамбул ни с того ни с сего спрашивает, какие три профессии самые древние, самые почетные на свете? И сам себе отвечает:

— Было у одного старика три сына. Когда они выросли, то пришли к отцу и задали тот же самый вопрос, что я сейчас вам задал. «Много на свете дел, — ответил им отец. — Надо что-нибудь знать обо всем и все знать о чем-нибудь одном. Выбирайте себе дело сами, каждый по своему вкусу». «Я хочу стать пахарем, — сказал старший сын. — Хочу растить хлеб на земле». «Я буду воином, — сказал средний. — Я хочу защищать землю нашу от врагов». «А я попробую стать поэтом, — сказал младший. — Пусть мои песни радуют братьев, пусть они помогают им пахать и воевать».

«Все эти три дела почетны и нужны, — ответил им отец. — Но вам мой совет. Ты, будущий пахарь, должен три года быть воином. Земля, которую ты защитишь в битвах, станет тебе гораздо дороже. Ты, будущий воин, должен три года пахать и засеивать землю, чтобы хорошо узнать, что ты защищаешь от врагов. А ты, младший сын мой, если решил стать поэтом, всю жизнь должен быть и пахарем, и воином. Только тогда твои песни будут близки и понятны братьям твоим...»

Ни слова больше не прибавил Айдамбул. И каждый из

нас мог думать что угодно о том, почему Айдамбул рассказал притчу. Я лежал, смотрел в ночное небо и думал. Если он рассказал для меня, значит, знает о моей мечте стать писателем. А если знает, верит ли он, что я могу им стать? Если не верит, то спасибо хотя бы за то, что разрешил косить. Значит, поверил, что могу стать настоящим косарем. Сам я это понял только после сегодняшнего дня. Я лежал, руки, ноги, поясница ныли от усталости. Но сердце мое билось спокойно, ровно.

А утром я спустился в аул — должен был приехать дядя. Он любил меня и заботился, как о родном сыне. Приезжал он к нам довольно часто, помогал, как мог. Жил он в Карачаевске, в тихом, чистом, живописном городке, в двенадцати километрах от Кумыша.

На этот раз дядя приехал по очень важному делу — он предложил нам с бабушкой переехать в город: возникла возможность вступить в кооператив и получить квартиру. В Кумыше скоро начнется строительство крупной ГЭС, и наш домик и еще одиннадцать соседних домов снесут. На их месте проруют канал, и воды реки Зеленчук сольются с Кубанью.

Многие наши соседи уже покинули дома, получили за них от государства деньги и теперь живут — кто в другом ауле, кто в городе, а кто и в самом Кумыше новый дом строит. За наш скромный домик государство тоже заплатило, но очень щедро — так нам кажется с бабушкой. Этих денег вполне достаточно, чтобы купить кооперативную квартиру...

Уже много лет дядя говорит со мной, как со взрослым. Ни разу, даже когда я был совсем маленьким, он не говорил мне нежных слов, не нянчился со мной. Но это не мешало мне ощущать его любовь ко мне.

Дядя и теперь говорил со мной серьезно и просто. Он был доволен, что я побывал на море, что теперь работаю вместе со всеми. Он сказал, что я возмужал за это лето, и спросил, что я думаю по поводу переезда.

— А что сказала бабушка Агаз? — спросил я.

— Агаз сказала, что ее внук уже мужчина, а все большие дела в доме испокон века решает мужчина.

— Да, решать ты будешь, — подтвердила мне бабушка. — Сколько ни осталось жить, этот остаток проведу там, где ты будешь. Говори, Хохалай, где жить станешь, где пустишь корни, где будешь стариться. Решишь уезжать из аула, поеду вместе с тобой.

— Только думай скорее, — добавил дядя. — Учти, в го-

роде можно поступить в педагогический институт. Учитель — профессия благородная. И если станешь педагогом, у тебя будет что сказать детям. Ты жил в ауле среди интересных людей и, благодари им, жизнь уже знаешь...

А я не мог дать дяде точный ответ — до института еще целый школьный год. И расставаться с аулом, где родился, где прожил, где множество друзей, где все знакомо и привычно, нелегко. Корни, глубоко ли, не глубоко, уже пушены, и сбрывать их трудно. Все равно что пересаживать взрослое деревцо из родной почвы в другую.

Но в этом дядя со мной не согласился. Почва, собственно, та же. Приживутся корни, деревцо устоит. Ведь город не за горами, рядом: в аул потянет — полчаса езды на автобусе.

Наверное, дядя был прав. Он лучше меня видел будущее. Еще два-три месяца, и все равно придется переселяться. Стройка ждать не будет. Надо принимать решение. Но почему-то я не мог сразу сказать ни «да», ни «нет».

— Ну ладно, — согласился дядя, — не буду тебя торчать. Пусть твое решение созревает постепенно, как яблоко. Тогда оно будет верным...

Я проводил его, глядел ему вслед и думал: если бы у меня были племянники, я для них хотел бы быть таким же дядей, как мой...

16. Шамда

Даут как-то рассказывал на Синем холме такую историю. Поссорились однажды два горца и стали искать встречи подальше от аула, чтобы люди не видели, как они схватятся, чтобы не начали разнимать. И встретились наконец. Хотели друг к другу броситься, но их разделяла река.

— Если бы вода в Кубани не была бы так высока, добрался бы до тебя! Добрался, и тогда ты никогда больше не встал бы на ноги! — кричал один.

— Если бы река не была такой широкой, я перобрался бы на другой берег, и ты запел бы по-другому! — ствечал ему второй.

Тяжелые, как булыжники, слова летели с одного берега на другой. Но особого вреда они не причиняли, и тогда противники стали бросаться настоящими камнями. Долго швырялись, но и это не успокоило их сердца. Обессилев, враги повалились на траву и с ненавистью уставились друг на друга. Но лежать без дела они не умели, и один предложил:

— Давай проклинать друг друга. И да достигнут цели мои проклятья, если ты виновен передо мной, а если я виновен перед тобой — пусть сбудутся твои слова!

— Согласен! — сказал второй горец. — Начинай!

— Пусть руки твои отсохнут, пусть из трубы твоего дома дым никогда не идет, пусть овцы твои в горах пропадут, пусть на огороде твоём вместо картошки камни растут, пусть!..

До вечера проклинал горец врага — могучий у него был язык. Но и он в конце концов устал.

— Я длинных проклятий не знаю, — сообщил второй горец, когда наступил его черед. — Пожелание мое короткое. Пусть сделает тебя аллах хотя бы на месяц мужем Шамды из аула Кумыш! Скажи «аминь», если не боишься!

— Чтоб язык твой отсох! — крикнул первый, но сказать «аминь» побоялся.

Даут, конечно, несколько преувеличивал. Но в одном он был безусловно прав — в последнее время никто из кумышанцев вслух не высказывал желаний жениться на Шамде. Нрав у нее был весьма воинственный, хотя в свое время отец Шамды Алий считался в ауле Джазлык, где они жили, самым тихим и робким мужчиной. Кумышанцы до сих пор, если говорят о терпеливом и смирном человеке, прибивают — «точно Алий».

Не было у Алиа сыновей — мужчин, помощников, защитников-воинов, кормильцев-пахарей. Зато семь дочерей было. Шамдой звали младшую. В детстве младшая дочь Алиа мечтала превратиться в мальчика, очень она жалела своего тихого, согнутого нуждой отца. От кого-то услышав, что, перепрыгнув радугу, девочка может стать мальчиком, однажды утром Шамда проснулась с криком: «Отец, отец! Я перепрыгнула радугу! Я стала мужчиной!»

Наверное, этот сон, как говорится, был в руку. Став постарше, Шамда и в самом деле научилась всякой мужской работе. Не хуже мужчины умела и сено косить, и скот пасти, и колоть дрова. Да и с годами сумела сохранить силу, хватку, мужество. Не всякий мужчина мог бы за год поставить себе такой дом, какой соорудила Шамда, — высокий кирпичный, под красной железной крышей. Айдамбул, когда хочет похвалить Шамду, говорит: «Твоему платку могут позавидовать многие папахи...»

Да и коммерческими способностями аллах Шамду не обделил. Вместо одного огорода, как у всех, она всегда ухитряется засеять картофелем два. Вместо положенного числа овец у нее всегда паслось голов на десять больше. Да и на

рынок она ездила гораздо чаще, чем другие кумышанки.

Раз даже Шамду на общем собрании пытались к порядку призвать. Из района начальник один приехал, большой разговор был, но Шамда всех переговорила. Хотела с ней беседу провести, но беседу провела она — так уж получилось.

Ачею, фельдшеру, после его нравоучительного выступления сказала:

— Воспитатель! Тебе только говорить всякие умные вещи! Ты сказал: труд — почетное место. Кто спорит? Почетное, аллах свидетель. А как ты сам трудишься? У кого царанина — тому зеленку дашь, а у кого чирей — тому черную мазь, а что ты еще как врач умеешь делать? И вообще, где ты больше проводишь рабочего времени — в амбулатории или у пивного ларька? А может быть, в будке сторожа, где хорошо завешены окна, где никто не видит, как сладко дрыхнешь целыми днями?

— Останови свою мельницу! Замолчи, не позорь наш род! — попытался вступить за друга Ачя Унух.

Но и Унуху она пашла, что сказать.

— Ты не язык мой останавливай, — заявила ему Шамда. — Ты руку свою останови, когда в безлунные ночи она по привычке к колхозному скоту тянется!

Досталось и физкультурнику товарищу Текееву, который выступил на этом собрании с длинной речью:

— Ты здесь целый час кудахтал, как курица, которая снесла золотое яйцо! «Законы», «общественный долг», «сознательность» — так говорил, будто никто, кроме тебя, об этом не знает! Будто ты один в Кумыше понимаешь, что такое общественный долг! Лучше скажи, почему до сих пор школьный двор стоит без ограды? Каждую весну дети деревья сажают, а к осени школьный двор как пустыня! Кто виноват? Ты скажешь — поросята парикмахера Феди зеленъ во дворе губят. А я скажу — не вали па поросят! Они не стоят, как ты, вытянув шею и устремив глаза вдаль — откуда, мол, к нам коммунизм придет? Они двор топчут, потому что ограды нет... Вот собрал бы ребят и забор бы поставил!..

Отвела душу на собрании Шамда. Начальник из района ей несколько раз намекал, что иногда лучше помолчать, чем много говорить. Ведь язык дан человеку один, а уха два. Значит, и надо чаще ушами пользоваться. Но Шамда на намеки никакого внимания не обращала. Тогда начальник прямо сказал, что она отняла у собрания слишком много времени и, наверное, устала сильно — пусть отдохнет, если хочет.

— Я не устала,— сообщила Шамда.— Не затыкай старухе рот. Если не выговорюсь, пухнуть начну, толстеть буду!

— Судя по твоей фигуре, ты еще никогда слов в себе не задерживала,— поделился своими соображениями начальник.— Я бы сказал, что ты даже слишком стройная...

— И ты можешь стать стройным,— ответила Шамда.— Поменьше кушай, побольше говори. А когда Азрет, сын Даута и наш зоотехник, въезжает в твой двор, приторочив к седлу жирную тушку барашка, гони его прочь. От мяса фигура портится. Особенно — от чужого мяса! Если и дальше будешь подарки принимать, твой живот так отвиснет, что свои колени только в зеркале сможешь увидеть!..

Остер язык у Шамды. Даже миролюбивая Агаз, бывало, ее одергивала. Шамда и не оправдывалась. Она говорила, что свои недостатки сама знает. Но другой ей быть нельзя — она женщина, а женщину часто обижают. Мягкой и тихой может быть та женщина, которая мужскую опеку и защиту имеет. В детстве женщину отец оберегает, в молодости — муж, в старости — сын.

— А меня некому защитить,— говорила Шамда.— Отца давно в живых нет, муж с войны не вернулся, а сына я родить не сумела. Мой язык — моя защита. Терпеливую овцу все готовы три раза стричь. Нельзя мне без яда...

— Нельзя! — в этом всегда с ней соглашается Даут.— Без крови наша Шамда жить еще могла бы, но без яда — нет...

И охотно всем рассказывает, что, когда во время покоса на пастбищах Бийчесына Шамду ужалила змея, Шамда три дня болела, но все-таки выздоровела, а вот змея, ужалив, сразу околела...

Когда Шамда родилась, Алий в первый же день пошел дочь на мельницу. Он верил, что если новорожденного занести на мельницу головой вперед — он вырастет человеком умным, острым на язык, а если ногами вперед — новорожденный станет в будущем ловким и крепким. Старый Алий очень хотел, чтобы его младшая дочь не была бы такой тихоней, каким он был сам. Но еще он хотел, чтобы и не подкачало ее здоровье. И, выйдя с мельницы, Алий во второй раз направился к дверям, но по рассеянности, как утверждал Даут, внес Шамду и на этот раз не ногами вперед, а опять головой.

— Вот поэтому и вырос язык у Шамды в два раза длинней и острее, чем положено нормальному человеку,— уверял Даут.— Из-за длинного языка стала короче жизнь ее

мужей. Нас с Хаджи-Даутом военкомат на войну позвал, а ее первый муж — сын Агаз, брат отца Хохалая, — пошел добровольно. Наверное, хотел отдохнуть от сварливой жены. Пошел и не вернулся. А второй ее муж, Чома, сын Зулкуфа, был в Киргизии и погиб там от укуса скорпиона. Вот чего не могу понять, как это мужчина, сумевший столько лет прожить с ядовитой Шамдой, не сумел вынести какое-то насекомое!..

Шамда платила Дауту той же монетой — не говорила о нем ни одного доброго слова. А в день, когда узнала, что глаза Азрета Даутова зацепились за ее Зубайду, она особенно горячо обратилась к аллаху.

— Создатель наш! Всевышний! — молилась Шамда. — Все мы слуги твои, нет для тебя ни пасынков, ни сынков. Так почему всему нашему роду суждено терпеть обиды от рода Даута? Его отец моего отца безвинно погубил, сам он, сколько может, мне жизнь портит, а теперь еще настал черед моей дочери! Куда же ты смотришь, аллах справедливый? Отврати сына Даутова от дома моего! Не дай потускнеть моему солнцу, которое благодаря тебе до сих пор хорошо грело крышу моего дома! Посуди сам, всевышний, как может кровная вражда наша дружбой обернуться!..

Но, по-видимому, у аллаха были собственные соображения на этот счет. Азрет продолжал влюбленно заглядываться на Зубайду. Шамда продолжала призывать аллаха в защитники, а аллах продолжал оставаться безучастным к делам молодых кумышпанцев...

Кое-какие основания у Шамды для неприязни к Дауту имелись. Правда, за полвека Кубань унесла в море немало воды, но память у невестки Агаз была крепкая.

С детства Алий жил в нужде, рано осиротел, рано стал в семье за старшего. А судьба все давила и давила, будто испытывала, насколько хватит сил у этого парня. Его приятелю Мырзе, отцу Даута, жилось иначе. В детстве они дружили, но, когда подросли, дороги их разошлись: Мырза был сыном довольно богатого человека, а Алию приходилось батрачить. И жизнь постоянно сбивала Алию с ног, не давала приподнять головы. Да и как мог Алий крепко стать на ноги, если у него не было своей земли?

Только к сорока пяти годам он наконец обзавелся землей.

Это было вскоре после революции.

Землю Алию неожиданно продал Мырза. И даже денег не взял. Сказал — пусть отдаст, когда будут. И еще попросил:

— Все нынче смешалось, Алий. В России чудо свершилось: кто сверху был, вниз попал, кто нижним был, тот наверх вылез. На кого укажут пальцем, что он батрачить заставлял, кровь пил людскую, тот пропал. Никто не разбирается. Много у меня недругов, Алий. Не поймешь, что что про меня сказать может. Я тебя, Алий, прошу: не ленись на слова, если обо мне спрашивать будут. Скажи, что мы с тобой друзьями были, что один кусок хлеба делили. Тебе сказать так — ничего не стоит. А для меня это важно. И еще, Алий, стар я стал, отяжелел, один сын у меня. Теперь уже не справляемся, не можем, как надо, ухаживать за скотом. Страдает скот, тощает. Решил я выделить из своего стада сорок голов и еще овец выделить — пусть твоей долей будут. Бери, пользуйся. От всей души тебе дарю, аллах свидетель. А если скажешь, что пастбища твоего маловато, — пусть с этого дня урочище Бурула-сырты твоим будет. Если спросят — говори спокойно: «Мое пастбище». А мы с тобой, Алий, свои люди с детства, придет время — сочтемся, не придет такое время — и так проживу...

Мырза обнимал Алию, как брата, говорил много ласковых слов, а напоследок предложил породниться:

— Отдавай свою дочь Шамду за моего Даута. Хорошим мужем будет Даут. В голове у него, правда, еще ветер гуляет, но скоро костью окрепнет парень, настоящим помощником будет...

Обещал Алий подумать, но когда ушел Мырза, сказал жене:

— Если спрашивать тебя будут, говори о Мырзе так, как он просил. Нас от этого не убудет. Грешно не уважать такого щедрого человека. А насчет породниться — это мое дело. Пусть Шамда сама выбирает в мужья того, кто ей по душе...

А через некоторое время вызвали Алию в город. Расспрашивали его двое. Один русский, горбоносый, черный, на карачаевца похожий, вопросы задавал, а другой — карачаевец, рыжий, голубоглазый, похожий на русского, эти вопросы переводил.

— Виджиев Алий, сын Сапара? — спросил русский.

— Да.

— Есть сведения, что ты чужим трудом пользовался. Кто на тебя батрачил?

— Оллахий, никто! — удивился Алий.

— Есть у тебя земля, пашни, пастбища?

— Немного есть земли сенокосной.

— Где? Как называется место?

— Красная долина пазывается.

— А урочище Бурула-сырты кому принадлежит?

— Мне,— ответил Алий. Он решил: зачем же отказываться, если Мырза подарил?

— Так. Значит, твое урочище. По данным комиссии, у тебя сорок семь голов крупного рогатого скота. Правильно?

— Нет, не правильно.

— Ты хочешь сказать, что комиссия плохо считала?

— Хорошо считала. Только два бычка и корова — Батырбековы. Вместе пасутся со стадом.

— А еще сорок с лишним голов? О них ты забыл?

Алий хотел сказать, что он не забыл о щедрости Мырзы. Но снова решил промолчать: зачем напрасно говорить — ведь не откажется же Мырза от своих слов?

— Так. Значит, и сорок четыре головы в твоем стаде. А овцы? Тягловый скот — лошади, мулы?

— Тоже есть,— признал Алий.— Овцы есть, немного. Один жеребенок есть, не конь еще...

— Значит, не пользовался чужим трудом?

— Своим трудом жил.

— Да сколько же рук у тебя! — возмутился рыжий.— Столько скота на пастбище! Кто же за ним присматривает, кто кормит и поит?

— Сын Батырбека и племянник Батырбека помогают.

— А почему эти двое на твоём коше? — повысил голос карачаец.— Что они, твои родственники?

— Нет, не родственники. Но они уважают меня и мой род. Поэтому они мне и помогают.

— Все ясно,— сказали ему...

Шесть лет Алий был в далеких от Карачая краях. За это время он успел хорошо понять, почему это сосед был таким щедрым.

Правда, и Мырзе, сколько он ни хитрил, пришлось расстаться с Карачаем. Но ему повезло больше — он вернулся в аул через три года.

— Не плачьте,— отводя глаза, говорил Мырза дочерям Алия.— Скоро ваш отец вернется. Справедливый он человек, тихий. Вины на нем нет никакой. А невиновного — хоть в воду бросай, с двумя рыбами в руках наверх выплывет...

Вернулся Алий без рыб, но с тощим фанерным чемоданчиком, худой, грязный, больной. Кашлял он, не переставая.

Незадолго до возвращения Алия Мырза ушел из аула Карт-Джурт. Поговаривали, что он не только колхоза бо-

ялся, но и нехорошего огня, который неугасимо гөрел в глазах подрастающих дочерей Алиа. Особенно сильным этот огонь был в глазах Шамды. Огонь этих черных глаз, чувствовал Мырза, в любую ночь мог перекинуться на его старый сухой деревянный дом, мог сжечь и его самого и семью...

Давно уже покинули этот мир и Алий, и Мырза. А обида все не уходит из сердца Шамды. Крепко засела. Наверное, на всю жизнь.

— Не по злomu умыслу он меня страдать заставил, — говорил о Мырзе перед смертью Алий. — Не гибели моей искал, а своего спасения. Умирая, я прощаю его. И вы, дочки, оставаясь жить, его простите. Я сам виноват — молчал, когда спрашивали. Правду говорить надо было, развязать язык надо было...

Старается Шамда простить, понимает — травой давноросло прошлое, а глянет иной раз на Даута — и вдруг видит в нем самом Мырзу-погубителя.

17. Рассказ о том, как Даут взял быка за рога

Не раз приходилось Хаджи-Дауту раскаиваться из-за скверной привычки сначала сказать слово, а потом уже задуматься — умное ли это было слово. Припомнив, что случилось накануне за столом у Унуха, старик пришел в отвратительное настроение. Неясное предчувствие своей неправоты одолевало Хаджи-Даута. И вскоре оно оправдалось.

«Видно, аллах назначил днем моего стыда тот день, когда я, словно рыболовный крючок, прицепился к Дауту, — огорченно размышлял Хаджи-Даут. — Жуликом его называл, вором его называл. А за бедным Даутом даже тоненькой как волосинка вины не было».

Когда к нему утром заглянул Хохалай, он сразу понял, что произошла какая-то неприятность.

— Что с тобой, уважаемый сосед? Какая беда приключилась? — обеспокоенно поинтересовался Хохалай. — Не могу ли чем-нибудь помочь?

— Оллахий, немалая беда приключилась, мальчик! Хочется мне сейчас свой стыд под землю спрятать. И что я только Дауту не наговорил из-за этих проклятых часов!

— А что ты ему наговорил?

— Не спрашивай, мальчик! Вид у Даута теперь такой, будто его искусила бешеная собака! — тут Хаджи-Даут постучал себе в грудь, чтобы у Хохалая не оставалось никаких сомнений, кого он имел в виду, говоря о собаке. — Он, несчастный, пытался оправдаться, но я ему и слова не дал сказать. А сегодня полез я за бритвой и нашел часы. Лежат себе на полке, поблескивают. Чтоб им остаться без хозяина, окаянным! Если бы ты сейчас не зашел, Хохалай, я бы их бросил на пол и припечатал каблуком! А теперь смотри, любуйся на мою глупость...

— Ну стоит ли так огорчаться, сосед? Пойдешь, поговоришь, и все забудется.

— Да разве можно такое забыть? Давай, мальчик, вместе помозгуем, как мне теперь смыть свой грех перед Даутом?

— Простой водой, мне кажется, такой грех не смыть, — улыбнулся Хохалай. — Нужна особая вода и доброе угощение.

— Оллахий, мал, а голову имеешь! Сразу видно, не зря вас в школе учат! — обрадовался хозяин. — Вот что, Хохалай, будь другом, слетай в магазин, а я быстренько гуся ощипаю. Твоя правда, мальчик, в таком деле без красного червонца не обойтись. На обратном пути зайти, пожалуйста, к Дауту и проси его пожаловать. Сильно проси, если упрямитесь будет.

Но это утро готовило Хаджи-Дауту еще одно испытание. Не успел Хохалай скрыться из виду, как пришел Унух. Он рассказал такую новость, что старик даже забыл и о своих часах, и о своей вине перед Даутом.

Накануне, улучив минутку, Хаджи-Даут поговорил и с Унухом. Хорошо поговорил, рассказал о своей трудной жизни, о вечных заботах и невзгодах и, набравшись храбрости, попросил его быть сватом к Шамде, обещая за это свою вечную благодарность, уважение и признание. Унух все понял и обещал сделать, как надо.

«Спасибо аллаху, — решил Хаджи-Даут. — И Унух согласился, и Айдамбул при случае поможет. Вдвоем они в конце концов уломают Шамду. Не камень же она, а женщина».

Не ведал Хаджи-Даут, что Унух все понял, только не понял, чью дыру на чьем бешмете латать было нужно!

Когда вечером после праздника пришло время проводить Шамду, Унух пошел было за ней, но Айдамбул его остановил.

— Не ходи, — сказал он. — Я сам ее домой отведу.

— Отдохни, брат, — возразил Унух. — Я сам ее провожу.

— Да я не стал бы тебя спрашивать, хочешь ты ее провожать или нет! Приказал бы тебе идти с ней, и дело с концом! Сиди. Мне надо поговорить с Шамдой.

— И мне надо! — заупрямился Унух.

— Кто из нас старший? — начал сердиться Айдамбул.

— Ты. А о чем ты хочешь потолковать с Шамдой?

— Сватать буду. Дауту я обещал.

Я тоже обещал, но не Дауту, а Хаджи-Дауту.

— Оба они одно и то же задумали. Оба хотят, чтобы Зубайда стала женой Азрета. Хватит, если я один поговорю с Шамдой.

— Ты что-то путаешь, брат Айдамбул, — усомнился Унух. — Не знаю, что говорил тебе Даут, о чем он тебя просил. А мое дело ясное. Зубайду ждут у Хаджи-Даута: тяжело в этом доме без женской руки. Давно хочет Хаджи-Даут такую сноху...

— Я лучше знаю, кому нужна сноха! — повысил голос Айдамбул. — Ни Хаджи-Даут, ни его сын и не помышляют ввести в дом Зубайду! И что это пришло в твою глупую голову?

— Голова моя не настолько дурная, чтобы не понять просьбу такого хорошего человека, как Хаджи-Даут! Это ему сноха пужна, а не Дауту!

Так, препираясь, вместе они и пошли провожать Шамду. Айдамбул очень хвалил Чугунка.

— Чугунок — такой человек! Из хвоста летящего орла перо вырвать может! Дикого, как шайтан, жеребца одной рукой подкует! А слово скажет — до самых важных районных ушей дойдет! Весь колхозный скот в руках держит! Чугунок самый образованный зоотехник во всем Карачае!

А по другую сторону Шамды шел Унух и старательно марал Чугунка сажей.

— Только кур может напоить, да и то в дождливый день! Потому что лужи есть! — уверял Унух. — На животноводов кричит! На всех остальных свысока смотрит! Ничего толком не умеет сделать! И даже не признает опыт такого знающего заведующего фермой, как я!..

Зато, превознося Мурата, сына Хаджи-Даута, Унух, по его словам, соловьем разливался. Самые теплые выражения нашел и когда заговорил о самом Хаджи-Дауте.

...В этом месте рассказа Хаджи-Даут забыл о гусе, который уже стоял на плите в жаровне.

— Шамда что-нибудь сказала, когда ты обо мне говорил? — спросил старик гостя.

— Да что может сказать Шамда! Она нас с Айдамбулом ругала, а пуще всего на Даута и на его сына набрасывалась. Такие бранные слова находила, что до сих пор у меня в ушах звенят. Но я ей много говорить не давал, — прихрастнул Унух. — Айдамбулу тоже не давал. Я сам, не останавливаясь, говорил все, что пужно было говорить. Если бы меня Айдамбул не остановил, я продолжал бы до тех пор, пока Шамда не сделалась...

— И откуда у бедного Айдамбула сила взялась тебя остановить? — вздохнул недовольный Хаджи-Даут, повернувшись к плите. Он уже понял, что его план снова рухнул. Добряк Унух все перепутал. Ругал Азрета, хвалил Мурата, а о нем самом никто и слова не сказал.

— Охлахий, это ему нелегко удалось! Сначала Айдамбул мне грозил: «Перестань, мол, пока не поздно! Перестань!» А когда я не перестал, он вспомнил пословицу: «Когда у маляра красок много, он и бороду отца по глупости выкрасит». Вспомнили, что он мой старший брат и я его должен слушаться. Но я и тогда не перестал! И Айдамбул незаметно вытащил руку из кармана, да как стукнет меня кулаком в лоб!

— Ай! Ударил? — заинтересовался Хаджи-Даут. — А ты?

— А что я? Ушел я, а в глазах круги красные как полтинники. Вот сейчас замурюсь, и опять круги мелькают.

— Правильно он сделал! — внезапно заявил Хаджи-Даут. — На его месте я бы тебе еще не так дал!

— Вот и делай людям добро! — опешил Унух. — Ты это вместо благодарности говоришь, сын Кара-Мырзы?

— За что же мне тебя благодарить? Разве я просил Зубайду сватать за сына?

— А разве за себя просил, старый пень?

— За Чугунка просил! — ошарашил его Хаджи-Даут. — И вообще, Унух, что было, то было. Сейчас сюда должен прийти Даут. Давай я тебя провожу по нижней дороге. Учти, у Даута кулаки побольше Айдамбуловых. Узнает он, как вчера ты чернил его сына, покажет глазам твоим не только полтинники. Рубли целые покажет. Да и мне спасибо не скажет. Решит, что хотел вперед его забежать, кусок выхватить, на суженой его сына своего сына женить...

— Шайтан вас разберет! — ругался Унух. — Ты просил поговорить с Шамдой, я и поговорил. Больше никогда не

проси, рта не раскрою! Говорите сами, если вы с Даутом такие умные!

— Эх, Унух, заварил ты кашу! Сказал я тебе, чтобы брал быка за рога, а ты пошел и за ухо ухватился! — сердился Хаджи-Даут, провожая Унуха по дороге, которая вела вниз, в аул.

А в это время по тропинке, пересекавшей Синий холм, к дому спускались Даут с Хохалаем.

— Эй, приятель! Дым из трубы идет сильно! Смотри, чтобы гусь не сгорел! — еще издали кричал веселый Даут. — Выходи, хочу посмотреть, как ты будешь краснеть от стыда! Пусть Хохалай свидетелем будет.

Не найдя хозяина в доме, Даут направился к хлеву.

— Что ты там от нас прячешься, кривоногий? Обидел невинного человека, а теперь хоронишься по углам! — Даут распахнул дверь сарая, но Хаджи-Даута там не было.

— Куда ж он девался? — начал было удивляться Даут.

Но удивиться как следует он не успел: из глубины сарая на него медленно двинулся Пестрый — громадный тучный бык Хаджи-Даута. Сопя и отдуваясь, бык без особого интереса оглядел пятившегося Даута, но вдруг в его глазах зажглась злобная искра. Пестрый угрожающе склонил к земле голову, нацелился рогами на отступающего старика и издал короткий боевой рев.

— О создатель! — завопил Даут. — Открыв дверь хлева, я открыл дверь своей смерти! И за что эта скотина так ненавидит мои шаровары?

Даже в самый жаркий день Даут не расставался со своими красными кожаными шароварами — в его ногах давно уже поселился ревматизм. И старик был твердо убежден, что лучшего средства, чем кожаные штаны, против этой болезни нет. Бык, по-видимому, был убежден в другом — в том, что Даут наряжается именно так, чтобы лишь дразнить его, Пестрого. Поэтому, завидев Даута в ярких штанах, бык пачинал рваться с привязи, как цепной пес. И каждый раз, когда происходило подобное, Хаджи-Дауту приходилось проявлять немалые дипломатические способности, чтобы приласкать и успокоить Пестрого, не умаляя при этом достоинства Даута, и чтобы вежливо, уважительно спроводить подалее приятеля, не раздражая при этом быка.

Но теперь Хаджи-Даута поблизости не было. И Даут продолжал пятиться, пытаясь сообразить, что следует предпринять дальше.

— Пестрый, Пестрый, Пестрый! — на всякий случай



при этом бормотал Даут. — Ты бык умный, ты бык толковый...

Но бык на такую нехитрую лесть не поддался. Согнув хвост в колечко, он еще ниже склонил рога и мелкой трусцой направился к старику. Размышлять дальше Дауту было некогда. И он тоже неторопливо побежал по двору. Так гуськом, друг за дружкой они и совершили первый круг. Бык перешел на умеренный галоп. Даут тоже. Хохалай, быстро сообразив, что у Пестрого больше шансов выиграть подобный забег, с криком бросился со двора.

— Хаджи-Даут! На помощь! — вопил Хохалай.

Услышав имя хозяина, Пестрый, видимо, решил до его появления покончить с владельцем нахальных красных штатов. Он рванулся вперед, поддел широким лбом мелькавшее перед ним красное пятно, и облака в небе заметались перед Даутом.

— Оллахий, что будет! — заверещал Даут, живо представляя, как через миг он снова возвратится к земле и бык удовлетворенно посадит его на рога.

Но аллах поспел вовремя — бык не рассчитал, проскочил вперед на полметра, и старик шлепнулся ему на загривок. Кровопролития не произошло. Верхом на расвирепешшем быке Даут сделал еще один круг по двору. Пестрый мчался вихрем, пытался, словно жеребец, встать на дыбы, скакал шайтаном, но Даут мертвой хваткой держал его рога. «Отпущу, конец мне придет! — справедливо думал Даут. — Этот скот быстро отвезет меня напрямиком в Черное ущелье...»

Поняв, что с длинноногим Даутом ему не удастся справиться на малом пятачке двора, окруженного забором, бык двинулся к воротам на улицу. «О, аллах, пока этот зверь меня таскал по двору, я еще мог терпеть, — испугался Даут. — Но если он меня вынесет на улицу, опозорит на весь аул! До самой моей смерти кумышанцы смеяться будут!»

Около ворот бык пронесся под огромным грушевым деревом. Старик отпустил рога, выбросив руки вверх, ухватился за толстый сук да так и остался на нем висеть. Бык остановился так резко, что из-под его копыт взлетела земля. Пестрый повернулся всем телом, намереваясь растоптать ненавистные красные шаровары, но позади на траве их не было. Бык удивленно повел башкой, будто размышляя: «Все, что падает, — падает вниз. Так куда же девался этот паршивый старик?» И вдруг прямо перед носом он разглядел длинные болтавшиеся ноги в красных штанах. Оби-

жепно взревев, Пестрый ринулся на них. Даут, висевший как мешок с солью, резко подтянулся, и громадная туша промчалась под ним. Но Пестрый был упрям. Развернувшись, он снова устремился к цели. И снова Даут лихо подтянул свои длинные красные ноги. Со стороны поглядеть — старик, словно молодой гимнаст, пробовал свои силы на турнике-ветке. Вверх — вниз, вверх — вниз.

Но бык атаковал все чаще, все меньше сил оставалось у Даута.

— Держись,— издали кричал спешивший Хаджи-Даут. Да разве мог он бежать со своей хромой погой!

— Слезай с дерева! Уже созрел! — восторженно хохотала проходившая мимо Шамда.

«Вот несчастье! — подумал бедный Даут, из последних сил вскидывая ноги.— Принес ее шайтан! Показаться Шамде в таком виде — все равно что по телевизору показаться. Теперь весь аул узнает».

И тут Пестрый, удачно скакнув, подценил рогом красные шаровары и помчался дальше, увлекая за собой длинное Даутово тело. Словно необыкновенный маятник, Даут, не отпуская сук, вернулся в вертикальное положение. А штаны остались на бычьих рогах. Шамда, изнемогая от смеха, опустилась на траву. Пестрый топтал и порол ногами свой красный трофей, а запыхавшийся Хаджи-Даут вязал его прочной веревкой.

Водворив быка в сарай, Хаджи-Даут торжественно поклялся:

— За то, что ты, Пестрый, чуть не лишил жизни моего лучшего друга, осуждаю тебя на вечную привязь! Из этого хлева ты теперь выйдешь только тушей вкусного мяса! Больше ты никогда не увидишь свежей травы, не увидишь луга, не увидишь коровы! Клянусь, мое сердце будет твердым, как камень!

Даут наконец отпустил сук и повалился на землю. Хо-халай помог ему подняться и увел в дом. И тут вдруг Хаджи-Даут решил. Он повернулся к Шамде, все еще стоящей за воротами, и сказал, глядя в землю:

— Не смейся, дорогая Шамда. Не рассказывай никому. Я тебя прошу. Я знаю, у тебя доброе сердце. Аллах не допустил большого несчастья — по моему двору только что бегала рогатая смерть.

И чудо! Шамда перестала улыбаться!

Ободрившийся Хаджи-Даут продолжил:

— Дорогая Шамда, зайди в мой пустой дом хоть на миг! У меня сегодня радость. Раздели ее с нами.

— Какая же у тебя радость, дорогой Хаджи-Даут?

— Во-первых, Даут остался живой. А во-вторых, у меня нашлись часы с твоей цепочкой...

— С какой цепочкой? — спросила Шамда.

— С той, которую ты мне подарила. Я два дня искал, Даута насмерть обидел — думал, он взял. А сегодня утром нашел!

— Часов жалко было?

— Пусть шайтан себе возьмет часы! — выпалил Хаджи-Даут. — Из-за твоей цепочки, как ребенку, плакать хотелось!

Хохалай, все еще стоявший на крыльце дома, чуть было не свалился: на его глазах свершилось такое, чему никто никогда в Кумыше не поверил бы, даже если бы увидел собственными глазами! Тетушка Шамда, как девушка, залилась румянцем!

— Добрый ты человек, сосед, — негромко ответила она Хаджи-Дауту. — Но зайти к тебе не могу. У твоего приятеля язык длинней, чем у женщины. Наговорит про нас с тобой такого — потом на улицу не покажешься.

— Уверяю тебя, Шамда! Он слова не вымолвит! Я ему сейчас свои новые дигинальные штаны дам, и он будет молчать, как рыба!

— Не дигиналь, а диагональ. Но все равно не пойду. Не уговаривай. В другой раз как-нибудь зайду. Не последний день видимся.

18. Рассказ о том, как Даут нашел камень

Даут был недоволен. Хаджи-Даут все откладывал и откладывал обещанный разговор с Шамдой. Чем больше настаивал Даут, тем сильнее колебался Хаджи-Даут. В последний раз он прямо сказал, что если, мол, Шамда отказала Айдамбулу, то соваться ему, Хаджи-Дауту, вообще, по всей вероятности, не стоит. Крутил что-то старый приятель. Не умолкая, крутилась и пластинка, которая так правилась Азрету...

Даут решил действовать сам. Но как?

Ему припомнилась одна притча о козле и волке. Увидев однажды волка, козел взобрался на высокую скалу и сказал: «Салам алейкум, волк! Не стучи напрасно клыками, не боюсь я тебя. И не вращай так страшно глазами, гляди, чтобы из них не посыпались искры, а то хвост подпалишь».

Взберись-ка сюда, па скалу, дай попробовать, крепок ли твой лоб». — «Эй, козел, — остановил его волк. — Если я бы мог к тебе взобраться, ничего, кроме рогов, от тебя не осталось бы. Это не ты со мной так смело говоришь, это высокая скала говорит...»

Даут решил, что надо найти такую скалу, с которой было бы безопасно говорить с Шамдой. Чтобы перевернуть землю, как-то объяснял ему физрук школы товарищ Текеев, нужен рычаг. Чтобы поговорить с Шамдой, нужно сначала заставить ее замолчать...

К заходу солнца, поднявшись вверх по Черному ущелью, Даут засел в засаду. Обычно по вечерам женщины, возвращаясь с работ, ходили по Кумышанскому ущелью. Но разве Шамда когда-нибудь с кем-нибудь соглашалась? Крутая каменистая дорога, проходящая мимо кладбища, казалась ей короче. По этой дороге Шамда и должна была идти домой.

Сидел Даут, ждал, искал слова для важного разговора. План был простым — сначала попробует убедить по-хорошему, а если не получится, скажет так, что эта вздорная женщина до самой смерти не забудет! Ну хорошо бы отказала, как все нормальные люди отказывают: «Не нравится, мол, мне просящий дочь мою». Но разве Шамда может отказать по-человечески? Вместо этого поносит и Даута, и сына его, и весь род его до седьмого колена! Хорошо еще, что Айдамбулу, самому уважаемому человеку в ауле, бороду не выдрала, когда он хвалил Азрета...

Не так уж страстно желал Даут заполучить дочь Шамды себе в снохи. Но что делать, если аллах обратил взгляд и душу его единственного сына на Зубайду? У молодых свои законы, им нет дела до каких-то историй прошлого. И эту независимость, пожалуй, даже надо приветствовать. Уважать надо. Даут, разумеется, приветствовал и уважал, а вот Шамда упиралась, как ослица перед бродом. И Азрет упирался, как осел: другой на его месте на Зубайду и не посмотрел бы больше, все в Кумыше знали, как она Айдамбулова осла в его шаль нарядила. А этот прости, смолчал. Тряпка, а не джигит. Одно слово — Чугун.

«Эй, Шамда, не тарахтела бы ты, как сенокосилка, давно бы мы договорились, не дергали друг другу бы нервы, — раздумывал Даут. — Ачей верно говорят: неприятности учорачивают жизнь гораздо быстрее, чем водка. Поэтому лучше пить и веселиться, чем быть трезвенником и копаться в собственных неудачах. И если бы Шамда была человеком, то мы бы с ней поговорили как люди и повеселились на

свадьбе, и не пришлось бы сидеть и прятаться за кустом, как мальчишке...»

Даут не зря сидел за кустом. Его оперативный план был точен. Он опирался на старый обычай, а его Шамда не посмеет нарушить. Покойный муж Агаз Хамзат, свекор Шамды, не успел при жизни «раскрыть снохе рот» — не успел ей разрешить разговаривать в присутствии старших родственников. Каждая пожилая женщина в Кумыше помнит, как в старину, войдя в дом мужа, она терпеливо ждала, пока свекор не решал, что пора ей сделать подарок, пора «раскрыть снохе рот». Теперешняя молодежь не знает обычаев — и парни, и девушки трещат, как сороки, ничуть не стесняясь присутствия старших. А Шамда — старой закалки. И раз Хамзат умер, не успев одарить Шамду, она, хоть режь ее на куски, теперь рта не раскроет, проходя мимо кладбища, где покоится ее свекор. Тропинка, проложенная вдоль кладбищенской ограды, довольно длинна. Шамда будет долго идти, плотно сомкнув губы. И Даут, приступив к сватовству в начале тропы, сумеет выговориться. Сегодня строптивой Шамде не удастся заткнуть ему рот.

Но в этот день Шамда была не одна. Тропинка узка. Положив две длинные тямки на плечи, по ней след в след медленно, устало шли Шамда и Гоштай. Шамда, как положено, молчала. Гоштай, напротив, не закрывала рта. Когда до женщин оставалось шагов пять, Даут шумно выбрался из-за куста.

— Да будет добрым ваш путь, сестры мои! — сказал он самым обычным тоном, будто сидеть за кустом было для него обыкновенным делом.

— Спасибо, Даут, — испуганно ответила Гоштай. — Что это ты делаешь, брат, в таком невеселом месте?

— Я тут, сестры, овец своих искал, — неудачно соврал старик.

Тут и Шамда, не раскрывая рта, ему кивнула.

— С каких это пор твои овцы пасутся в Черном ущелье? — спросила ее подруга.

— С тех самых, с каких мне надо было! Не осуди меня, Гоштай, я твоей спутнице два-три слова сказать должен. Прошу тебя — ускорь шаг, а потом мы догоним...

— Говори, говори, Даут. Да пусть тебя ни в чем не осудит аллах, — быстро согласилась понятливая кумышанка и ушла вперед.

Шамда поспешила за ней, а за Шамдой, высоко поднимая длинные ноги, заторопился Даут.

— Соседка, вот ты думаешь, прицепился я, как репейник к твоему подолу. Потерпи, выслушай до конца,— начал Даут.— Дело серьезное, скрывать не буду. Хотя и говорят, что из кривой трубы дым тоже может прямым столбом выходить, нам с тобой ни дым, ни туман не нужны. Нам правда нужна. Я знаю, ты меня не любишь. Я тоже в тебя не влюблен. Но что значим мы? Самое главное — дети наши. Ведь для них живем. Если любят они друг друга, почему мы с тобой должны их счастьем мешать? Если будем с тобой упрямиться, можем два сердца молодых разбить. Прими, Шамда, сына моего в свою душу. Полюби его. Да и я чем плох? До каких пор вражду ко мне в сердце будешь держать? Какой вред от меня ты видела? Если когда и сказал о тебе глупые слова, так мало ли чего не бывает? Живя на свете, мы можем многое сказать и многое услышать. Так это язык говорит, а уши слушают. А сердце, может быть, и ни при чем. Пусть наши сердца отныне друг к другу чистыми будут. Говорят, кто камень бросать умеет, тот в свою голову не попадет. Ну, а если кто не умеет? Если зло какое против тебя держу, пусть оно на мою голову и сядет! Да и не говорила ты мне никогда, в чем я перед тобой виноват. И сын мой перед тобой ничем не провинился. Знаю, на отца моего покойного обиду таишь. Но если по совести говорить, я-то чем перед тобой провинился? Я-то чем виноват?

Лучше бы Даут про своего отца не поминал. Шамда ускорила шаг. «Да, ничего страшного он не совершал,— мысленно отвечала она Дауту.— Пусть ты не виноват, только твой отец моего отца погубил! Когда богачи в почете были, твой отец моего в бедняках держал. А когда бедняки в почете жить стали, он его богачом сделал и в Сибирь отправил».

Даут тоже пошел быстрее, заговорил торопливей.

— Хорошенько подумай,— просил он.— Сказав «нет», не руби топором. вспомни о дочери. Славная девушка Зубайда. Пусть она счастлива будет. Хотя тебя я не очень люблю, дочь твою полюбил крепко. И у худой кобылицы знатный жеребенок может родиться...

Лучше бы и о кобылице Даут промолчал, лучше бы про себя подумал. Шамда оглянулась и, покрутив пальцем око-ло виска, ясно дала Дауту понять, что она думает по поводу его слов.

— Эх, Шамда! Зарой в землю свой несносный характер! Подумай, разве сын мой Азрет — плохой джигит? Разве плохим зятем будет? Неужели другого жениха для сво-

ей Зубайды станешь искать? Смотри, Шамда, не будь как тот осел, который все стоял и не мог выбрать, какая из двух охапок сена больше, а в конце концов от голода окопел...

И про осла не стоило говорить Дауту. Шамда все ускоряла и ускоряла шаг, и старик чувствовал, как в нем против воли росло желание сказать что-нибудь такое колкое, чтобы эта несносная Шамда подпрыгнула как коза, которую хорошенько вытянули хлыстом.

— Имей в виду,— пригрозил Даут.— И без твоего согласия свадьба может состояться! Если девушка сама согласна, на веревке ее не удержишь! Как стрельнет твоя Зубайда со двора, так и чихнуть не успеешь!

Будто сани, летевшие с горы, наткнулись на скалу — так резко остановилась Шамда. Она повернулась к Дауту и в упор на него посмотрела. Даут тоже замер и глаз не отвел. Дуэль взглядами кончилась тем, что Шамда медленно подняла руку, остановила ее где-то на уровне Даутова поса и плавно сложила пальцы в красноречивый кукиш.

Подержав эту общепонятную фигуру перед глазами старика довольно долго, Шамда повернулась и почти побежала, словно опасаясь, что слова Даута, которые он теперь непременно скажет, догонят ее и вонзятся в спину.

— Если рысь твоя такова,— закричал Даут,— какой же твой галоп? Если оседлать тебя и взять хорошую плетку, на больших скачках можно первый приз взять! Где в наших краях найти такую кобылу, которая могла бы с тобой состязаться!..

Шамда еще прибавила скорости, нагнала Гоштай, остановила ее и, схватив за плечи подругу, что-то зашептала.

— Что она тебе поет, Гоштай? — спросил Даут, приблизившись.

— Странные вещи она говорит,— растерянно сообщила Гоштай.— Даже неудобно тебе передавать. Ты уж прости меня, бедную. Она говорит: «Не так уж быстра кобыла, как этому старому ослу кажется». И еще говорит: «Если он хоть один шаг за мной сделает, если хоть слово скажет, этой тяпкой я ему башку раскрою».

— Если она так на свою тяпку надеется, так что же бежит от меня, будто ей сзади перцем посыпали?

О перце Даут совсем уже напрасно сказал! Шамда, побежавшая было вниз, вдруг развернулась и помчалась обратно. Лицо ее побелело, ноздри раздулись. Как славный

воин Азрет-Алий в давние времена, сверкая разящим мечом, скакал сражаться за веру, так и мать Зубайды неслась на Даута, победно вращая над головой свою длинную тятку.

И Даут не выдержал. Едва глянув в глаза Шамды, он узнал в них то же самое пламя, что недавно горело в глазах Пестрого. Повернувшись спиной к Шамде, он бросился вверх по тропинке. «О всевышний, кажется, я пересолил! — на бегу думал старик. — Хотел осел рога занять да без уха остался. О аллах, дай крепость моим ногам! О аллах, не дай погибнуть от тятки этой сумасшедшей».

Не лишил аллах Даута крепости в ногах. Как быстрый олень, как олимпийский спринтер, сделал старик приличный рывок и, убедившись, что расстояние между ним и Шамдой заметно увеличилось, остановился перевести дух.

Не лишил аллах Даута быстроты в ногах, но удачливости лишил. Старик уже считал, что в безопасности, как вдруг почувствовал, что полой бешмета зацепился за плетеную изгородь. Рванулся Даут вперед как напуганный конь, но изгородь была крепка, да и бешмет был крепок — капкан не отпустил. «И к чему это вокруг кладбища изгородь ставят? — подумал Даут. — Зачем изгородь? Не будь ее, что бы изменилось? Мертвые отсюда не убегут, живые сюда не торопятся».

А Шамда все приближалась. И чем ближе она была, тем больше сил прибавлялось у Даута. Он бросал свое длинное тело вперед, но карачаевская плетеная изгородь никогда раньше срока не валится, так же как и не рвется добротное домашнее сукно. И вдруг высохший крепкий сук, за который зацепился Даут, не выдержав могучего рывка, сломался. Раздалось громкое «чарк!», и старик, получив свободу и не сумев ею распорядиться по своему усмотрению, свалился с тропки в обрыв. Обрыв был неглубокий, с пологими склонами, поросшими бурьяном, и большой беды в том, что Даут свалился в него, не было. Не было бы, если бы на дне оврага не лежал единственный на сто метров вокруг камень. Именно его и нашел Даут, чтобы удариться о него ребром.

Не почувствовав сразу боли, Даут поднял кулак и погрозил ликовавшей на краю обрыва Шамде. Но боль не заставила себя ждать. Стеная и охая, старик долго лежал в овраге. Пока Гоштай рассказала о несчастье Хохалаю, пока Хохалай передал Айдамбулу, Айдамбул — Унуху, Унух — товарищу Текееву, на небо вышли звезды. Уже в темноте

спасательная экспедиция вытащила пострадавшего на тропу и, усадив его на Азанчы, повезла к Кумыш.

Сильно болело ребро, Даут постанывал и на каждой колдобине поминал шайтана. Спасатели шли рядом и утешали старика. А физрук нашей школы товарищ Текеев, воспользовавшись случаем, как всегда, свел разговор к своей любимой теме.

— Во всем виноват адат! — говорил он, шагая в ногу с ослом. — Кто придумал это молчание снох? Хоть пой, хоть кричи, мертвые не услышат. И если бы не адат, твое ребро, Даут, было бы цело. Не терся бы ты, Даут, возле кладбища, не испытывал бы терпение Шамды и тогда не узнал бы, насколько глубок этот овраг...

— Ай, чтоб ты скорее в Черное ущелье попал! — морщась от боли, шептал сквозь стиснутые зубы Даут...

19. Последний день сенокоса (из Синей тетради Хохалая)

За лето наша бригада поставила восемьдесят стогов. Высоких, остроконечных, гладких. Но вот сколько это выходило тонн, сколько заработала бригада — этого не узнать, пока не приедет зоотехник, не замерит, не подсчитает.

Наши соседи — косари из Сары-Тюза — тоже завершили работу. Они лежали в шалаше, пели хором песню и тоже ждали своего зоотехника. Они очень хотели бы знать, сколько тонн на брата у нас накошено. Не раз, как бы между прочим, спрашивали. Но мы помалкивали, хотя самим тоже было очень интересно выведать, какие успехи у соседей — отстали они от нас или, наоборот, обогнали?

После полудня на белом коне прискакал Азрет, веселый, довольный.

— Будет сено овечкам! — еще издали нам закричал.

Второе место после Зубайды, мне кажется, в сердце Азрета занимают овцы. Он день-деньской возится с ними. И гордость его — небольшое стадо карачаевских овец. Весь Кумыш знает, сколько сил положил Азрет, сколько съел шашлыков со всякими видными людьми, пока не добился разрешения разводить в нашем совхозе эту овцу. Нигде больше эта порода не разводится. Почти совсем вымерла карачаевская овца. Конечно, на первый взгляд ей не сравниться с овцой-кроссберд — у той и мяса, и шерсти много. А карачаевская? Овца мелкая, весит мало, шерсти

почти нет, да и та темная, грубая. На такой овце план по мясу и шерсти не выполнишь. Но зато мясо нашей карачаевской овцы настолько вкусно, что, было время, его вывозили за границу. Даже в Париже знают эту овечку. Говорят, во французской столице был знаменитый ресторан. И славу он нажил благодаря карачаевской овце, на которой держалась его кухня.

Наши овцы славятся и тем, что очень быстро пагуливают жир и весь жир откладывают в курдюке. Курдюки эти громадны и необычайно вкусны. Бывает, курдюк весит больше самой овцы. И поэтому издавна придумали у нас в горах маленькую тележку — пасется овца, а за ней курдюк на тележке катится. Карачаевские овцы неприхотливы, корму им много не нужно, они хорошо приспособлены к горным каменистым пастбищам.

Шесть лет бился Азрет за карачаевскую овцу, ездил в район, в область, в край, доказывал, спорил, убеждал и в конце концов добился своего — разрешили разводить опытное стадо. «Эти овечки своим мясом себя спасли, — говорил наш зоотехник. — Пока их мало, и дохода мало. Но со временем, я уверен, доход от них будет огромным, пойдет эта овца по всей области». Азрет в этом уверен. Главная черта его характера, по-моему, уверенность...

Азрет лихо спрыгнул с коня, поздоровался с каждым из нас за руку.

— Спасибо, труженики! — весело сказал он. — Есть что овечкам и коровкам зимой пожевать. На глаз немало у вас сенца, но рулетка точнее скажет...

К ужину Азрет закончил работу — триста сорок тонн намерила его рулетка. Мы все удивились — до чего точно определил Айдамбул на глаз, он сказал, что у нас около трехсот пятидесяти тонн. Но еще больше мы удивились, когда узнали, что соседи тоже накосили ровно триста сорок тонн, ни больше, ни меньше. Такого совпадения даже наш древний Айдамбул не помнил.

Ну, а потом мы веселились. Пригласили на нашу карачаевскую овцу соседей. Потом начали петь — кто кого перепоет, мы соседей или они нас. Потом начали рассказывать смешные истории — кто расскажет самую смешную. Потом начали бороться — кто кого переборет. С нашей стороны боролись два сына Ачея. Один из них победил, а другого положили на лопатки. Так ни наше звено, ни сарытюзцы и не взяли верх.

И все-таки наше звено напоследок, когда соседи уже уходили, завоевало очко. Завоевал Даут. Гости уже далеко

ушли, уже почти взобрались на вершину холма, еще минута, и они бы скрылись за гребнем. И тут вдруг Даут, приложив ладони ко рту, зычно позвал одного из сарытюзцев, Абдул-Керима. Абдул-Керим, низенький толстячок, одних примерно лет с Даутом, услышав свое имя, замер на склоне. А когда Даут призывно помахал ему рукой, выкрикивая какие-то неясные, запутанные слова, он приблизился на несколько шагов и, приставив ладони к ушам, попытался разобрать, что это ему кричат. Даут снова начал выкрикивать совершенно бессмысленные возгласы. Абдул-Керим снова сделал десяток шагов и снова постарался расслышать. Никто из нас не мог понять коварный замысел Даута, а в том, что такой замысел существовал, сомнений не было — не стал бы Даут так старательно коверкать слова и заманивать Абдул-Керима все ниже по склону. Все мы уже забыли, как несколько лет назад Абдул-Керим вот таким же манером подозвал Хаджи-Даута, и когда, прихрамывая, Хаджи-Даут вскарабкался на крутой склон, Абдул-Керим невинно спросил:

— Уважаемый Хаджи-Даут, у нас ишак пропал. Ты не видел его?

Конечно, в тот раз все долго смеялись. Но, видно, Абдул-Керим забыл о том случае. Иначе, разумеется, не спустился бы вниз со склона. Но он подошел довольно близко, наставил свои уши, словно локаторы, и тогда Даут ясно, четко и очень громко, так, чтобы слышали сарытюзцы, прокричал:

— Абдул-Керим! Хаджи-Даут из аула Кумыш велел тебе сказать, что здесь на нашей стороне вашего ишака он не видел!

Пока одураченный Абдул-Керим, пытаясь, взбирался на холм, с обеих сторон оврага неслись веселый хохот.

Я глядел на них и хохотал громче всех — лица моих земляков пылали настоящим, искренним весельем. Это были лица счастливых людей! Такими они оставались и через час, и через два, всю дорогу, пока на пароконных бричках мы спускались в аул.

Я глядел на земляков и думал, что мое лицо, наверное, было таким же. И долго будет оставаться таким. После стольких трудных и счастливых дней сенокоса я спускался в аул, спускался сильным, бодрым, здоровым.

Наступил вечер. Темнело над головой небо. И сердце мое билось ровно и радостно...

Когда я вернулся домой, бабушка Агаз рассказала новость. Накануне заходил председатель Толпа улу. Сказал,

что не отпустит нас в город, ни меня, ни бабушку. Сказал, что Кумыш на весь Карачай опозорится, если мать четверых героев-солдат покинет аул. Сказал, что нам помогут построить новый дом. И место для дома найдется — у Синего холма. И земля под огород найдется. В любом городе, в любом ауле найдется земля для матери фроптовиков. Это сказал Толпа улу. Сыновья Агаз защищали и защитили всю нашу землю. И разве могут земляки забыть об этом?

И завтра, когда снова приедет из города мой дядя и спросит, решил ли я перебраться в город, в кооперативную квартиру, я скажу, что решил навсегда остаться здесь, в Кумыше. И завтра же отнесу в сельсовет заявление. Я попрошу выделить у Синего холма участок для строительства дома. Я знаю — мне поможет весь аул. И придет день, когда Баблина войдет в этот дом, разведет своими руками огонь в очаге. И в нем, в этом новом доме начнется новая жизнь. И никогда не кончится. Двор наш никогда не зарастет травой. Двор наш всегда будет чист и опрятен. На дворе этом будут поставлены крепкие дубовые скамьи. На этих скамьях в час моих радостей и в час моих бед будут сидеть мои земляки. И я буду приходить к ним. И я буду делить их радости и горести. Буду слышать их смех и смеяться сам. Буду видеть их слезы и буду печалиться сам. Мне с ними жить, с ними трудиться. Я — кумышанец, как и все...

20. Товарищ Текеев

Характер у нашего школьного учителя товарища Текеева непримиримый, бойцовский. Он яростно бросается на любое проявление пережитков. Бросается очертя голову. Он похож на того петуха, который всегда кричал раньше, чем наступал рассвет. А когда его упрекали в этом и просили: «Дай рассвету наступить, не кричи до этого, пожалуйста!» — он отвечал: «Глухие люди! Как же наступит рассвет, если я кричать перестану?»

О Текееве в Кумыше говорят, что еще при собственном рождении он одолел один из пережитков прошлого — при появлении на свет он очутился не в руках старорежимной повивальной бабки, его приняла первая в ауле акушерка.

Фамилия и имя у Текеева «козлиные». По-карачаски Текеев — значит Козлов, а имя Эркеч — тоже козел, только

выхолощенный. Такие козлы обычно бывают жокаками стада. Хаджи-Даут, который недолюбливает Текеева, иной раз называет его Рогатым. Но кумышанцы, как правило, называют Эркеча Аслановича по фамилии, так и говорят: «физкультурник товарищ Текеев». Длинно, зато правильно.

Голова у Текеева уже начала белеть, а там, где еще не побелела, была рыжей. Немало прожил Текеев, но осанка его пряма, как у молодого. Хоть и нелегко труд учителя, а особенно учителя физкультуры, со своими делами Эркеч Асланович справлялся легко. Если бы он занимался только этими делами, пожалуй, в его голове не было бы еще ни одного белого волоса. От районной газеты он поседел. Много писал, часто печатался, и, случалось, даже в областной газете. Он обратил свое перо против пережитков прошлого. Он пристально всматривался в жизнь и, если замечал что-нибудь гнилое в сознании или в быту своих земляков, немедленно начинал искоренять недостатки.

Особенное внимание уделял товарищ Текеев старикам. Среди стариков еще немало приверженцев старых обычаев и законов — адатов. И молиться они не переставали, и в мечеть ходили, и калым получали, выдавая дочерей замуж, и курманлык справляли, когда выпадало какое-нибудь торжество, — короче говоря, старые кумышанцы доставляли непримиримому Текееву немало огорчений. Больше всего ему досаждали Айдамбул и Хаджи-Даут. Если большинство стариков обычно не спорили с Текеевым, слушали молча и в худшем случае лишь отмахивались от него, то Айдамбул, а вслед за ним обычно покладистый и миролюбивый Хаджи-Даут, как могли, высмеивали настойчивого физрука школы.

Одно время много споров шло, на каком языке ребятам учиться лучше: на русском или карачаевском? Товарищ Текеев сразу высказался за русский. «В Ростов на рынок поехал, — говорил он, подступая к Дауту, — тебе какой язык нужен?.. А если еще куда дальше поехать захотел?»

Хаджи-Даут, хотя его Мурат давно уже закончил школу и старик мог бы не вмешиваться в нынешние школьные дела, пришел на помощь соседу.

— Как может ребенок, не зная родного языка, хорошо понять русский? На каком языке ему тогда объяснять, как надо говорить и писать по-русски? — спросил он Текеева. — Вот твоя жена — русская, выучила же наш язык лучше своего рогатого мужа!

— Я попрошу без дурацких намеков! — вскричал обиженный физкультурник.

— А я и не намекаю! Я прямо говорю! — ответил Хаджи-Даут. — Все знают, что Текеев по-русски значит Козлов. Хоть по-русски, хоть по-карачаевски, а у козла все равно рога будут... А я говорю, что уважаемая жена Текеева, хоть и русская по рождению, а все наши обычаи знает и свято их соблюдает и на свадьбах, и на похоронах. Скажи, Текеев, это она что, по глупости делает? А шурин твой Андрей? Да умрет он позже Текеева! Хороший он человек, Андрей, хоть и не мусульманин. С нами вместе по нашим законам и на пирах сидит, и умершего на кладбище провожает...

— Остановись, уважаемый Хаджи-Даут! — попросил тогда оказавшийся тут же председатель сельсовета Толпа улу. — Дай и мне слово сказать. То, что у всех людей когда-нибудь один язык будет, — это хорошо. Кто скажет «нет»? Все народы на одном языке говорить будут, все понимать друг друга будут. И, конечно, к тому месту, где такое слияние произойдет, народы придут, не позабыв свой язык, свои обычаи, свои наряды. Они не придут туда голыми. Они не придут туда немymi. И мы, как и все другие народы, придем к тому месту со своим языком, со своими песнями, со своими нарядами. Покажем друг другу свое добро и выберем самое лучшее, самое прекрасное. Растущее дерево, чтобы оно росло быстрее, пельзя каждый день вверх дергать. Можно и корни оборвать...

— Вот-вот! — вскричал Хаджи-Даут. — Правильно говорит наш председатель! Только не все говорит! Я все скажу! Можно оборвать у дерева корни, а можно и грыжу нажить, если сильно поднатужиться! Не рви корни, Рогатый! Лучше с грыжей ходи! И умирай по-своему. И хоронить себя завещай, как хочешь. И закажи, на каком языке тебя оплакивать...

Текеев тут опять не выдержал:

— Пусть меня не оплакивают, когда умру! Чем хотите клянусь, после смерти больше всего буду доволен, если над моей могилой споют хорошую песню...

— Споем, споем, ты только умри! — пообещал Хаджи-Даут. — И уже сегодня закажи Андрею, чтобы сделал тебе гроб деревянный — похороним тебя в деревянном гробу. Первым из правоверных будешь, который в деревянный ящик ляжет!

— А что! Отличная идея! — Текеев совсем на Хаджи-Даута и не обиделся. — Лично я на деревянный гроб вполне

согласен! Почему это ты, Хаджи-Даут, думаешь, что лучше мусульман никто о покойнике не заботится? А я тебе скажу, что и среди наших похоронных обычаев есть совсем неважные...

— Без этих обычаев похороним! Не бойся умереть только!

Наверное, эта перепалка продолжалась бы бесконечно, не вмешайся тут Даут.

— Люди, а что тут спорить? Пусть каждый перед смертью говорит, как его хоронить надо. Кто пожелает — в саване, а кто — в гробу. По мне — гроб даже надежней. Что тут спорить? Будем хоронить по индивидуальным заказам. А теперь, наверное, всем домой пора...

— Боишься, что магазин закроют? — повернулся к нему Хаджи-Даут. — Спеши, спеши, жаждущий! Верблюда, ищущего в пустыне воды, без греха можно назвать твоим братом. Ты иди, а я лично отсюда не уйду, пока не втолкую этому пустоголовому, что к чему!

Пришлось тут вмешаться самому старейшему, Айдамбулу.

— Довольно! — строго сказал он. — Оба вы, и товарищ Текеев, и Хаджи-Даут, границ не знаете. Оба, послушать вас, о народе печетесь. Как говорится, и тот, кто чужих быков угонял, просил: «Помоги мне, аллах!», и тот, кто своих быков искал, с такой же просьбой к аллаху обращался. Спасибо вам обоим. Но будет лучше, если такое дело не только вашими двумя головами решаться будет.

Эркеч Асланович, даже если он в это время бичевал пержитки, умолкал, когда начинал говорить Айдамбул. Побавивался он старейшего. Потому что старейший даже такого языкатого и острого умом, как Мурат, сын Даута, мог в лужу посадить. Совсем недавно был такой случай.

Примерно за неделю до дня курмана — праздника, когда в полдень на кладбище приходят старики и старухи, приносят с собой сладости, молятся, поют зикир — священную песню. Нельзя сказать, что в Кумыше школьники — первоклассники и второклассники испытывали горячий интерес к святой вере, но конфеты, печенье, фрукты, подарки, которые в этот день им охотно раздавали верующие, волновали их, без сомненья, гораздо больше, чем уроки. И несмотря на грозные речи непримиримого борца с суевериями товарища Текеева, младшие классы в день курмана наполовину пустели.

Педагогический совет, который собрался по случаю религиозного праздника, понятно, своим решением молитву на кладбище отменить не мог. Эркеч Асланович худел и нервничал: он понимал, что ни дежурство учителей, ни беседы со стариками, ни даже милиционер в Черном ущелье не помогут — человечеству пока неизвестны эффективные меры на тот случай, если школяры хотят удрать из класса...

И тогда Мурат Хаджи-Даутович предложил провести эксперимент.

Вечером, накануне праздника курмана, школьники старших классов давали в клубе спектакль. Младших ребят в этот вечер тоже пускали в клуб, но с одним условием: привести с собой бабушку или дедушку. Никогда еще в кумышанском клубе не собиралось сразу столько стариков. Даже Айдамбул пришел и уселся среди других седобородых в первом почетном ряду.

Перед спектаклем на сцену вышел принарядившийся Мурат Хаджи-Даутович.

— Завтра, в субботу, о мусульмане, день курмана! — громко объявил он залу.

— Верно! — отозвался Айдамбул. — Помним. Живи долго, сын Хаджи-Даута!

— Суббота — это выходной день. И когда вы будете праздновать курман, работа страдать не будет. Желаю счастливо провести этот день!

— Спасибо! Будь здоров! Живи долго! — закричали в зале.

— Но в школе это рабочий день! — продолжал Мурат Хаджи-Даутович. — От имени всех учителей прошу: пусть ваши внуки, дети, правнуки придут в школу. Пусть каждый человек будет там, где ему положено. Место детей в учебные дни — в школе!

Зал молчал. Текеев, сидевший в первом ряду, огорченно вздохнул — этих стариков не так-то просто было уговорить. Но Мурат на сцене и не думал сдаваться. Он еще ближе подошел к рампе.

— У меня завтра, уважаемые старики, пять уроков географии в пяти классах. В каждом классе тридцать учеников, а то и больше. Даже если не явится завтра пятьдесят ребят, значит, у этих пятидесяти будет пробел в знаниях. Пятьдесят учеников так и не будут знать, что земля круглая. Хорошо вам, пожившим на свете. Вы знаете, что земля круглая, а каково детишкам, у которых еще все впереди! Пропустят один завтрашний день в школе и всю жизнь не бу-

дуг знать, что земля круглая! Разве можно это допустить? Конечно, возможно, и из вас кто-нибудь в свое время урок в школе пропустил и до сих пор не знает, что земля совсем как арбуз, а думает, что она как сковородка?

— А я вот хоть и слышал, что земля — арбуз, — сказал сидевший в первом ряду Айдамбул, — но все-таки не верю. Чем вот ты, сын Даута, докажешь, что круглая она?

Мурату, видимо, того только и пужно было.

— А вот и докажу. Только на спор!

— На какой спор? — насторожился Айдамбул.

А другим это понравилось.

— Спор — это хорошо! — воскликнул Хаджи-Даут.

И друг его, Даут, тоже обрадовался:

— Пусть спорящие сразу по два «хохалая» выставят.

— Нет, наш спор будет серьезным, — не дал сбить себя на шуточный тон Мурат. — Условие такое: если докажу, что земля круглая, — завтра ни один ученик на кладбище не появится! Запретим ребятам общим решением! И завтра, и в другие годы — в день курмана ребят на кладбище больше не будет! И пусть ответственными за это станут и школа, и все вы во главе с Айдамбулом.

— Ну и хитрый сын у Хаджи-Даута! — улыбнулся Айдамбул. — А если не докажешь?

— А если не докажу — завтра вся школа организовано, колонной, которой будет командовать Эркеч Асланович, придет на кладбище!

— Текеев не придет! Умрет скорее! — закричал Хаджи-Даут.

— Если умрет — принесем его на кладбище сами! — закричал Даут.

— На спор согласны? — перекричал всех Мурат.

— Согласны!

— Не согласен! — выкрикнул Эркеч Асланович. — Я не желаю отправляться в Черное ущелье ни живым, ни мертвым!

Но его голос потонул в шуме зала. Мурат протянул левую руку — из-за кулис ему сразу подали глобус. Как фокусник, он протянул правую руку — ему подали фонарик. Свет в зале погас. Зажегся фонарик, и учитель направил луч на глобус.

— Смотрите! Земля круглая, как этот шар. Над землей солнце, в полдень солнце прямо над головой. Согласны?

— Согласны!

— Значит, если у нас полдень, то на другой стороне земли, при условии, что она круглая, будет ночь. Видите, мой

фонарик освещает лишь эту сторону глобуса. А другая в темноте. Здесь вот — темнота, ночь...

— Сама видим, ночь! — соглашались в зале.

— Смотрите дальше. Вот здесь наш аул Кумыш, — Мурат ткнул в бок глобуса чуть выше границы света и тени. — И если у нас вечер, как сейчас, то на Камчатке, на Дальнем Востоке уже утро. Скоро там наступит рассвет. Мы еще спать не ложились, а у них уже солнце всходит. А если бы земля была плоской, то у всех был бы либо день, либо ночь.

— А как мы узнаем, что у них там сейчас уже солнце? — кричали старики из зала.

— Очень просто! Надо позвонить по телефону и спросить, взошло ли у них солнце. Они скажут: «Да, взошло».

— А кому звонить?

— Знакомым!

В зале снова поднялся шум — кумышанцы, не обнаружив знакомых на Камчатке, вспоминали родственников и друзей в других далеких местах. Вспомнили Али-Хасана, брата Зулима-акки, который жил во Фрунзе.

— Вполне подходит! — объявил учитель. — У нас только девять часов, а во Фрунзе уже за полночь. Заведующий почтой Ахья здесь сидит. Пусть старики идут с ним на почту и звонят Али-Хасану. Пусть Айдамбул идет, пусть Ожай идет, пусть Ханах идет. Пусть откроют почту, закажут срочный разговор и спросят: который там час?

Игра всем понравилась, и хотя серьезный заведующий почтой Ахья упирался, не хотел идти, тем более что его внучка участвовала в спектакле, но Ахью чуть не силой выпихнули на улицу. Через полчаса он и ушедшие с ним старики возвратились. Айдамбул поднялся на сцену. Он сказал:

— Позвонили мы Али-Хасану, спросили, спит ли он. Нет, не сплю, сказал. Вы, сказал, разбудили. Из Кумыша звоним, сказали мы. Что там случилось, взволновался Али-Хасан. Он думал, что-нибудь с его братом случилось. Мы ему сказали, что жив его брат, ничего с ним не случилось. Трубку Зулиму-акке дали. Зулим-акка взял трубку и тоже спросил Али-Хасана, спит ли он. Тут Али-Хасан рассердился: «Да что вы пристали! Спишь! Спишь! Как я могу спать, если с вами разговариваю?» Тогда Зулим-акка спросил, давно ли он лег. «В десять часов лег!» — ответил Али-Хасан. Зулим-акка попросил его говорить честно, сказал, что у нас важное дело. Тут снова Али-Хасан беспокоиться

стал. Что, спрашивает, у нас в Кумыше случилось. «Ничего не случилось,— ответил Зулим-акка.— Мы еще не спим. У нас девять часов, коров недавно подоили». Спросили мы, сколько времени сейчас в городе Фрунзе. Оказалось — первый час ночи! «А у нас только девять!»— сказал Зулим-акка. «Ну и что?»— спросил Али-Хасан. Тут Зулим-акка рассердился: «Как это что! Значит, земля все-таки круглая!» Али-Хасан ответил, что знал, что земля круглая, и спросил, зачем его разбудили. Мы сказали, что время еще ничего не доказывает. Время перепутать можно. Курицы вон тоже рано спать ложатся. Может быть, так и во Фрунзе спать раньше легли и будильники переставили? Спросили мы: «А солнца давно у вас нет? Что у вас теперь на небе, солнце или луна?» Али-Хасан совсем на нас рассердился. Слышно было, как босыми пятками о пол топал. Кричал: «Вы там, в Кумыше, с ума, что ли, все походили? У нас тут ни солнца, ни луны! Второй день дождище идет! Когда день, когда ночь, не разберешь!»

Ну, весь зал Айдамбулу в ладони захолопал! Посадил старый молодого, быстрого умом учителя... Однако ребяташки назавтра в школе на уроках сидели. И продолжали у Мурата выпытывать: как же все-таки доказать, что земля круглая, если в ауле, например, нет телефона?..

21. Совет на Синем холме

У Хаджи-Даута были все основания, чтобы печалиться. По почте пришла из Москвы бумага: Мурата приглашала приехать какая-то Аспирантура. Кто такая Аспирантура — старик точно не знал, но полагал, что в столице она занимает видное положение. Приглашение было напечатано на красивой бумаге с замысловатой фиолетовой печатью. А главное, эта самая Аспирантура обещала Мурату общежитие. Старик слышал, что в Москве домов много, но с жильем все равно туговато. И если эта Аспирантура давала Мурату общежитие, значит, она располагала сильными связями, сильными друзьями. Хаджи-Даут понимал, что если в Москве, где людей живет, говорят, больше, чем во всем Карачае, не могут найти никого, кто бы заменил его сына, то дело серьезное. Мурату придется ехать. А следовательно, он, Хаджи-Даут, через неделю-другую останется в доме совсем один..

Настроение у старика было скверным, все валялось из рук. В такие дни он обычно шел к своему старому другу. Но теперь идти со своими горестями к Дауту, который вот уже неделю лежал и охал, вспоминая встречу с Шамдой в Черном ущелье, было неловко — у Даута хватало собственных неприятностей.

Хаджи-Даут вышел из дома, бесцельно походил по двору, с надеждой взглянул на макушку Синего холма — а вдруг да случится невероятное, и на вершине, как это уже бывало тысячи раз, покажется знакомая нескладная фигура Даута. «О аллах, сегодня ты и в самом деле услышал меня!» — не без испуга подумал старик, когда наверху внезапно появилась Даутова папаха, седобородая его голова, узкие плечи, а затем старая бекеша и наконец длинные ноги в новых красных штанах.

— Хаджи-Даут! Ты живой? — позвал сверху приятель.

Хаджи-Даут не шел, почти бежал, — так обрадовался.

— Как твое ребро, друг? — на ходу кричал он. — Я вижу, оллахий, ребро твое здорово!

— Ребро здорово, душа болит, — хмуро сообщил Даут. — Давай сядем, поговорим. Не знаю, что делать.

— И я не знаю, — Хаджи-Даут сел и похлопал рукой по траве. — Садись рядом, у меня тоже душа болит. Один я остался. Мурат в Москву едет. Нельзя мне одному.

— Нельзя, — согласился Даут. — Тяжело тебе. Но мне еще тяжелее. Мое горе больше. Твой Мурат уедет. Потом вернется. Гулять будем. А мой Азрет такое надумал — сказать страшно.

— Что еще приключилось?

— Говорит — уедет из Кумыша совсем, если на Зубайде не женится. Не может, говорит, больше страдать.

Старики помолчали.

— Что значит уедет? — неуверенно сказал Хаджи-Даут. — Сын должен отца слушать. Вытяни его плеткой, чтоб дурь из головы вышла.

— Много твой Мурат тебя слушает?

— Да, время... Совсем молодежь от рук отбилась...

В Кумыше шла обычная жизнь. На дороге у подножья холма кричали и бегали мальчишки. У дверей магазина продавщица Зухра ругалась с водителем автофургона. Шамда и Гоштай шли к автобусной остановке — видно, решили съездить в город. И никто в ауле не знал, не догадывался, что назревали большие события.

Начало этим событиям положил Даут. Вернее — его яркая неожиданная идея. Оглянувшись, хотя на Синем холме

никого, кроме них двоих, не было, понизив голос, Даут сказал:

— Нет больше выхода! Красть Зубайду нужно!

Хаджи-Даут крепче ухватился за свой посох.

— Не дури, Даут! Украдешь Зубайду, Шамда такой шум поднимет — в райкоме услышат. Забыл, что ли, — твой Азрет член партии! Думаешь, райком обрадуется, если он кражей себе жену добудет?

Даут огорченно сопел.

— Если тебе помогать стану, — продолжил Хаджи-Даут, вертя свою палку, — Шамда меня проклянет. А я, старший дурак, все надеюсь, что она выйдет за меня замуж. Каково мне одному будет, когда Мурат уедет?

— Да... Если Шамда кричит — далеко слышно... — не вдумываясь в слова приятеля, размышлял Даут. И вдруг его озарило. Даже морщины на миг будто разгладились. Он восторженно уставился на друга. — Слушай, ты что сейчас такое сказал?

— Что я сказал? Мурат вот уедет...

— Да нет! Ты что про Шамду говорил?

— Про Шамду? Жениться я хотел на ней! Вот что! — вышалил Хаджи-Даут.

— Женим! — заорал приятель. — Слово даю — женим! Все, придумал! Не Зубайду красть надо! Шамду украдем!

— Ты что, Даут? Спятил?

— Да я серьезно говорю, вдовец старший! Шамду надо украсть! Увезем к тебе — куда она денется! И ты ей как законный муж скажешь: «Не валяй дурака, старая кляча! Пусть Зубайда выходит за Азрета! Не позволю рушить счастье молодых!» Да разве она посмеет послушаться мужа!

— Не посмеет, — робко отозвался Хаджи-Даут.

— И райком доволен будет! — горячо продолжал развивать свои планы Даут, энергично помогая собственным мыслям руками. — Райком радоваться будет — мой сын Азрет женится по любви! Разве плохо, если коммунист женится по любви?

— Хорошо, если по любви. А если Шамда опять не согласится?

— Да как она не согласится! Да по какому праву! Все на нее навалимся — ты как муж, Айдамбул как родственник, я как свекор! В конце концов Советскую власть позовем!

— Да, против Советской власти Шамда не устоит, — снова ошеломленно согласился Хаджи-Даут. — А все равно

на такое дело идти страшно. Никогда в жизни не воровал жен...

— Но хоть раз надо попробовать! — убеждал друг. — Умрешь, а так и не узнаешь, что такое украсть жену!

Даут нарисовал перед приятелем такую яркую картину, что тому показалось, будто весь Синий холм засверкал, умывшись росой. Хаджи-Даут вдруг с удовольствием представил, как Шамда суетится у печи в его доме, как во двор к ним приходит поболтать Гоштай и другие ее подружки...

— Единственное осложнение — как ее украсть, крокодила? — задумался Даут.

— Эй! — недовольно сморщился Хаджи-Даут. — Не смей так обзывать мою новую жену! Как огрею палкой по твоей лысой башке, тогда узнаешь крокодила!

— Оллахий, да потерпи, пока Шамда твоей женой станет! Ишь какой нервный! Слова сказать нельзя! Лучше думай, как ее красть будем. Она же так вопить будет, что из города милиция приедет. Тут сильно думать надо. Давай позовем на совет Айдамбула. Унуха надо позвать. Без них ничего не сделаем. В одиночку ничего не сделаем. Как это Текеев говорит?.. Коллективом братья надо, коллективом красть ее надо...

Даут мыслил верно. Это в старые времена лихой джигит мог в одиночку, без особых хлопот украсть невесту. Шла, например, девушка к реке. На плечах коромысло, мирно покачивались ведра, шла девушка, пела и не знала, что за ней пристально следила пара хищных глаз. Черным ястребом налетал на девушку незнакомый всадник в бурке, бросал поперек седла и мчал в горы, в лес, в глушь, и через несколько дней она уже была в чужом доме, в углу, под белой шалью. Из этого мужниного дома пути обратно не было — разве только в воду, в омут.

Ныне обряд умыкания невесты значительно усложнился. Умыкать можно только с согласия невесты. Нарушить это непременно условие — не миновать встречи с прокурором. Прокурор, как известно, вообще не одобряет кражи, а уж кражу невест — особенно. Но что поделаешь, если он и она влюблены, а ее отец, братья и слышать не хотят о таком женихе? Нарушить волю близких невеста не смеет — проклянут навеки, и тогда в родительский дом дорога ей до самой смерти заказана. Ни родителей, ни братьев, ни сестер она никогда не увидит, разве только тайком, где-нибудь из-за угла...

Поэтому теперь невест умыкают иначе. Жених собирает

надежных друзей, у одного из них обязательно должна быть автомашина «Волга» (у такой машины удобные широкие двери). В назначенный час девушка отправляется, например, в магазин за покупками, ее догоняет автомобиль, останавливается, из него выскакивают мужчины — среди них, разумеется, и любимый, хватают невесту, втискивают ее на заднее сиденье «Волги», и водитель газует что есть мочи. Тут у невесты главная задача — как можно громче кричать. Так кричать, чтобы все слышали, чтобы потом передали родителям, как она, бедняжка, убивалась, звала на помощь! Разумеется, «Волга» долго кружит по соседним аулам, чтобы погоня не сразу напала на след. На след родня невесты, конечно, все равно нападет. Отец и братья ломают калитку дома, где прячутся молодые, во двор врывается вся родня невесты, человек двадцать, а то и тридцать. Они готовы весь дом разнести в щепки. «Выходи! — кричат братья невесты. — Если ты наша сестра, выходи из дома! Мы покажем обидчикам, как красть девушку, словно она овца...» — «С удовольствием вышла бы, но поздно! — говорит невеста, пряча лицо под шалью. — Без вас и дня жить не хочу. Воля родителей, ваша воля для меня священны. Но такова судьба, видно. Я уже в этом доме. Поздно. Вчера надо было меня спасать, чтобы не ночевала я здесь! А теперь поздно!»

После этой торжественной части братья уходят, не проклиная невесту. Не виновата она, не ее воля была. А потом примиряются и родители...

Бывает, что невест умыкают и с согласия родителей. Обычай строг — пока старшая сестра замуж не вышла, младшая о замужестве и думать не смеет. Ну, а как быть, если старшей сестре не повезло — что ни делай, не сватают ее? Младшей тоже век в девках сидеть?

В таких случаях невест умыкают еще более организованно — родители помогают.

Но с Шамдой был случай особый. Айдамбул, когда узнал, какая идея осенила Даута, сказал:

— Оллахий, в первый раз слышу, чтобы такую старую рухлядь, как наша Шамда, крали! Да если Хаджи-Даут ее пальцем поманит, она сама прибежит!

— Прибежала бы, если бы в ней шайтан не сидел, — заметил Даут. — Ей бежать хочется, а шайтан в ухо шепчет: «Иди, Шамда, в другую сторону!» Вот она всю жизнь поперек и идет.

— Насчет шайтана это точно, — согласился Айдамбул. Он долго думал.

— А что, оллахий, в этом плохого? — наконец решил он. — Обычай не может счастьем мешать. Если не переломить эту старую дуру — Зубайда и Азрет станут несчастны, Азрет уедет, Зубайда будет ждать — за другого замуж не пойдет, а из-за нее и Баблина будет в девках сидеть, и вконец будет разбито Хохалаево сердце. Да и Хаджи-Даут один будет в своем доме болтаться. А страшнее одиночества болезни нет. Вот так, одной женщине ничего не стоит наворотить гору глупостей выше самого Эльбруса...

— Вредитель она, а не женщина! — быстро вставил Даут.

— Языком молоть — дело не делать! — недовольно буркнул Хаджи-Даут. — Тебе лишь бы женщину обозвать дурным словом.

— Будем красть! — приговорил Шамду самый седобородый кумышанец. — Во всем Карачае начнут говорить: «В Кумыше, мол, девушек больше нет, старух принялись умыкать». Опозорим аул, но все равно красть будем. Ради счастья людского красть будем. Но красть будем по строгому плану...

22. Без тучи дождя не бывает

Мирно и размеренно шла жизнь в Кумыше. И только очень внимательный наблюдатель мог заметить, что близ Синего холма происходили едва уловимые перемены. Таких наблюдателей, кроме остроглазой Шамды, в ауле не оказалось.

Прежде всего Шамда заметила, что Хаджи-Даут, несмотря на близившийся отъезд Мурата, неожиданно повеселел. Он вдруг заново побелил дом, а остатками краски вымазал колья забора у калитки и у ворот, отчего вход приобрел вид необычный, даже праздничный.

Затем Шамда заметила, что старик зачастил в магазин и о чем-то подолгу шептался с Зухрой, но, поскольку у Шамды с продавщицей дипломатические отношения были издавна прерваны, узнать подробности не удалось.

Совсем невероятным показался Шамде и тот факт, что Даут теперь ходил совершенно трезвым, а увидев ее, еще издали вежливо кланялся, хотя Шамда каждый раз демонстративно отворачивалась.

И совсем уже огорчило и озадачило Шамду хорошее настроение Зубайды. Ее старшая дочь вдруг ни с того ни с

сего начинала петь, по три раза на дню перебирала свои наряды. Шамда с пристрастием допросила Баблину, но та ничего толкового сказать не могла. Все это было совершенно необъяснимо...

После длительных совещаний с Гоштай Шамда пришла к выводу, что дело плохо. Не мешкая, она пошла в сельсовет.

— Скажи, уважаемый, должна Советская власть защищать одинокую женщину? — спросила она председателя Толпа улу.

— Должна, — уверенно ответил председатель. — Но если ты имеешь в виду себя, то позволь напомнить, дорогая тетушка Шамда, в нашем ауле нет человека, который рискнул бы тебя обидеть.

— Есть один такой человек! Это Даут! Он на все готов!

— Шамда, будь справедлива! — чуть повысил голос председатель. — Даут до сих пор ходит и держится за ребро! Не он тебя, а ты его в овраг столкнула!

— Он сам свалился!

— Может, и сам. Но от тебя бежал!

— Он мою дочь собирается украсть! — выпалила Шамда. — Я сердцем чувствую, украдет он Зубайду. Она песни поет!

— Что? — опешил Толпа улу. Он даже привстал из-за стола. — При чем тут песни?

— А при том! Раз поет, значит, успокоилась. Значит, уверилась, что к тебе придет с этим проклятым Чугунком регистрироваться!

— Если Азрет и Зубайда добровольно решат вступить в брак — охотно их запишу. Закон на их стороне.

— А кто на моей стороне будет? — тут Шамда так стукнула кулаком по столу, что чернильница подпрыгнула. — Есть разве такой закон, чтобы невесту красть?

— Нет такого закона.

— А раз нет — пусть Советская власть меня защищает! Скажи Дауту, что засудишь его, если он посмеет!

— Да какие у тебя, Шамда, основания подозревать? Где факты? Аргументы где?

— Сердце у меня!

— Сердце не факт! Его к делу не подошьешь!

— А почему Хаджи-Даут, лучший Даутов друг, в магазин бегает? Я знаю — он Дауту помогает свадьбу готовить! У Даута бок болит, вот Хаджи-Даут его и выручает!

— Это тоже не факт! Это твои подозрения!

— Айдамбул вчера со мной говорил — это опять не факт? Он говорил, что нельзя одной против всех остальных людей идти. У людей, мол, сила, а у одного — только писк!

— Справедливо говорил Айдамбул. Но при чем тут твоя Зубайда?

— А при том, что весь Кумыш говорит, что Зубайда и Азрет — хорошая пара, одна я против...

— Вот и прислушайся! — Толпа улу встал, оперся руками о стол и внушительно произнес: — Прошу тебя, не губи мое дорогое время. У меня дел хватает. Когда украсят твою Зубайду, тогда приходи. А до пожара в колокол не бей. Ни одного факта привести не можешь, а панику поднимаешь! Так целый день попусту говорить будем.

Взгляд председателя сельсовета выражал такую решимость, что Шамда встала и сказала, будто выплюнула:

— Бюрократ паршивый! И на тебя управу найду!..

С этими словами она и вышла, а Толпа улу устало опустился на стул, достал платок и, чертыхаясь, долго тер взмокший лоб...

На следующий день пришел черед товарища Текеева. Он был очень взволнован, население Кумыша наконец достойно оценило его неустанные усилия в борьбе с пережитками! Население, точнее — Шамда, сидело на стуле посреди физкультурного зала, а сам Текеев расхаживал по залу и, когда в дверь время от времени просовывалась ушастая голова, возмущенно взмахивал руками. Голова исчезала, чтобы через минуту-другую снова заглянуть в кабинет.

— Не волпуйся, уважаемая сестра! — вдохновенно говорил Эркеч Асланович. — Ты верно сделала, что пришла именно ко мне. Умыкание невест — позорный обычай! Он унижает, оскорбляет и попирает! Это чистое самоуправство! И в нашем родном Кумыше мы не потерпим, чтобы умыкали человека с высшим педагогическим образованием! Мы не потерпим, чтобы твою и нашу Зубайду насильно ввели в чужой дом! Я подниму этот вопрос на такую высоту, что...

На какую высоту собирался поднять товарищ Текеев, осталось неизвестно, так как в дверь снова двинулась мальчишеская голова, и Эркеч Асланович не выдержал:

— Ну что, наконец, случилось?

— Эркеч Асланович, дежурных вызывали?

— Дежурных? Так что же ты сразу не сказал?

— Мы говорили, а вы не слушали.

— Надо было громче говорить! Заходите, ребята!

В кабинет втиснулось несколько мальчишек.

— Дети! — с пафосом обратился к ним преподаватель физкультуры. — Взгляните в окно, за ним наш мирный спокойный Кумыш! Идут люди, ничего не знают, ничего не подозревают. Бредет вон Азанчы...

— Это не Азанчы, — уточнил один мальчик. — Это осел дяди Хасана. Они с Азанчы лицом схожи.

— Не лицом, а мордой! У осла лица нет, у него только морда! Не перебивай!

— Да что вы об ослах заладили! — возмутилась Шамда. — Тут, может, уже преступление совершается! А вы об ослах!

— Не спеша, уважаемая Шамда! — запротестовал Текеев. — Я лучше знаю, с чего начинать! Дети, нашей учительнице, нашей Зубайде грозит опасность! В нашем тихом ауле ее могут украсть и похитить!

Мальчишки удивленно переглянулись.

— Да, дети, не удивляйтесь. В особых случаях учительниц тоже крадут. Как вы думаете, когда могут похитить учительницу?

— Перед контрольным диктантом! — быстро догадался самый маленький ученик.

— Зря я, старая дура, пришла за помощью к твоим малолетним! — огорченно сказала Шамда и встала. — На одного аллаха надежда!

— Наберись терпения, дорогая Шамда! Помни — аллах далеко, а Текеев близко! Но не беспокойся. Слово Текеева — железное слово! Все будет в полном порядке!

— Где они, твои порядки? — Шамда все-таки ушла, в сердцах хлопнув дверью.

Но товарищ Текеев не бросал слов на ветер. Не только Шамда, все кумышанцы скоро заметили, что Зубайду, где бы она ни появлялась, упрямо провожала толпа мальчишек. Куда бы ни шла молодая учительница — в школу, из школы, к подругам, в клуб, — за ней, не прячась, следовала шумная стайка мальчишек. Пять — семь провожатых подозрительно оглядывали проезжавшие машины, готовые в любую секунду броситься на помощь. Зубайда сердилась, запрещала, даже всплакнула, но мальчишки были непреклонны — это ответственное поручение физрука превратилось для них в необычную и очень интересную игру.

И даже Азрет-Чугунок, которого все юные кумышанцы уважали за силу и ловкость, ничего не смог сделать. Он

даже не сумел толком поговорить с шустрым конвоем своей возлюбленной — мальчишки рассыпались, как воробьи, и вмиг собрались тесной стайкой, как только Азрет, безнадежно махнув рукой, уходил восвояси...

23. Когда Кумыш был темен

Никаких происшествий в Кумыше не наблюдалось. Очевидно, потому, что как-то вечером Текеев публично у клуба поклялся, что тот, кто решится опозорить лучшего члена школьного коллектива, лучшую учительницу, сначала перешагнет через его, Текеева, труп. После этого заявления кумышанцы с интересом ожидали последующих событий, но желающих шагать через мертвого Текеева не находилось, и даже Шамда несколько успокоилась. Больше того, она начала — правда, нехотя — отвечать на вежливые приветствия Даута, неизменно улыбавшегося при встречах.

— Что ты все зубы скалишь, Даут? — спросила однажды Шамда. — Чему радуешься?

— За тебя радуюсь, дорогая соседка, — засмеялся старик. — За твое счастливое будущее...

Шамда вновь помрачнела. Очень ей не понравились туманные Даутовы слова.

Узнав об этой встрече, Айдамбул пришел к Хаджи-Дауту и еще с порога, не входя в дом, сказал:

— У твоего друга язык длинней, чем у Шамды! Бери моего Азанчы, езжай в Сары-Тюз, собирай родичей. Будем ждать дальше — провалим всю операцию. Даут всем разболтает.

— Завтра? — задохнувшись, спросил Хаджи-Даут.

— Сегодня!

Вечером приговор был приведен в исполнение.

Когда стемнело, к Шамде пришла жена Унуха.

— Шамда, меня Айдамбул прислал, — сказала она. — Велел тебе прийти. Сказал, гости будут. Разговор важный будет.

— Какой еще разговор?

— Не знаю. А люди и в самом деле уже съезжаются. Из Сары-Тюза шестеро прискакало. Говорят, еще едут. Это все родственники Хаджи-Даута.

— Хаджи-Даута? — удивилась Шамда. — А он тут при чем?

— Ничего не знаю, говорить не буду. Приходи, раз Айдамбул зовет.

— Нужны мне эти разговоры! — ответила Шамда. Сразу, разумеется, она не могла согласиться. — Ну, ладно, приду скоро. Переоденусь, тогда приду. И передай — не говорить попусту приду, а тебе помогать. Если собирается больше двух мужчин — на них еды не наготовишься.

— Спасибо, родная. От помощи не откажусь. Стол хороший накрыть надо...

Через полчаса Шамда отправилась в гости. К тому времени над Кумышом уже светила луна. Кое-где на столбах, помогая луне, качались фонари. У дома Хаджи-Даута фонарь не горел, но Шамда уверенно шла по знакомой тропинке. Когда она поравнялась с калиткой, из темени двора вдруг вышли незнакомые мужчины, заслонили дорогу.

— Ты Шамда? — спросил один из них.

— Ну и что? — не робея, ответила женщина.

— Говори, когда спрашивают! — прикрикнул мужчина.

— А ты на свою жену кричи! На меня кричать нечего! Ишь, нашелся один такой! Да если хочешь знать, таким, как ты, цена за один пучок рупь двадцать в базарный день!

— Она! — уверенно произнес другой мужчина. — Говорят, другой такой языкастой в Кумыше нет.

И тут незнакомцы вдруг подхватили Шамду, накинули на нее не то платок, не то мешок и быстро, сноровисто потащили к дому Хаджи-Даута. Она и закричать не успела, как дверь распахнулась, и ее внесли в комнату.

— Осторожно, осторожно! — услышала Шамда растерянный голос Хаджи-Даута.

— Да что это тебе — пианино? — отозвался один из бандитов. — Нашел редкость! Куда ее прикажешь?

Шамду поставили в угол.

Дверь резко захлопнулась, звякнул засов.

— Спокойной ночи, молодые! — захохотали мужчины, и все стихло.

Только тогда Шамда пришла в себя. Освободившись от покрывала, она оправила платье, уселась на кровати и сурово взглянула на жавшегося к двери испуганного Хаджи-Даута.

— Что это значит, сосед? Ты с ума сошел?

— Нет, Шамда, я в своем уме. Я просто тебя умыкнул. В жены взял. По-старинному, по обычаю...

На накрытом столе городская серебряная головка шам-

панского настолько целепо выглядела среди тарелок с кумышанскими яствами, с которыми гораздо лучше гармонируют более скромные напитки, что Шамда сразу поверила, что Хаджи-Даут не шутит.

— Ты что, старый дурак, решил опозорить нас двоих? Сейчас же открой дверь, и я уйду незаметно! Ой, какой срам в нашем возрасте! Кто в ауле узнает — проходу не дадут. Ты соображаешь, что скажет Айдамбул? Ты понимаешь, как все смеяться будут? Мне же не двадцать лет! В жены он взял! Открывай сейчас же двери!

— Покорись, дорогая Шамда, — тихо попросил Хаджи-Даут. — Дверь мы открыть не можем, она снаружи заперта. В окно тоже не вылезешь, кольями подперты. Смирись. Я один остался — Мурат в Москву едет. И ты одна...

— Почему это я одна?

— Зубайда все равно замуж выйдет. А там, глядишь, Хохалай уведет Баблину. Недолго уже осталось ждать. Что делать станешь? Жизнь идет. Молодые свои гнезда выют. А я хорошим мужем буду, старательным. В обиду никому не дам.

— Не дашь! Уже дал. Почему не по-хорошему? Почему меня не спросил?

— Да как тебя спросить? Я боялся...

— А кто тебе сказал, что Зубайда замуж выйдет?

— Я тебе говорю. Завтра мы с тобой ей разрешим. Они с Азретом пойдут в Совет, запишутся. И мы с тобой запишемся.

Шамда, так и продолжая сидеть на кровати, задумалась.

— А если я против?

— Теперь я твой муж, женщина! — строго сказал Хаджи-Даут. — И ты должна меня слушать!

— Да какая я тебе жена, старый! Что ты плетешь! Утром тихо уйду, никто и знать не будет.

— Утром нас весь аул придет поздравлять. Айдамбул, Увух, Даут позаботятся.

— Они все знают?

— А как без друзей? Завтра две свадьбы справлять будем. Уже все давно готово. Полмагазина купил. Все родственники и мои и твои съедутся. Сегодня всех уже оповестили.

— Пропала я, несчастная!

Шамда, сварливая, языкастая, бойкая, напористая, Шамда, с которой не решались связываться не то что кумышан-

цы, но даже начальники районного масштаба, вдруг тихо, просто, по-бабьи заплакала. А Хаджи-Даут подошел, опустился рядом на кровать, положил руку на плечи своей жены, притянул ее к себе. Так они долго сидели, и Шамда всхлипывала все реже и реже, все тише и тише.

— Твоя взяла, старый дурак, — вдруг объявила она. — Будет по-твоему. Пусть Зубайда замуж идет. Где у тебя веник? Мусор вы с Муратом развели тут, как в хлеву...

Семейная жизнь Хаджи-Даута началась.

24. Из Синей тетради Хохалая

Падает тихо первый снег. Кружит, ложится на горы, на долины, на крыши наших домов, на тропинку, на нас. Мы с Баблиной стоим на Синем холме. Стоим впервые наедине, стоим впервые совсем близко друг к другу, стоим в темноте, которую едва пробивает неяркий свет из окон домов, собравшихся вокруг холма. Руки Баблины в моих руках. Мы молчим, потому что уже все сказано. Мы долго говорили, и на нашем Синем холме не прозвучало ни одного неправдивого, неискреннего слова.

Я сказал Баблине, что бабушка Агаз стара, что здоровье ее день ото дня слабеет. И мечтает она об одном — о том, чтобы увидеть меня счастливым. Иначе ей трудно будет умирать. А счастливым я могу быть только с Баблиной.

Конечно, с какой стороны ни подойди — жених я незаметный. Ничем не блестящий жених, и сам слишком молод, и домик наш скоро снесут, а другого пока еще нет, а самое главное — один я, нет у меня родни, никого, кроме бабушки Агаз и дяди. А Баблина ответила, что самое главное — это любовь. А она есть. Остальное не беда. Я молод, по повзрослею, даже если бы этого не хотел. Нет дома — будет, аул весь поможет. Так заведено в Кумыше. Нет родственников — найдутся. Объявятся, когда мы поженимся. Шамда мне станет тещей. Шамда сама вышла замуж, значит, теперь у меня будет и тесть — старый, добрый друг моего отца Хаджи-Даут. А если он мне тесть, то его сын Мурат теперь мне приходится шурином. Моя двоюродная сестра Зубайда тоже вышла замуж. Выходит, Азрет, его мать Хорасан, его отец Даут — тоже стали моими родственниками...

А когда Баблина родит детей, когда они вырастут, сы-

новья мои женятся, дочери мои выйдут замуж — и родня моя будет расти. Будут мои близкие влюбляться, будут свадьбы, будут рождаться дети, и все мы, кумышанцы, переплетемся друг с другом, как зеленые ветви одного дерева, корни которого так крепки и сильны, что никакая беда, никакой ураган никогда не вырвет это дерево из земли, не повалит его на землю...

Падает первый снег. Летит, покрывает землю. Вся земля к утру станет белой. Холм, на котором мы стоим, высок. Когда я обнимаю Баблину, мне кажется, что холм становится еще выше. Он растет, он поднимает нас к небу, к высокому темному небу, с которого летит этот белый чистый снег. И с высоты я гляжу вниз и вижу, как прекрасна наша земля, эта круглая, полуприкрытая облаками наша планета. И все люди на ней мне дороги, потому что все они — жители земли. И дорога мне вся земля...

Я гляжу с высоты и думаю, что этот прекрасный зеленый шар, не будь на нем моего аула и моих аульчан, был бы просто похож на холодный каменный мячик, летящий в холодном пространстве неведомо куда, неведомо зачем.

Но есть на земле мой аул, мой Кумыш, есть мои кумышанцы. Я думаю сейчас: земля вечна и вечны люди на ней — мои земляки.

25. Слово прощанья

Давно известно: если хозяин плох, гостю неловко. А если гость оплошал, неловко хозяину. Поэтому, взяв в руки чашу прощанья, подумай хорошенько, гость наш. Подумай о том, что скажешь нам на прощанье.

Говори, гость наш! Опустив глаза долу, сомкнув уста свои и наострив уши свои, мы готовы услышать любое слово твое.

Но помни и слова древних: «Плохой гость обычно хозяевам льстит». Поэтому если ты отыщешь самые красивые слова и станешь, не жалея меда, наши недостатки к достоинствам причислять, то мы окажемся в неудобном положении перед тобой.

Но также и знай, что слова напрасной хулы ранят сердце сильнее ножа. Если, нахмурив брови, станешь говорить, что хлеб наш невкусен был, постель наша жестка была, дом наш неуютен был, на улицах наших грязь, а сами мы не-

приветливы, хитры, зловредны, клянемся — ты нас сильно обидишь.

Мы для тебя ничего не жалели. Что было, то и положили в котел. Но за это не ждем от тебя благодарности. Таков закон гостеприимства.

Говори правду, наш гость! Говори прямо, что понравилось тебе у нас и что не понравилось. Говори нам! Охлахий, нехорошо будет, если нам ты не скажешь правды, промолчишь, отведешь глаза, а потом за нашей спиной ославишь, станешь ругать, или в газету напишешь, или по радио на весь мир объявишь. Какая в том польза для тебя и для нас?

Никакой!

Но знай также, если даже решишь просто так, без всякой пользы дурное о нас сказать — говори. Мы простим, мы смолчим — ты гость. И для нас это главное.

А может быть, мы зря опасаемся? Может быть, ты и не собираешься говорить о наших недостатках? Может быть, ты их не заметил?

Так или иначе — говори все, что думаешь. Мы слушаем тебя, ждем.

И, столько молчав, ты произносишь «спасибо»? Желаешь нам счастья, изобилия, здоровья? Говоришь — до новой счастливой встречи?

Спасибо, гость, за эти слова! Пусть счастливой будет твоя дорога. Пусть тебе на пользу пойдет все, что выпил у нас, что съел. Не осуждай, если наши блюда и напитки были не очень изысканны. Под простым небом живем, и блюда наши простые, и люди мы простые.

Не осуждай нас также, если рассказы наши были скучны. Мы искренне хотели тебе поведать о нашем ауле. Не осуждай нас, если заметишь в наших рассказах малый смысл или вообще не обнаружишь никакого смысла. Значит, мы просто не умеем рассказывать.

А если скажешь, что в карачаевском языке много прекрасных слов, и спросишь, как так случилось, что в этих рассказах вместо таких слов появились совсем другие слова — кривые, худосочные, слепые, хромые слова, — тогда мы ответим тебе, как ответила та кошка... Когда хромоногую кошку спросили, почему она не ловит мышей, то она ответила: «Не потому не ловлю, что боюсь, что мышей станет меньше, а потому не ловлю, что ловить не могу».

Мы тоже не утверждаем, что карачаевский язык иссяк. Нет, просто мы, по-видимому, не сумели воспользоваться его богатством...

Что-то ты на двери поглядываешь, гость наш? Понимаем: пора.

Пусть ровной будет твоя дорога!

Пусть тебе предстоит свершить еще немало добрых дел!

И пусть удача ждет тебя на каждом шагу!

До скорой новой встречи. Надумаешь снова заглянуть в Кумыш — будем рады. Встретим, как доброго старого друга. Наш дом — твой дом, дорогой гость.

И пусть наша новая встреча с тобой будет не за горами!

Высоко в горах, в глуби оранжевых скал, тихим гнездом лежал наш аул.

Он был отгорожен от мира камнем, и деды наши ломали камень, чтобы открыть этот мир.

Кто родился потом, родился богатым: много в горах дорог — шагай в любую сторону.

Каждый шел дорогой, которой хотел, но сначала шагал по одной — обязательной, общей для всех.

Начиналась она с порога и неуклонно шла в гору...

Там, где она кончалась, вздымалась к небу тяжелая скала с орлом на вершине.

И там же начинались сотни разных дорог и тропинок, ведущих в неведомое и желанное.

Человек выбирал одну из них.

Делал первый шаг...

И тогда из глубин земли внезапно вылетал дремучий и властный голос его предков:

— Идущий, стой! Видишь орла наверху?

— Да, вижу!

— Посмотри, он вытянул крылья, подался могучей грудью вперед: он жаждет взлететь, жаждет покорить небо.

— Да, жаждет!

— И все-таки он не взлетит. Потому что он каменный. В нем нет самого главного — он не орел.

Смущенный путник долго молчал, а из земли гремел могучий голос отцов и предков:

— Ты продолжишь свой путь, идущий?

— Да, я пойду!

— Ты хочешь открыть мир, взять его радости?

— Да, я открою и возьму.

— А есть ли в тебе самое главное для этого?

— У меня есть мужество.

— Разве это главное?

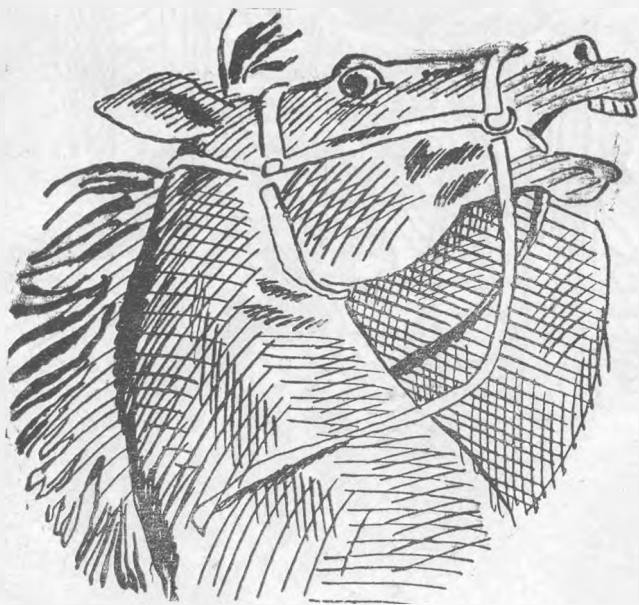
— Я силен.

— И это не главное.

— Я умен и красив.

— Не о том речь ведешь. Есть ли в тебе гораздо большее, идущий? Человек ли ты?..

Элия





В нашем доме поют...

На нашем дворе, на белом снегу — красный круг.

На улицах белые сугробы и невеселый январский ветер.

Солнце низкое скатилось на горы, скоро спрячется...

Я сижу в нашем сарае спиной к дому. Сарай душен, ветер сюда не заходит. Ветер стучит в оконце, бьет хлопьями снега в стекло. Тусклый луч заката светит в лицо — глаза мои сузились, веки дрожат... На стене против меня, на ржавых гвоздях, висят два седла, две пары подпруг, узда с серебряными насечками...

Постепенно уйдет из сарая конский дух, что живет пока еще в седлах, в подпругах, в крепком ремне серебряной узды, думаю я. Уйдет конский дух, выветрятся запахи пота, навоза, и сарай останется бездушен...

На стене против меня в одной связке восемь подков. Подковы новые, сильные, ярко блестят. Выкованы не в нашей кузнице — где-то на заводе. Отец их привез из Ростова, сказал, отличные подковы, военные, таких удастаивались в войну лишь копыта строевых коней...

Самое ненужное, самое лишнее сейчас на свете — эти восемь новых стальных подков, думаю я. И еще думаю об отце, который поет с гостями...

Я любил отца, гордился им и, размышляя о том, каким буду, когда вырасту, хотел видеть себя похожим на него во всем.

Отец был сильный. Отец уважал людей. И в словах и на деле был мужчиной. Многословием не страдал. Ему всегда удавалось найти правильные и короткие слова, чтобы сказать, как он думает. Одно его неторопливое замечание могло остановить спорящих, удивив простотой и такой ясностью, после которой нарушать тишину казалось уже неудобным.

Отец никогда не суетился. Мелочность считал позором для мужчины. Жизнь понимал. И сам был понятен и открыт.

Отец любил работать. Вечером, завершив день, он спокойно ложился отдыхать, утром спокойно просыпался, готовый к новому дню.

Он твердо стоял на земле.

Я думал, он, как кусок горы — скала крепкая, неизменная, которую ни дождь, ни солнце — ничто не может поколебать, преобразить, сплющить, только разбить ее можно, расколоть, разрушить, если найдется такая большая сила...

Отец не был суров. Мужество в нем уживалось с добротой. На камень и дерево, на птиц, на горы и солнце отец смотрел добрыми глазами. Ко всему был внимателен. Думаю, он прекрасно чувствовал место, право и обязанности человека на земле... Уверенность отца, его спокойствие и могущество были уверенностью, спокойствием, могуществом мудрого, ответственного за все правителя, владыки, повелителя. Когда отец глядел в ночное небо, мне казалось, он заботится и о нем, как о крыше нашего дома, и, перед тем как лечь, передает звездам свою волю: светить завтра тоже... Отец умел, ни над чем не возвышаясь, царить над всем. И я поклонялся отцу...

Сам отец был естественным на земле, как сильное, зеленое дерево, и я, его сын, был естествен, как ветка на этом дереве. Мир был прост. Я не боялся ветра — шумел под ним, не боялся дождя — мок под ним, а когда выглядывало солнце, сбрасывал с листьев капли воды, грелся...

Я любил отца, мне было хорошо...

Сегодня я сижу в старом сарае, слушаю свист ветра, смотрю на связку отличных новеньких подков и думаю об отце.

Я думаю, где взять отцу теперь силы встретить, прожить и проводить каждый день так, чтобы спалось, как раньше, спокойно, безмятежно...

Я думаю, как может отец царить теперь над миром: над камнем и деревом, над звездным небом, над птицей...

И надо мной тоже...

Не приходилось мне слышать об отце своем худого слова ни разу. Детям об отцах и дедах плохого не говорят. Просто молчат. А если есть за что похвалить, всегда найдут доброе слово. Молчать о хорошем человеке — значит совершать тяжкий грех. Сын растет лучше, если знает, что отец достоин похвалы. Так принято думать, наверное, во всех аулах, не только в нашем.

В каждом ауле есть старики, родившиеся раньше всех и поэтому помнящие все обо всех.

— А чей ты сын, не скажешь ли, сынок? — поинтересу-

ется старик, увидев мальчишку.— Магомеда, говоришь? Какого Магомеда? Бо-бо-бо! Пстой, пстой... И как же я сам не догадался, ты же мельника сын... Молодец ты, прекрасно знаю твоего отца. Хорошо мелет его мельница, лучше всех в долине... хорошо. Ну, иди, иди, пусть долгой будет жизнь твоя...

— Так, значит, Ахмета покойного ты наследник?! — вспомнит старик при встрече с другим.— Пусть земля ему пухом будет. Отважный человек был, сильный... Все знают, как он в лесу с медведем встретился, без ружья, только нож имел... Одолел!!! Видел я тушу этого зверя, глазам не верилось, и смотреть было страшно... Не каждому пришлось видеть на своем веку такую громадину... Пусть аллах твой век длиннее отцовского сделает, а в остальном да повторишь жизнь отца своего...

Если же все-таки не найдут, какое доброе слово сказать об отце, станут вспоминать дедов, прадедов, которые хорошими людьми были:

— Да-а! Знал я ваших. Известный род у вас, очень известный, да не кончится он во веки веков... Много славных людей твою фамилию носили, джигит... Аллах велит, ты тоже в толпе безвестных не затеряешься...

О моем отце в таких случаях прежде всего говорили одно: великолепный наездник был, душу коня лучше всех понимать умел...

— Отца твоего еще вот таким знал, — не один раз говорили мне наши старики, показывая ладонью на какой-нибудь метр от земли.— Мальчишкой помню, потом безусым помню. К хребту лошадиному прилипал, точно кожа к костям, — не оторвешь. Все его знали. Сердце пело, когда он свои штучки на коне проделывал: в бешеной скачке то ногами на спину коню встанет и стоит, то под брюхо ему нырнет, опять шайтаном вынырнет и снова на нем...

Такой славе отца могли завидовать, по-моему, даже самые тщеславные, честолюбивые из наших аульчан... Потому что хороший наездник плохим человеком быть не может. Слабым, ничтожным людям власть над конем не дана. У человека к коню особая древняя любовь. Можно победить льва — воспитать в нем смирение и покорность, можно укротить хищный нрав волка — вырастить его тихим, послушным, приучить к себе, внушить мысль о величии нашем и праве нашего господства над живым и мертвым миром, можно приручить гордую, своевольную птицу — орла... Но только приручив коня, почувствовал, наверное, человек себя крылатым, только оседлав коня, дикого и быстрого, испы-

тал человек торжество, радостный праздник духа своего. Только после этого, может быть, поверил в природное свое всемогущество человек.

Конь — зеркало слабостей и сил человека. Отношение коня — самая верная цена хозяину. Конь никогда не полюбит, не будет верен трусу, завистнику, скупцу...

Отец с детства был неразлучен с конем. Мальчишкой пас табуны, приучал к седлу необъезженных скакунов, до войны много лет обучал призывников джигитовке, а войну провоевал кавалеристом... С удивлением однажды я заметил, что в нашем семейном альбоме нет фотографии отца без коня... То босой мальчик, то стройный высокий юноша, то мужественный воин в тщательно выглаженной гимнастерке, перехваченной блестящей роскошной португеей, с пашкой — всюду отец был с конем: или сидел в седле, или стоял рядом, гладил скакуна по шее, по крупу, расчесывая гриву, подковывал, кормил зерном с ладоней... Чем больше я вырослел, тем больше уважал отца. Но ни в чем, понял я, он не казался так велик и недосягаем, как в любви к лошадям. Я думал много лет, что эта любовь его навсегда.

Сегодня я сижу в глухом сарае и думаю: отец предал ее, эту любовь. Изменил тому, что было много лет в нем неизменно. Тому, что должно было остаться неизменным до конца...

Я сижу в сарае, смотрю на закат и вижу отца.

Отец стоит, твердо расставив ноги, посреди двора...

Вижу окаменевшее лицо его. Вижу в руке его нож... Вижу в ногах его распростертую на соломенной подстилке лошадь.

Красивую молодую лошадь, которой не суждено было состариться, которой суждено было стать последней лошадью отца, его любовью...

Отец назвал ее Элия. Элия по-карачаевски значит молния, быстрая, пронзительная, неуловимая. Но это не начало истории, которую я взялся рассказать. Я не знаю, где самое главное начало этой истории. Может быть, начало — переселение наше с одного берега реки на другой. Или начало — тот зимний солнечный день, когда появилась на свет Элия? Или приезд к нам Чубура, брата жены моего отца? А может, начало — женитьба отца на женщине, которую я до сих пор звал матерью? Знаю точно, конец истории настал сегодня, а начала не могу уловить. Если рассказывать все по порядку, получится так.

Председатель нашего аульского Совета — строгий, молодой мужчина Хусей, сын Хасана, — на собрании коммуни-

стов аула поставил вопрос о переселении желающих на левый берег реки, где земля была плодородней, трава сочнее, лес богаче. Во время бомбежки в войну пострадал весь аул, но особенно досталось левой половине. Дома были разрушены; почти все, что уцелело тогда, разрушило время — дожди, снега, ветер. Сейчас там был пустырь; старые, аккуратные когда-то дворики покрылись бурьяном, сады заросли. Богатую землю могла спасти, оживить человеческая рука. Колхоз выделял ссуды на постройку жилищ, обеспечивал техникой — трактором для вспашки земли. Кроме того, в частном хозяйстве разрешалось держать на период строительства тягловый скот: лошадей, мулов, волов. Отец в тот день проголосовал за предложение председателя одним из первых, а через неделю ввел в наш двор купленную где-то в калмыцких степях немолодую, но крупную и красивую, удивительной белой масти кобылу. Он на ней не возил ни кирпич, ни бревна — занимал для этой цели обычно волов или ослов у соседей. Кобыла жила на воле, паслась сама по себе и, к неудовольствию моей мачехи, потихоньку убавляла наши старые запасы золотого кукурузного зерна. Худая и неуклюжая на вид кобыла к осени стала неузнаваемо гладкой и резвой, полностью проявив в осанке и движениях свою породу, о которой любил говорить отец. А осенью отец нанял грузовой автомобиль и повез ее в район, далеко от нас, где находился давно известный всей стране конный завод с прославленными племенными жеребцами.

Сторож конного завода сам, наверное, знал, что достоинства лошадиного потомства, как и всякого другого, зависят не только от матери, но и от отца: самая прекрасная кровь по материнской линии может разбавиться, ослабеть, если жидка отцовская кровь. Но согласился с этим лишь после того, как отец увеличил доход местного винно-водочного ларька на сумму своей месячной пенсии, по частям ее оставляя там каждый день, чтобы облегчить переговоры со сторожем...

Ни времени, ни пенсии отцу не было, наверное, жаль, потому что в конце концов в одну туманную ночь сторож рискнул нарушить закон: вывел тайком из конюшни нужного жеребца. Все должно было, по предположению отца, получиться великолепно, но через несколько месяцев стало ясно: кобыла не понесла... Отец снова нанял грузовик, снова отдал в ларек свою пенсию, но снова через три месяца опечалился. В первый раз в своей жизни он, может, тогда рассердился на лошадь. «Верблюдица бесплодная!» — бросил он обидные слова прямо в глаза нашей кобыле. Та как

оудто осознала свою вину. Через несколько месяцев после третьего визита на конный завод она, к великой радости отца, стала заметно полнеть. Окруженная по велению отца вниманием всей нашей семьи, принимая наши заботы как должное, грузнела она с каждым днем все больше, и отец был вполне счастлив. Зима только начиналась, а где-то в середине января, по подсчетам отца, должен был появиться жеребенок — сильный, длинноногий, с прекрасной кровью в жилах. Но к началу января истекал срок пользования тягловым скотом. С волами и мулами аульчане простились легко и быстро. С лошадьми расставались нехотя, под давлением председателя. Давала знать о себе древняя привязанность горца к коню. Многие пытались хитрить, увилывать, некоторые открыто отказывались. Тогда председатель специальным решением установил нормы сена для дойного и мясного скота, числящегося в каждом личном хозяйстве по последней переписи, и никто, зная строгость председателя, уже не мог надеяться получить в колхозе лишнюю охапку сена.

К новому году в ауле не осталось ни одного вола или мула, ни одной лошади, кроме нашей жеребой кобылы.

Аульчане стали избавляться и от ослов. На пользование ослами ни в какие времена запрета не было, но они были прожорливы, и на решение их судьбы повлияло прежде всего это. Каждый хозяин спешил найти способ выдворить своего осла: ни продать, ни подарить другу, ни сдать в мясокомбинат возможности не было. Шерсть на них не росла — не сострижешь, мясо несъедобно — в котел не сунешь, а из кожи ничего не выделаешь — не поддается обработке. Способ был один — пристреливать над пропастью. Но жалко, поэтому однажды ночью, собрав всех своих ослов в стадо, погнали тихонько вниз по реке, оставили их на центральной площади соседнего аула. В соседнем ауле тоже не простаки жили. В новогоднюю ночь — видимо, в качестве своеобразного праздничного подарка — стадо возвратилось опять к нам, увеличившись ровно вдвое.

Решили было не оставлять начатого дела, не уступать соседям — отправить стадо обратно и посмотреть, кто раньше устанет. Но председатель — человек серьезный — не одобрил намечаемое состязание в упрямстве.

Он вызвал из района несколько машин, и ослов увезли в город.

Председатель отца уважал. И когда напоминал об истечении дозволенного срока, делал это мягко, стараясь найти убедительные и теплые слова. Чем ближе был январь, тем

убедительней были его слова. Отец сначала молчал, потом признался, что надеется получить в районе разрешение содержать на свои средства лошадь, поскольку он ею и раньше как тягловой силой не пользовался и впредь не будет: она, во-первых, грузна брюхом, во-вторых, благородных кровей и может, по его мнению, произвести на свет редкое и ценное потомство. Ну, а если разрешения не получит, лошадь свою, уважая закон, из аула уведет, обещал отец.

Старый год прошел, несколько раз отец ездил за разрешением, которого все-таки не сумел получить, и ему пришлось выполнить обещание. В первый день нового года он накрыл бока отяжелевшей лошади мохнатой попоной, напоил теплым мучным отваром, и мы втроем двинули в горы. План отца был прост: перезимовать на дальних фермах, в каждой по неделе, а весной можно отправить нашу кобылу с будущим жеребенком еще дальше от аула, на летние пастбища... Пробыть по неделе на каждой ферме оказалось невозможным, все заведующие фермами в один голос жаловались на нехватку кормов, ни сена, ни силоса не хватало; кроме того, зоотехник наезжал часто, человек он был крутого нрава. Отец понимал положение, больше суток одну ферму не обременял, переходил на другую. И только в Терновой балке отец целую неделю прожил оседло. Заведующий здешней фермой, молчаливый, но приветливый, наш дальний родственник Назир, сын Дебоша, ни на нехватку кормов, ни на строгость зоотехника не пожаловался. Отец вывез сюда из аула запасенный с лета стожок сена и мешок пшеничной муки и, видимо, собирался осесть здесь до конца зимы. Но судьба распорядилась по-своему, неожиданно и жестоко.

В глухой лощине, заросшей кустарником, волк-одиночка выследил нашу кобылу. Ее и волка мы с отцом увидели разом. Между заснеженных терновых кустов, разметав в беге гриву и хвост, как белая метель, плавно неслась она в сторону фермы, а крупный серый зверь короткими упругими прыжками настигал ее...

Мы с отцом бежали почти над ними — по самому краю склона лощины, отвесному, высокому, каменистому. Зверь не обращал ни малейшего внимания на наши устрашающие выкрики и на острые вилы, оказавшиеся у нас в руках по счастливому случаю: мы складывали в стог привезенное вчера сено.

Волк, прекрасно видя высоту кручи, с которой нам не просто быстро спуститься вниз, полностью отдался своему жесткому желанию — настичь и растерзать жертву...

Все свершилось на наших глазах. Поравнявшись с лошастью, волк несколько мгновений бежал с ней рядом, бок о бок, словно ничего недоброго не замышлял, потом резко вдруг подскочил, промелькнул в воздухе и, сжав тело в комок, сведя четыре лапы и пасть в одной точке, впился в лошадиную шею... Сделав несколько скачков, лошадь рухнула, и на какую-то секунду родилась надежда, что тело хищника, повисшего на ней вверх лапами, неминуемо будет раздавлено сейчас ее грузным телом. Этого не случилось. Зверь, развернувшись в воздухе, ловко опустился на снег вниз брюхом, рядом с опрокинутой навзничь лошастью, и снова впился в белую шею, на этот раз ближе к горлу. Так и держал он, недвижимый, свою трепещущую жертву, пока не добежали мы.

Молча надвигались мы с отцом на него, выставив вперед наши вилы, а он с ненавистью хрипел и, не сводя с нас глаз, пятился, отступал, при этом готовый к прыжку в любую секунду. В глазах волчьих не было страха — сухие, злобные, незабываемые с того дня глаза... Мы шли с отцом рядом, шли по-прежнему молча, и волк не выдержал... Не спуская с нас проницательного взгляда, он медленно повернулся и, ударив по снегу сильным хвостом, помчался вверх по лощине...

Когда мы вернулись, снег, орошенный кровью, еще таял, а сама лошадь уже остыла. Зияли на шее две раны, жилы были словно бритвой перерезаны.

— Эх, не успели проститься! — сказал отец, положив ладонь на холодную лошадиную челюсть.

И смерть и столько крови я видел впервые. Кровь словно выжгла снег — на нем горел алый круг. Мне подумалось, ручьем уйдя в снег, течет кровь, течет невидимая, красная, теплая, течет по лощине вниз...

Страшнее волчьих глаз показались мне глаза неживой лошади: круглые, стеклянные, они не отражали солнца над нами, поэтому пугали... Я с того дня решил: нет на свете ничего мрачнее глаз, которые уже не могут отражать солнце...

Но я перестал думать и о крови, и о смерти, и о глазах, ослепленных смертью, как только перевел взгляд на живот зарезанной лошади... Живот дышал. Часть мертвого тела жила... Ладонь отца на этом шевелящемся животе, наверное, ощущала его тепло. И оттого, что живот дышал, кобыла показалась еще мертвее.

— Жив, он жив, — растерянно повторял отец одни и те

же слова, положив на живот, вздрагивающий еще сильнее, и вторую ладонь.— Он жив, это он стучится к нам...

Я понял, отец говорил о жеребенке.

На ферме с трудом представляли себе, что произошло... Я рассказывал возбужденно все с самого начала. Рассказывал о волке, как он смог повалить на снег сильную, крупную лошадь, говорил о дышащем животе и о том, как вспорол отец ножом этот живот, как нес на плечах спасенного жеребенка...

Рассказывал я подробно, торопливо, боясь, что не поверят. Но у всех глаза были такие, будто все сами видели чудо, о котором я рассказывал... Все смотрели на черноглавое четвероногое существо, которое стояло пока еще неуверенно, стояло и покачивалось. Темными влажными ноздрями оно ловило воздух и наполняло свои легкие.

Новорожденная была высока, тонка и бела, как погибшая мать.

— Вырастет — еще белее станет! — сообщил долго молчавший отец усталым голосом.— Сильная была ее мать. Была бы пуста брюхом — легко бы ушла от волка... И малышка будет сильной,— с уверенностью знатока добавил отец, подняв глаза на жеребенка.— Настоящий скакун на свет появился. Дай бог нам всем еще жить — увидим скоро ее крепкой, статной... И молниеносной, как элия. Расти скорей, Элия...

Так в тот зимний солнечный кровавый день появились на свет сама Элия и ее красивое имя.

Февраль выдался необычно суровым. Элия весь месяц жила с нами в доме. Как ни старался отец, она не могла окрепнуть, была малосильна, болезненна.

— Силу дают только материнские соски, соки входят в кровь с родным молоком,— объяснял отец.— Пустить бы сироту на месяц под сочную кобылу...

Кобылы в наших краях найти отец не надеялся. Элия росла на коровьем молоке. Сначала отец ее поил через резиновую соску, потом, к удивлению соседей, приучил к вымени нашей коровы. Не раз смеялись прохожие, видя, как, припав на колени и крутя от удовольствия хвостом, сосал жеребенок корову, а та как ни в чем не бывало терпеливо и смиренно стояла, даже ухом не шевельнет, и жевала свою вечную жвачку...

Удивился, застав такую картину однажды, и председа-

тель, проходивший мимо нашего двора каждый день самое малое два раза — с работы и на работу.

— Чудаки! — сказал он, остановившись и глядя в наш двор поверх низкой каменной ограды. Такое было у него выражение лица и так он произнес свое слово, что отнести его можно было не только к отцу, кого он, без сомнения, имел в виду прежде всего, но ко всем нам во дворе: отцу, мне, жеребенку, корове...

Отец ничего не ответил и пригласил, как принято, председателя в дом.

Председатель как будто не слышал приглашения. Возвышаясь наполовину над каменной оградой, он все стоял и слегка улыбался... Потом опять сказал слово, которое трудно было к чему-нибудь привязать конкретно:

— Непрактично!

Отец, не зная, как ответить, решил что-нибудь все же сказать, считая, видимо, молчание сейчас неудобным.

— Обжора большая, — сказал он, направив взгляд на вертящийся хвост жеребенка.

— Тем более, — сказал председатель, и отец, опять не сумев уловить его мысли, пожаловался почему-то на суровость зимы в этом году.

— Тем более я говорю, — повторил еще раз председатель, после чего не спеша и, судя по смущенному выражению лица, что ему приходится сейчас говорить такое, он как можно более почтительным тоном стал высказывать мысль, которая медленно, но неуклонно прояснялась. До весны далеко, трава не скоро вырастет, говорил председатель, много молока еще потребуется этому жеребенку, которого отец пяпчит, как своего ребенка, как сына второго; сколько еще хлопот он доставит, пока конем станет, а когда конем станет — тоже как с ним быть, неизвестно.

Председатель остановился и ждал, что скажет отец. Отец молчал. Тогда председатель, как бы против своей воли, продолжал:

— Козы, овцы — дело простое. Одну-две головы сверх положенной нормы во дворе держать — это понятно почему: лишний кусок мяса, лишний клочок шерсти. Нарушение закона, так сказать, с явной пользой... Конь когда-то, понятно, необходимостью был, крыльями мужчины даже считался. никто раньше не мог сказать: подрежь себе крылья... Изменилось время, в город хочешь срочно добраться — через каждый час автобус; дрова из лесу или сенцо с гор домой подбросить — колхоз машину выделит, скоростной трактор с прицепом. И ни молока мотор не просит, ни сена, ни

овса; ни хвост, ни гриву каждый день чесать не надобно, на водопои водить тоже.

Председатель на этот раз остановился с твердым намерением молчать, пока не услышит, что все-таки думает сказать отец. Отец понял это и неторопливо заметил, что мотор тоже ухода требует, а вместо молока жрет бензин.

— Литр самого дорогого бензина стоит ровно в два раза дешевле литра молока. Это во-первых. Во-вторых, в одном моторе, даже слабом, десятки лошадиных сил, — сказал председатель и, чувствуя, что возражений на этот счет не последует, заключил: — Потому и говорю, непрактично.

Уходя, председатель закончил свои рассуждения вежливо, но твердо: потому что непрактично, потому и не разрешено пользоваться живой лошадиной силой в личном хозяйстве, жеребенок пусть сосет, пусть живет, пока жеребенок; когда же он станет конем — а через сколько времени жеребенок считается конем, отцу самому известно лучше, чем кому бы то ни было, — тогда отец найдет вариант, как распорядиться личной собственностью; но распорядиться так, чтобы его, уважаемого человека, старого образцового колхозника, не могли упрекнуть в нарушении порядка из-за какого-то, пусть даже золотого коня.

Отец знал, что жеребенок в коня превратится не раньше чем через два года, а за два года может измениться многое, за два года можно что-нибудь придумать, так рассуждал, видимо, отец, и волнения особого я на лице его не прочел, когда он слушал председателя. И когда председатель уходил, отец провожал его спокойными, понимающими глазами.

— Исполнительный человек, деловой! — с уважением сказал отец, глядя в широкую, выпрямленную спину удаляющегося председателя. — Всегда справедлив, всегда прав...

Я смотрел, как расчесывает шершавым языком бок жеребенка наша корова. Думал, может, она его принимает за теленка, который на прошлой неделе пал от непонятной болезни. Я смотрел, как насытившийся жеребенок терся мордой о шею своей кормилицы.

Весна пришла внезапно, мягкая, теплая... К концу марта Элия ожила и с каждым днем удивительно резвела... Ночевать она уже оставалась не в доме — чему была особенно рада моя мачеха, которой приходилось следить за чистотой, — а в сарае, с нашей коровой. Крепко привязалась ко-

рова к своей цитомиде. Именно как привязанная бродила за Элией по всему двору, а когда та выскакивала за ворота и уносилась прочь, корова, зная, что за ней не поспеть, стояла у ворот и, тревожно мыча, ждала ее возвращения.

Когда аульское стадо выгнали на пастбище, пастух у отца потребовал особого магарыча за нашу корову, которая, отбиваясь от стада, норвила утром повернуть назад, вечером неслась в аул, далеко опередив остальных. Несколько раз она влетала в наш двор среди бела дня и принималась облизывать жеребенка, как будто рассталась с ним не утром, а сто дней назад. Пастух всякими способами старался сломить этот ее каприз; по его словам, он, в сущности, пас только нашу корову, а не остальное стадо; в конце концов он заявил отцу, что отказывается от нашей коровы.

Тогда однажды утром отец выгнал в стадо и Элию вместе с коровой. Вечером они вместе вернулись сытые, спокойные. Пастух тоже впервые за много дней вернулся спокойный и сказал, что целый день корова и жеребенок щипали траву рядышком...

Так в стаде провела Элия первое свое лето до самых снегов.

В середине второго лета отец один из дней объявил торжественным днем. В этот день Элии исполнилось ровно полтора года. Отец решил, что настала пора возмужания Элии, пришел час испытания ее силы и быстроты.

В балке, начинающейся на самом краю аула, лежало зеленое узкое поле, зажатое с двух сторон такими же зелеными склонами. Поле было ровное. Памятно оно было всем в ауле как место, где в прежние времена собирался народ в праздники смотреть состязания мужчин в силе и удали, в борьбе, метании камня, где устраивались и лошадиные скачки. Отцу это место было, по-моему, очень дорого, потому что с ним было кренко связано его детство, юность, вся молодость его. На этом поле он много лет обучал аульных парней лихой джигитовке верхом... Это было поле его молодости, его мужества, поле его исполнившихся надежд и неожиданных разочарований... Сейчас отец, седобородый и седоголовый, через много лет стоял на своем поле, и глаза его были необычно светлы... Рядом с ним, обузданная, встревоженная, грызя неизвестные ей до этого часа удила, стояла, пританцовывая от беспокойства, юная горячая лошадь. Никто в ней не признал бы прошлогоднего неуклюжего, вялого, невпопад тычущегося мордой в коровье вымя жеребенка. Стояла широкогрудая, высокая, тонконогая лошадь. Вся белая, белее своей матери, лишь по хребту были легко рас-

сыпаны серые крапинки, и вокруг черных косых глаз и вокруг губ темной каймой лежали такие же серые линии.

Только снег, только дождь, только легкая пыль садились до сих пор на спину Элии. До сих пор она оставалась дикой, вольной. Самая добрая лошадь остается дикой, если не вскочит на нее человек и не удержится на ней до тех пор, пока она сама, добровольно, не признает в человеке сильного и властного своего хозяина.

Расселись в ряд на зеленом склоне старики, пришедшие вспомнить забытые картины укрощения коня, пониже стариков сидели мы, дети аула, самые маленькие и уже не маленькие, мои друзья, мои сверстники. И когда отец, как бы случайно, украдкой несколько раз скользнул оценивающим взглядом по нашим рядам, я решил, что он видит в нас давно ушедшее детство и думает, конечно, обо мне тоже, о своем сыне, который сейчас первым по праву вскочит, как он сам когда-то, на крутой, неоседленный, чуткий к малейшему прикосновению и готовый к бунту хребет коня.

И, стоя возле Элии на плоском камне, с которого можно было легко вспрыгнуть на нее, я подумал, что и отцу моему в мальчишестве не раз послужил этот камень, и от этой мысли почему-то я впервые особенно остро почувствовал свое родство с отцом, как никогда остро почувствовал желание быть похожим на него во всем, а сейчас это значило — надо победить, обязательно победить, как побеждал отец... И когда я не сумел победить, когда я полетел вниз, ни боли, ни стыда я не ощутил, я только тогда подумал: побеждать — это не легко, быть похожим на отца не просто...

Элия сбросила меня... В первую секунду, когда она встала на дыбы, тело мое сползло на самый ее круп; когда же она, сделав несколько бешеных скачков вперед, вдруг резко остановилась, я скользнул вдоль хребта к гриве и, задевая животом кончики острых ушей лошади, полетел на землю. Уже на земле услышал я пугливый всхрап над собой и дружный, безобидный смех на зеленом склоне.

Один за другим после меня взбирались на плоский камень мои друзья и вскакивали на Элию, а она сбрасывала с себя их, только что смеявшихся надо мной, — одних чуть позже, других чуть раньше, многих еще раньше, чем меня...

Каждый раз находила она какой-нибудь новый способ избавиться от них. На полном скаку могла вздыбиться, потом сразу же встать на передние ноги и высоко забросить зад, она могла стремительно мчаться по прямой и неожиданно прыгнуть влево или вправо, она могла, не останавли-

вая бега, резко развернуться и побегать в обратную сторону.

Вскоре не осталось среди мальчишек ни одного, кто не слетел бы на землю. Желания снова испытать силы ни в ком не появлялось. Но отец держал разгоряченную Элию и смотрел в нашу сторону. Смотрел, молча требовал мужества. Мне казалось, я не смогу потом смотреть отцу в глаза, если не сумею побороть сейчас страх. Я видел пристыженных этим взглядом своих друзей. В них сейчас, конечно, жил такой же страх. Жил во всех, кто отделался пустяками при падении и кто получил ушибы. Я знаю, многие скрывали сейчас свои ушибы и боль, как я скрывал боль в правом плече. Больше всех не повезло двоим: у одного был разбит и окровавлен нос, у другого рассечен лоб.

Взгляд отца переходил с одного лица на другое, и когда остановился на мне, я снова почувствовал: если сейчас отведу глаза, никогда потом не смогу смотреть на него прямо, открыто, честно, как до сих пор... Я не спеша встал, подошел к Элии, взобрался на камень и через мгновение опять ощутил под собой бунтующую спину коня.

Я слышал, как бьет в уши встречный ветер, как шумно, прерывисто дышит Элия; я сжимал коленями ее упругие бока; я как можно короче натягивал повод, отчего лошади приходилось откидывать голову назад и скакать, ничего не видя под ногами; я, не выпуская повод, ухитрялся держаться за жесткую гриву, я старался прилипнуть к этой непокорной, вспотевшей спине и каждую секунду ждал, что она меня вот-вот сбросит. Так и случилось... На этот раз я не выпустил повод, на этот раз я удержался на спине дольше, на этот раз я не услышал смеха на зеленом склоне. На зеленом склоне и старики, и отец, и мальчишки знали и видели, какое это трудное дело — удержаться на коне, и они молчали, и в этом молчании могло быть уважение.

Я снова подвел Элию к камню... Отец хотел, чтобы вместо меня сейчас испытал силы уже кто-нибудь другой, но один из стариков крикнул:

— Не насытится спина падающего, пока не перестанет падать! Пусть еще попробует. Третий раз — верный раз. Удачи тебе, сын отца!

Я знал: не удержат мне слез обиды, если сейчас меня, побежденного, лишат права еще побороться. Отец тоже словно знал это, он отошел в сторону, вернув мне повод.

Перед тем как снова вскочить на Элию, я с радостью почувствовал: я уже не боюсь, я удержусь теперь непременно. Может быть, от этой уверенности прибавилось у ме-

ня сил, может, усталость отняла силы лошади — ей не удалось сбросить меня. Она стремительно и долго неслась вниз по балке, до самого аула, словно хотела избавиться от меня, сначала утомив этой бешеной скачкой. Чем сильнее я натягивал повод, тем сильнее запрокидывала она голову и все быстрее мчалась вперед. Она ничего впереди не видела, и там, где кончалось ровное поле, скачка стала опасной: Элия могла и споткнуться о камни и удариться грудью о кирпичные заборы вокруг первых домов аула. Я перестал натягивать повод, совсем отпустив левый его конец, изо всей силы потянул к себе правый. Элия упрямо неслась к аулу, хотя шея ее резко свернулась набок, но постепенно ей пришлось изменить направление, и она уже мчалась на подъем к правому склону балки. Чем ближе оказывался склон, тем больше замедляла она свой бег. Уже на склоне мне удалось направить ее вверх по балке, она скакала все медленнее и, когда я осадил ее перед людьми, ждавшими нас, поднялась высоко на дыбы, закружилась на месте и внезапно заржала... Заржала обиженно, отчаянно, будто жаловалась небу на меня, на отца, на всех нас, людей.

Отец смахнул ребром ладони белую пену с ее боков, на другой ладони протянул такой же белый кусок сахара и ласково сказал:

— Не плачь, глупая. Зла тебе не хотим...

Утром следующего дня отец перековал Элию, вытащил из старого сундука в сарае новенькую сбрую, всю в серебре.

И я с полудня до вечера ездил на впервые оседланной Элии с одного края аула в другой — созывал гостей на свадьбу: женился наш родственник... Я останавливал лошадь у ворот, стучал в калитку роскошной ручкой своей плетки, а если ни ворот, ни калитки не было, просто кричал:

— Эй-эй! Кто тут дома?! Женится брат заведующего фермой Назира, сына Дебоша. Меня послали пригласить вас.

Все обращали внимание на то, что я верхом. Говорили: давно уже не приезжали приглашать на свадьбу верхом, да еще на белом коне. Хорошая это примета, должно быть, счастливой окажется сноха старого Дебоша. Пусть счастлива будет и в дом жениха счастье принесет.

За мной, куда бы я ни поворачивал, длинным хвостом тянулась гурьба аульных малышей. Покатать их на седле я обещал, но не сейчас, пока еще лошадь не вполне покорна,

и единственное, что мог для них сделать, ехал шагом или медленной рысью, чтобы они попевали за мной...

На стук в ворота дома старого Хасана, отца председателя, вышел сам председатель, выслушал слова приглашения, изучая при этом любопытным взглядом и лошадь и серебристую сбрую на ней, даже плетку в моих руках, и сказал слово, которое я уже и раньше от него однажды слышал: — Чудаки!

...Элия привыкла к седлу. Она спокойно возила на себе всех в ауле: и малышей, давно мечтавших проехаться верхом, и старика, что собрался в гости к родственникам, далеко от нашего аула, а поехать автобусом не мог — организм не выдерживал, тошнило от запаха бензина... Особенно необходима и незаменима была Элия, когда у кого-нибудь не возвращался вечером домой с пастбища скот и нужно было отправиться на поиски в горы как можно скорее, чтобы овца или бычок не стали добычей волков.

По разным причинам нуждались в лошади аульчане, отец никому не отказывал, потому что пикто ни разу не огорчил его плохим отношением к Элии — зря не гоняли, не морили голодом, давали воду, уважали.

Председатель как будто перестал обращать на нее внимание, хотя в тот вечер, когда сидел за свадебным столом среди гостей, он свой тост, как я узнал позже, поднял за образцовый порядок в ауле и за осуждение всех нарушителей этого порядка, будь он мужчина, будь женщина, будь двуногий, одноногий или четвероногий... Всем было ясно, кто такой одноногий нарушитель — Харун, сторож совхозных складов, вернувшийся с войны на левой ноге. Он продал этой весной кому-то полтора центнера совхозной семенной картошки. А четвероногим нарушителем была, конечно, Элия.

Спокойно прошло все лето. Осенью в один из вечеров председатель пришел к пам, посидел молча, молча выпил чаю и, уходя, сказал, что из-за одной лишь Элии наш аул не вышел на первое место в районе. А возможность была, все шло к этому, по всем показателям были впереди, только аул Сары-Тюз имел такие же показатели, но все равно Сары-Тюз медленно сползал на второе место. И сполз бы непременно, если бы председатель Сары-Тюзовского аулсовета не догадался заметить, что в нашем ауле нарушаются постановления районного Совета, например, держат лошадей, хотя сказано ясно: запрещается. Что можно было возразить? Спор был решен. Первое место — Сары-Тюз, пам — второе, и то с трудом.

Председатель сказал, что Элия должна исчезнуть из аула в самый короткий срок. Он обещал это в районе.

Отец сказал, что это, конечно, шутка. А если нет, то плохо, потому что он возлагает большие надежды на Элию, она еще прославит наш аул, наш район, нашу область, может, даже нашу страну, и если председатель настоящий руководитель, в чем, конечно, отец не сомневается, то председатель найдет способ защитить Элию, сохранить ее для этой будущей славы.

Такой способ есть, сказал председатель. Как отцу должно быть хорошо известно, о славе быстрых копыт в нашей стране заботятся специальные люди — в специальных хозяйствах выращивают настоящих скакунов.

Существует такое хозяйство и в Карачаево-Черкесии, совсем недалеко, в соседнем Прикубанском районе. Пусть Элия растет там. Лошадь с удовольствием возьмут, если обнаружат в ней толк. Председатель сам поможет, чтобы специалисты оценили ее достойно, — отец в убытке не будет.

Предложение председателя поселить Элию в Прикубанском конезаводе отец пропустил мимо ушей, словно вовсе не слышал. Тогда председатель добавил, что ему не хотелось так с отцом разговаривать, пусть простит, хотя, впрочем, конечно, с другим человеком он мог бы поговорить поостроже и в другом месте, так как нарушение налицо.

Немного помолчав, отец спросил: что председатель называет другим местом?

Председатель попросил отца не сердиться, ведь он пришел с таким разговором к нему домой, а не на собрании выступил, при всех.

При всех такие вещи говорить, видимо, неудобно, предположил отец, по-прежнему обиженный, — серьезный человек из-за одной лошадиной головы отобрать заслуженное первое место у всего аула не мог. Либо это шутка, либо тот, кто решил так вопрос, несерьезный человек.

Председатель еще раз попросил отца не сердиться и перед тем как уйти, вежливо простясь, еще раз сказал, что лошадь из аула должна исчезнуть, работы много, столько говорить о ясном деле неразумно...

Я и сейчас не знаю, всерьез ли говорилось о решении в районе отнять у нас первое место из-за Элии или было это нехитрой выдумкой председателя, но на судьбу Элии этот вечер, конечно, повлиял.

Сначала отец нашел было выход из положения. Он попросил пастуха взять его в напарники, в таком случае у отца появлялось право владения лошадьёю. Пастух обрадо-

вался неожиданному предложению и сделал отцу встречное предложение: он отказывался от стада до самого конца сезона, чтобы лечь на операцию.

Мачеха моя сразу же стала отговаривать отца от такой затеи. Она не говорила, что пасти коров — дело недостойное для отца, она говорила, что это просто трудное дело, особенно в его возрасте и при его слабом здоровье. И хотя отец прислушивался к ее словам с должным вниманием, все же согласился заменить пастуха и, конечно, заменил бы, если бы тут не приехал наш зять, муж самой старшей моей сестры. Позже я узнал, что вызвала его по телефону моя мачеха. Зять был еще вежливее, чем председатель. Первое, что бросалось в глаза,— его вежливость и особая аккуратность и в одежде и в речах. Такая вежливость и аккуратность, по-моему, немного раздражали отца, хотя виду он не подавал. Зять работал сначала директором восьмилетней школы, потом его перевели в соседний с нами район директором швейной фабрики...

Зять сразу начал с того, что отец должен беречь себя, он об этом очень просит сам, от своего имени, в первый раз просит. Об этом также просит и жена его, дочь отца, и дети его, внуки отца, которые уже, кстати, подросли и которым, конечно, небезразлично, чем занят их дедушка, отдыхает ли, бережет ли силы или с утра до вечера, не слезая с седла, следит за непослушным стадом. В самом конце очень осторожно зять отцу посоветовал и лошадь свою продать: к чему на старости лет лишние заботы о ней, а если отцу для чего-нибудь вдруг понадобится транспорт, пусть позвонит на фабрику — в его распоряжение в любое время будет направлен новенький ГАЗ-51.

Совет продать лошадь отец легко пропустил мимо ушей, но пасти коров перестал. Может, и зять не хотел обидеть полным невниманием к его просьбе, а может, почувствовал, что в самом деле нет у него теперь сил держаться с утра до вечера в седле. И снова сам пастух стал выгонять стадо, решив как-нибудь потерпеть с грыжей до зимы.

После этого мачеха стала утешать отца, подумав, что он сдался, смирился с мыслью расстаться с Элией. Об этом, наверное, подумал и председатель, он больше о лошади не заговаривал, а, проходя мимо дома, только вежливо и как-то сочувственно произносил слова обычных приветствий.

Так кончилась осень.

Так пришла зима.

Но отец, оказалось, вовсе не думал расставаться с Элией. Председатель особенно хорошо это **понял**, когда увидел,

с чем возвратился однажды, отец из Ростова, куда возил продавать излишки нашего картофеля. Председатель шел с работы, и так случилось, именно в этот час слез у нашего дома с попутной машины отец. В правой руке держал перевязанные бечевкой пустые мешки из-под картофеля, а в левой, как связку баранок, слегка раскачивая, тоже на бечевке, нес восемь новеньких стальных подков.

Не помню, сколько дней прошло после этой встречи, может, неделя, полторы, — отец получил приглашение на общее колхозное собрание. Я не знаю, о чем там говорилось, но видел: отец и пошел на это собрание и пришел с него расстроенный. Девушке, принесшей приглашение, отец удивленно говорил, что и без приглашения явился бы, он знал, когда начало собрания, он сорок лет являлся на собрания без приглашения, являлся и после того, как вышел на пенсию, хотя с него, быть может, как с пенсионера, никто не стал бы строго взыскивать за неявку...

Отец вернулся с собрания поздно, оно затянулось, видно; но о чем бы там ни говорилось — самолюбие отца кто-то задел. О чем бы ни говорилось — была речь и об Элии. Я перестал в этом сомневаться, когда на следующий день отец взял с собой теплой одежды, много хлеба, сушеной баранины и стал седлать Элию, сказав, что едет надолго в Терновую балку...

Отец сначала, должно быть, составил такой план: купить где-нибудь сена, завести его на ферму того же Назира, сына Дебоша, и зимовать там. План этот не удался. Отец поднялся выше по балке, далеко от фермы, построил себе шалаш, выбрав место в терновых зарослях погуще, соорудил навес для Элии, окружив его неприступным для волков колючим забором из терна, доставил на это место вдобавок к купленному сену несколько мешков комбикорма и стал здесь ждать весну. Позже я слышал, почему отец не остался на ферме. Назир, сын Дебоша, откровенно признался, что не хотел бы иметь в этом году неприятностей. Когда же отец заметил, что неприятности у него могли быть и в ту зиму, когда он приютил на ферме нашу кобылу, заведующий сказал, что он отца уважает и теперь не меньше, чем уважал той зимой, но тогда на собрании о лошадях ничего не говорилось...

В аул отец ни разу не спустился. Как-то поднялись к нему мы — я и мачеха.

Я сидел под навесом, Элия лежала рядом, а мачеха с отцом разговаривали в шалаше.

Разговор был долгий. Слов я не разбирал, только одно я понимал: мачеха просила отца вернуться в аул. Отец отказывался. К вечеру мы с мачехой ушли. Отец, заросший густой щетиной, осунувшийся, остался в балке. Он сильно кашлял.

Глаза мачехи были заплаканы. Шла усталая, опиралась на мое плечо, и в голосе ее были беспокойство, обида, тревога. Она говорила, что отец заболел, он уже болен, он и умереть может, а домой вернуться его никто не уговорит, только Чубур может его спасти, и мне придется завтра же поехать за Чубуром...

Мать свою я не помню. Она умерла от родов. В первый раз мне пришла мысль, что я невольный виновник смерти ее, когда отец в день появления на свет Элии случайно бросил слова о том, что не будь Элии, мать ее сумела бы уйти от волка... А о том, с какой добротой заменила мне мачеха умершую мать, я вспомнил, глядя, как наша королева, подставив Элии полное свое вымя, лизала языком ее бока... Мне не приходилось никогда думать, любит ли меня мачеха, поэтому, думаю, она меня любила. Сколько бы я ни копался в памяти, не вспомню ни одного ее холодного взгляда, ни одного обидного слова. Я не думал о справедливости ее требования ко мне, я их принимал так же просто, как ее внимание ко мне и заботу. Я привык к ее ровному голосу, спокойствию в делах и словах, привык к ее внимательному и серьезному взгляду, привык ко всему в ней, как и другие, наверное, привыкают к своим матерям.

С отцом у нее никаких разногласий я тоже не замечал.

Но, наверное, они появились с той поры, когда отец впервые купил лошадь. Открыто недовольство не выражалось, хотя отец, видимо, мог заметить его, и когда кормил бесполезную в хозяйстве прожорливую кобылу, и когда тратил свои пенсионные рубли на племенного жеребца для кобылы, и когда жеребенок всю зиму жил с нами под одной крышей. Тогда отец хорошо чувствовал, наверное, как неприятна была мачехе возня с жеребенком. Но она, конечно, не могла строго осуждать непонятную для нее привязанность отца к жеребенку, как и вообще его страсть к лошадям. Других слабостей, на ее взгляд, у отца не было, и самым крупным их разговором — и, очевидно, самым неприятным — был разговор в шалаше. Может быть, в душе мачехи до того дня жила уверенность, что она сумеет всегда, когда появится необходимость, найти с отцом общий

язык, легко убедить его в разумности того, что самой ей кажется разумным. Тем более что она пользовалась в ауле славой умной женщины. «Аллах дал ей мудрость языка», — говорили в ауле и нередко даже просили ее помощи в сватовстве, особенно если успех в нем по каким-нибудь причинам был сомнителен. Мачеха скромно отмахивалась, когда говорили о ее красноречии, но, видимо, всякую похвалу насчет этого своего дара втайне принимала как вполне заслуженную. В первый раз, может быть, ей в тот день в разговоре с отцом пришлось ощутить свою беспомощность — не из-за слабости своего влияния, а из-за силы отца. Эта твердость отца и заставила мачеху вспомнить о Чубуре — единственным, с чьим мнением не мог не считаться отец в каком бы то ни было вопросе. Отцу полагалось уважать Чубура, потому что Чубур был родным братом его жены. Вообще всех родственников жены, даже самых дальних, должен, как я уже знал, почитать всякий человек, если он считает себя настоящим человеком. Так говорил обычай, так велось исстари. Совсем не важно, хороши родственники или пехороши, их дала судьба, почтение к ним должно быть особое. Тем более если родственник — родной брат или родная сестра жены. Не раз я слышал, как говорили в ауле, что человек, у которого есть зять, не пропадет: зять — надежда, зять — опора, поддержка, на него всегда можно положиться, можно взвалить на плечи ему любой груз, он будет безропотно нести его. «Счастливей человек, хоть осла не имеешь, но зять у тебя есть» — такую шутовскую поговорку о зяте мог слышать в нашем ауле каждый.

Поэтому мачеха и рассчитывала на Чубура, решив отправить меня за ним как можно скорее. Чубура отец ценил не только как брата жены, а вообще как умного, толкового человека. Работал Чубур в областном центре, в Черкесске, заведовал заготовительной копторой. Очень подвижный, веселый человек, он говорил о самых серьезных вещах шуточно. В ауле его знали, считали серьезным, внимательным, достойным уважения. Приезд Чубура к нам становился событием. Отец резал овцу, к нам приходили гости, на почетном месте, рядом с тамадой, как правило, сидел Чубур.

Меня Чубур называл «голым ежиком», ничего не объяснял, и я ничего не понимал, потом решил — Чубур считает меня слишком тихим. «А ты ни разу никого не колотил, а?» — весело допытывался у меня Чубур. «Нет», — говорил я, на что Чубур заявлял: «Зря жизнь проводишь. Значит, тебя колотить будут». Этого тоже я не понимал, а Чубур смеялся и ничего больше не объяснял.

...Чубура дома не оказалось. Я передал просьбу мачехи сыну Чубура. Сын тоже был подвижен, остроглаз и насмешлив, как отец. Родился он лишь на два года раньше меня, но казался гораздо взрослее. Застал я его в то время, когда он переписывал в толстую тетрадь стихи из какого-то журнала. Моему приезду обрадовался, дал прочесть только что переписанные строчки и спросил, как я понял их смысл. Стихи были о горилле. Горилла, я знал, была крупной обезьяной.

Горилла играла в горелки,
Горилла лакала горилку.
И ела она с тарелки,
И нож признавала, и вилку,
И даже порой говорила,
Поскольку была говорливой.
Но в эти минуты горилла
Была еще больше гориллой.

Я понял открытый смысл строк о горилле. Но я чувствовал: есть между ними затаенный, скрытый от меня смысл. И когда сын Чубура увидел в этой горилле «темного человека», который думает, что перестал быть темным, научившись принимать пищу с тарелки, стихи мне сразу понравились. Потом я, к своему удивлению, обнаружил, что запомнил их наизусть...

Чубур приехал на той же неделе, вечером. Мачеха известила об этом отца наутро, через колхозного объездчика, собравшегося в Терновую балку по своим делам. На другой вечер отец спустился домой.

Чубур не вскочил навстречу отцу, как бывало, не стал шутить, тормошить его и задавать всякие вопросы. Он молчал. Лицо его, бывшее минуту назад обычным, оживленным Чубуровым лицом, при появлении отца неузнаваемо изменилось, приняло страдальческий вид. Встал он медленно, кряхтя, постанывая, словно сильную боль превозмогал крепкий, всегда бодрый Чубур.

Такая внезапная перемена в Чубуре была мне непонятна. Встревоженному отцу он сказал, что его уже давно мучит поясница, в ней поселился, он сказал, то ли ревматизм, то ли радикулит, эта адская болезнь ни есть, ни пить, ни спать, ни работать ему не дает, он испробовал все возможные средства, ничего не помогает.

Не понимал я, как может жаловаться Чубур. Не понимал я, почему мачеха просила скрыть от отца мою поездку в город за Чубуром. Не понимал я, почему она рассказывала Чубуру об отце вполголоса и умолкала при моем появ-

лении, не скрывая того, что ее слова не для моих ушей. Многие не понимал я до сегодняшнего дня.

Многое понял сегодня в полдень, когда вернулся из школы...

Когда я вернулся из школы, во дворе на белом снегу лежала Элия, а над нею стояли отец и несколько мужчин — наших соседей. Элия была связана. У одного из соседей, густобородого, но молодого еще, плечистого тракториста Сюлемена сверкал в руках нож. Длинное сильное лезвие было, видно, отточено только что — на снегу чернел точильный брусок.

Я не верил, что Элию будут сейчас резать, хотя соседи наши дружно повалили ее на снег, связали ноги и наточили нож. Но к моему лицу сразу прилила кровь, оно жарко запылало, и я почувствовал, как где-то внутри, медленно заполняя всего меня, рождается страх. Страх окреп, когда я услышал, как в глубине двора, за навесом, отчаянно заревела наша старая корова.

— С утра вот так. Ревет бедняга, — удивился Сюлемен и роговой ручкой ножа почесал в затылке. — Ведь мать она вроде бы Элии, свое молоко давала. Предчувствует.

Все было готово, ждали, пока вынесут какую-нибудь посуду под кровь.

— Сейчас! Сейчас! — кричала из кухни мачеха, гремя нашим старым медным тазом, — видимо, она решила его ополоснуть.

Я не просил ничего объяснить, я смотрел только на лицо отца, бледное, неподвижное лицо, а отец не хотел смотреть на меня.

Я понял со слов наших соседей, что Чубур просил по случаю его приезда прирезать не овцу, как обычно, а лошадь, потому что Чубур приехал больной и болезнь из него может выгнать только молодая конина — врачи посоветовали, да и прадедами нашими это средство давно испытано. Так что, если аллах не против будет, оно подействует отлично.

Я все равно не верил, что Элию могут зарезать и съесть. Я не верил, что отец это допустит, хотя об этом просил и сам Чубур, единственный брат его жены, и просил, наверное, в присутствии гостей, так, чтобы отказать было совсем невозможно.

И когда отец подошел молча к Сюлемену и взял у него нож, я подумал: он сейчас перережет аркан, связавший

Элию, и она, вскочив, весело помчится вверх или вниз по заснеженным улицам аула, как мчалась когда-то жеребенком; и еще я подумал: если кто-нибудь сейчас помешает ему сделать это, если кто-нибудь недобрый в самом деле решит перерезать горло Элии, которую мы спасли от волка, которую вырастили, покорили, приручили, которую по-настоящему любили, то мы с отцом станем рядом и будем молча наступать на этого человека, как когда-то в Терновой балке на серого лютого волка,

Не верилось мне в такой конец Элии еще и потому, что Элия сама была совершенно спокойной. Ноги ее стянул туго сплетенный, жесткий аркан, отец над ней встал с ножом, а она лежала совершенно спокойно. Если она умела думать, она сейчас думала вполне по-человечески: «Я ничего дурного не сделала. Я быстро бегаю, хозяин все время хорошо ко мне относился. И сейчас ничего плохого мне не сделают». Если она умела думать, она не могла думать об отце, обо мне, всех людях плохо.

И о смерти она не могла думать, потому что была совсем еще молодая. Она не думала о смерти, наверное, и в ту минуту, когда отец, став одним коленом на снег, другим придавил ей слегка шею и крепче сжал в руке нож...

В ту минуту на какое-то мгновение в круглом зрачке ее, повернутом к отцу, показалось мне, блеснула ненависть — последнее оружие связанных, но тут же погасла, и в нем, снова мирном и светлом, как тихое озерцо, опять сияла любовь — обезоруживающая любовь к небу, к отцу с ножом, к белому холодному снегу.

Я не видел глаз отца — мохнатые, низко опущенные брови прикрыли их, я видел только руку отца и по ее неуловимому движению понял: он нож у Сюлемена взял для того, чтобы самому оборвать жизнь Элии. Эта рука, рука отцовская, показалась мне чужой, и, когда я схватился за нее и стал кричать что-то самому непонятное, она оттолкнула меня.

— Уходи! — как чужой, приказал мне отец, едва я поднялся на ноги, упав от его неожиданного толчка.

Отец, отец! Ты только сегодня, только на один день стал чужой мне или всегда был чужим?! Только сегодня надел на дорогое мне лицо маску или все время был в маске и снял ее только сегодня?!

Мачеха, вынесшая таз, утирала с моего лица снег и слезы, прижимала меня к груди, говорила:

— Уйдем, уйдем отсюда, не надо смотреть, что делается



сейчас во дворе...— Увлекаемый ею под навес, я слышал скрипучий, старческий голос, обращенный к отцу:

— Мусульманин, не спеши. Смотри, где юг. Поверни ей голову правее...

Дом наш стоит окнами к югу.

Когда моя бабушка молилась, она поворачивала свое лицо к югу.

Когда человек умирает, его кладут в землю, повернув лицом к югу.

Когда добрые мусульмане режут съедобных животных, их головы поворачивают к югу.

Юг там, где горы.

За горами, говорят, еще горы. А за ними море водное и море песчаное, а потом начнется зеленый оазис, где стоит белый город. Это город Мекка. В Мекке мечеть — убежище от бед и греха, земных пороков, зла и страданий. И благо милосердия тут же познаешь...

Соседи на нашем дворе, отец и ты, старик, не забывший о юге, вошли вы мыслью хоть однажды в ту мечеть?

Не вошли!

Мне казалось, вошла мачеха. Она меня утешала, слова ее были просты и добры, она говорила:

— Нельзя любить ни коня, ни птицу, не любя человека. Отцу тоже больно, как и тебе сейчас, но рукой его движет любовь к человеку, у которого тоже боль...

Я не спрашивал мачеху, какой смысл унимать боль одного, причиняя боль другому, не спрашивал, для чего изгонять эту боль из поясицы Чубура, если она поселится в груди моего отца и моей груди. Я просто молчал. И был благодарен мачехе за то, что она в эти минуты со мной. Я тогда еще не знал, что со мной в эти минуты была не она, а ее ложь.

Я долго сидел под навесом и молчал, мачеха давно ушла. Стал дуть ветер, я перешел в сарай, где жила Элия. Здесь было тепло, и отсюда хорошо смотрелся двор. Все было кончено. На белом снегу, на месте, где лежала Элия, был выжжен ее кровью алый круг. На кухне в медном котле доваривалось ее мясо.

Вошел отец. Снял мою шапку. Положил ладонь на мою голову и помолчал. Он сказал: когда я вырасту, пойму все и не буду судить его строго за этот день. Он сказал еще, чтобы я вошел в дом, вел себя как мужчина среди наших гостей...

Чубур и председатель сидели рядом по правую сторону от тамады, а дальше по кругу расположилось по старшин-

ству больше десятка наших аульчан. Я не помню, о чем говорили, какие произносились тосты, чем закусывали гости, пока варилось мясо, и чем угощал меня Чубур, заставив сесть между собой и председателем. Ничего не слыша, ничего не замечая, не запоминая, я сидел между ними, стараясь их обоих не касаться, не беспокоить. Что произошло дальше, после того, как подали мясо, запомнил все до мелочей, надолго.

У Чубура боли в пояснице не было.

Проглотив первый кусок, он стал хвалить мясо, его волшебное целительное свойство, подействовавшее на него немедленно, и это удивительное действие мяса, сказал Чубур, он может сию минуту всем продемонстрировать. Пусть только хлопают посильнее в ладоши, пусть хлопают, не жалея рук. Сидевший до сих пор недвижно Чубур выскочил из-за стола, лихо вскрикнул и, сам себе подпевая, стал бурно отплясывать лезгинку. Все хлопали в ладоши, молчали, смотрели на отца. Я тоже смотрел на отца. Отец был спокоен, дождался, пока Чубур отпляшет, и потом объявил, что он Чубура знает давно, знает как пять своих пальцев и сразу понял уловку Чубура, только слепой не мог видеть, что он здоров.

Но Чубур был его дорогой гость, и все собравшиеся — его дорогие гости, и пусть сегодняшняя еда пойдет им всем на здоровье.

Потом Чубур сел, смахнул со лба пот, опрокинул стопку, разрезал на маленькие части то, что было в его тарелке, насадил большой кусок на вилку и протянул мне.

Это было дымящееся мясо Элии.

— Ешь,— сказал Чубур,— будешь крепким! — А потом он пристальней взглянул на меня и вдруг заявил: — Могу спорить, парень, у тебя по поведению никогда не было ниже пятерки. С плюсом!

— Почему? — спросил я.

— Потому что гладкий,— объяснил Чубур.— Смирно сидеть умеешь. Никого локтем не заденешь...— Чубур положил в рот кусок, пожевал, проглотил.— А сегодня ты из школы прибыл, могу спорить, на пароконке,— так назвал Чубур, видимо, двойку.— Иначе почему ты туманный такой целый день? Математику я, помню, плохо тянул... По поведению пять — дело несложное. А математика труд, конечно, любит. Трудись. Труд из лентяя математика делает. А из обезьяны, говорят, он человека даже сделал.

— Нет! — сказал я.

— Не слышал разве? Это мы не проходили, это нам не задавали...

— Слышал,— сказал я.— Только не согласен, что труд из обезьяны человека сделал. Гориллу он сделал!

— А как получился человек? — спросил Чубур.

— А человек еще не получился,— сказал я,— горилла получилась.

— Неважно о себе думаешь,— сказал Чубур.— А ты не слышал, что люди — боги? Если человека не называть человеком, другое имя ему — бог. Ты, маленькая мартышка,— тоже бог.

— Нет. Я — горилла. Маленькая горилла.

— А мы, значит, большие гориллы?

— Да.

— Я тоже?

— Да.

— А отец твой и эти люди?..

Я знал, что лицо мое сейчас красное. Чубуру, видимо, становилось неприятно смотреть на меня. Я вскочил, как он сам недавно вскакивал, отбежал в дальний угол комнаты, чтобы хорошо видеть сидящих, чтобы и они хорошо меня видели.

— Да! — сказал я.— Все гориллы! — И, не отрывая взгляда от Чубура и в то же время видя всех остальных, я прокричал стихи о горилле, стихи, которые полностью, оказывается, заучились и сами собой вспомнились, когда я увидел серебряную вилку в руках Чубура, которую он протягивал мне.

Я знал, вид у меня был глупый. Но выбежал во двор я не поэтому: я не мог больше оставаться в доме.

— Ого! — качал головой мне вслед Чубур.— У ежика колючки вырастают. Ежик колотья может...

Я сижу в сарае.

Смотрю на подковы и ненужную теперь сбрую. Мне плохо.

Пришла в сарай мачеха, хочет знать, почему мне плохо. Я не могу говорить — не поймет. Она предала отца. Пусть добра ему хотела, все равно предала. Отец поверил, а я понял, я понял, что все выдуманно не одним Чубуром, а вдвоем с мачехой или одной мачехой. Впервые я подумал, что меня поняла бы родная мать, если бы жива была. И бабушка поняла бы. Я им сказал бы: мне плохо, потому что я боюсь. Может, мы боги, самый ничтожный из нас —

бог на земле. Мы можем сварить или изжарить все, что живет на суше и в море. У нас власть надо всем. И эта власть мне страшна. Мне хочется, нужно для моего спокойствия, для необходимого мне мужества, бесстрашия перед жизнью, чтобы было в мире что-то такое, к чему человек боялся бы прикоснуться, грубо толкнуть локтем, наступить пятой, унижить, чтобы самому возвыситься еще больше.

Я им сказал бы: боюсь я ветра. Боюсь, что однажды, в зимний день, закатный час, под свист такого невеселого ветра могут исчезнуть вдруг с лица земли, как конский дух из этого сарая, все милые нам краски и запахи, и мир для меня, для всех нас останется бесцветен, бездушен и пуст.

Многое я им сказал бы еще, и они бы поняли. Больше никто не поймет, как мне плохо и почему плохо. И отец не поймет. Он тоже предал. Предал Элию. И я, его сын, боюсь тоже кого-нибудь когда-нибудь предать, хотя сейчас не чувствую себя родной ему веткой. И отца не чувствую ни зеленым сильным деревом, ни куском могучей горы. Он был как скала, но он раскололся, разбился на куски. Я кажусь себе одним из этих кусков. И боюсь, что меня когда-нибудь разобьют на еще более мелкие куски, будут разбивать потом все мельче, пока не стану пылью, песком.

Отец сказал: когда вырасту, все пойму, все прощу.

Думаю — нужно ли понимать все, если потом прощаешь все?

Сейчас я не пойму, почему не мог остаться снег на нашем дворе белым? И мне плохо, мне кажется — и за этим алым кругом течет, уйдя под снег, кровь Элии. Течет, дымясь, горячая красная кровь по всему двору, по всем улицам, под всеми белыми сугробами, которые без устали наметает январский ветер. Непонятно только, почему не растает подогретый снизу холодный снег?..

...Снова вошел отец. Постоял надо мною. Потом сел рядом. И сидел долго. Глаз не поднимал, боялся, паверное, увидеть висящие перед ним на бечевке восемь новых стальных подков.

Отец, я знаю, хотел сейчас что-нибудь от меня услышать. Но я молчал. Тогда он встал и снова пошел в дом.

Шел медленно. Он и сейчас, уходя к поющим людям, хотел что-нибудь от меня услышать.

Но я ничего не мог сказать.

Из нашей кунацкой неслась дружная песня.

«Когда вырастешь — все поймешь». Я запомнил твои слова, отец. Сейчас я взрослый. Тебя уже нет. Но я говорю тебе: «Ты, как всегда, был прав».

Я вырос, и теперь никого не могу винить за тот неведомый день. Теперь я говорю: «Ни передо мной, ни друг перед другом вы все не виноваты. Вы жили не в моем, а в своем взрослом мире. И, хорошо друг друга понимая, помогали друг другу блюсти законы не моего, а своего мира. Не виновата была мачеха, потому что любила тебя. Не виноваты были ни Чубур, ни председатель, ни тракторист Сюлемен, ни ты. Оттого, наверное, вы и пели так дружно. Чубур, любя, обманул тебя, но пел. Ты, обманутый, тоже пел, потому что его обман спас тебя от вины перед Элией.

И если бы мне тогда было не двенадцать лет, может быть, и я пел бы с вами.

Да, отец, ты оказался прав. Я вырос. Все понял. Все простил.

Но только почему и теперь, через столько лет, не может оставаться для меня светлым и тихим тот мой час, тот мой миг, когда оживает вдруг память и я вижу, как, не чуя под собой земли, мчится по заснеженным улицам тонконогая белая лошадь?!

И почему она направляет свой стремительный бег не ко мне, а уносится прочь от меня, все дальше и дальше, пока не исчезнет, и я ей могу сказать только «прощай», как говорят детству или первой любви?!

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Штокман. Вершина и склоны</i>	3
В атаке. <i>Новелла</i>	13
Дом победителя. <i>Новелла</i>	13
Ласточка. <i>Новелла</i>	14
Память. <i>Новелла</i>	14
Ставший песней. <i>Новелла</i>	15
Снова в бой... <i>Новелла</i>	16
Памятник. <i>Новелла</i>	16
В гостинице. <i>Новелла</i>	17
СЕРЕБРЯНЫЙ ДЕД	: 19
От автора	21
ХОЧАЛАЙ И ХУР-ХУР. <i>Рассказ</i>	22
СЕРЕБРЯНЫЙ ДЕД. <i>Рассказ</i>	34
АЛИБЕК — СЫН ДЫГАЛАСА. <i>Рассказ</i>	4)
КОГДА ОСУЖДАЮТ ПРЕДКИ. <i>Рассказ</i>	59
ПО ЗАКОНУ ЖИЗНИ. <i>Рассказ</i>	83
Лепешки. <i>Новелла</i>	95
Тетя Поля. <i>Новелла</i>	95
Тук-тук... <i>Новелла</i>	96
АУЛ КУМЫШ. <i>Повесть</i>	97
Самое главное. <i>Новелла</i>	220
ЭЛИЯ. <i>Повесть</i>	221

**Мусса Хаджикишиевич
Батчаев**
БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Повести, рассказы, новеллы

Редактор **М. Ишков**
Художественный редактор **О. Червецова**
Технический редактор **Л. Демьянова**
Корректор **М. Курносенкова**

ИБ № 4382

Сдано в набор 06.01.86. Подписано к печати 30.03.87.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2 кн.-журн. Печать высокая. Усл. печ. л. 13,44. Усл. кр.-отт. 13,86.
Уч.-изд. л. 14,88. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1635.
Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 62

Отпечатано с матриц областной ордена «Знак Почета» типографии им. Смирнова Смоленского облуправления издательств, полиграфии и книжной торговли, 214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2, в Рязанской областной типографии, 390012, г. Рязань, ул. Новая, 69/12. ~~Смита~~ № 2018.

Батчаев М. Х.

Б28 Быть человеком: Повести, рассказы, новеллы/Худож. В. Нагаев.— М.: Современник. 1987.— 253 с., ил.

Сборник Муссы Батчаева — посмертная книга талантливого карачаевского писателя. В ней собрано все лучшее, что было создано им за короткую творческую жизнь,— повести «Аул Кумыш», «Элня», сборник рассказов «Серебряный дед», миниатюры, которые предваряют каждый раздел сборника и в которых ясно читается главная мысль, озаряющая книгу. Быть человеком — вот в чем смысл завещания автора.

Прозу Муссы Батчаева отличает точность описаний, емкость, афористичность, неожиданность и редкая выразительность образных решений.

В 4702260000—189 251—87
M106(03)—87

ББК84Кав7